

# Леонид Мартынов

# Дар будущему

*Стихи и воспоминания*

Леонид Мартынов







Леонид
Мартынов

# Дар будущему

*Стихи
и воспоминания*

МОСКВА
«ВЕЧЕ»
2008

ББК 84(2Рос-Рус)6-5
М29

Издание осуществлено при поддержке
Министерства культуры Омской области

**Мартынов Л. Н.**

М29 Дар будущему : Стихи и воспоминания. / Леонид Мартынов / Сост. Г.А. Сухова-Мартынова, Л.В. Сухова. — М. : Вече, 2008. — 672 с.

ISBN 978-5-9533-2248-5

В книгу вошли стихотворения из архива русского поэта Леонида Николаевича Мартынова (1905—1980). Стихи эти написаны в разные годы и не датированы автором. При жизни автора лишь часть из них (85) была опубликована в периодической печати. Основная часть (235) на протяжении четверти века после смерти автора печаталась в периодических изданиях Москвы, Ленинграда, Новосибирска, Красноярска, Омска, некоторые были включены в поэтические книги «Дух творчества», «У дверей вечности», «Буря календарь листала...». Двенадцать стихотворений и поэма «Художница» печатаются впервые.

В книгу помещены новеллы, написанные автором для книги воспоминаний «Стоглав» в конце 1960-х — 1970-х годах, но не печатавшиеся в ранее выходивших книгах воспоминаний Л. Мартынова «Воздушные фрегаты» (М.: «Современник», 1974) и «Черты сходства» (М.: «Современник», 1982), преимущественно по цензурным соображениям.

**ББК 84(2Рос-Рус)6-5**



ISBN 978-5-9533-2248-5

# ЧИСТОЕ НЕБО МАРТЫНОВА

Я увидал зелёный луч.
Ищи и ты. Ещё не поздно!

*Л.Н. Мартынов*

Завораживают, навсегда проникают в сердце его стихи. «Река Тишина», «Лукоморье», «Подсолнух», «Прохожий», «Переправа», «Эрцинский лес», «Ты жива...», «Балерина»... Когда-то, юный глотатель книг, ученик Вийона, Лондона и Рембо, он пригубил футуро-имажинистский коктейль, но стать собой скоро и навсегда Леониду Мартынову помогло иное — воспринятое от Блока, Есенина, Маяковского, Хлебникова. Печатаясь под именем Гинча, героя Александра Грина, он вырабатывал своё поэтическое «правописание», подчинённое мощной фантазии и прочному чувству «первородства» от корня отечества. Лишённый всякой личной гордыни, Мартынов любуется и гордится своим народом, ощущает себя его частью. Его духовная родина — древняя северная Русь, вольная «златокипящая Мангазея». «Сложный рисунок» русской истории оживает в его поэзии, наносящей удар по «ксеномании, сиречь чужебесию». Его слово восстанавливает повреждённые участки совести. Такие поэты редки — всего несколько в век. Именно ими создано то «большое и несомненное», что входит в гены культуры, в состав народной души.

Изначально Мартынов шёл от зримого, часто обыденного факта, но у него преобладают абстрагирующая деталь-обобщение, психологически точная метафора, гиперболическая условность, ассоциативное сочетание оттенков смысла. Богатство вне- и подтекстовой ткани умножено юмором, речевой свободой, интонационной свежестью и красотой звука. Поэзия для него — сказочное приключение в языке: «И ходят ноты вверх ногами, чтоб голос яви подстеречь». Плотный, густой, ритмически изменчивый стих прорифмован насквозь, пронизан далёкими и глубокими

«стремительными созвучиями». В сжатой строке происходит взаимопревращение поэзии и прозы. Мартынов спрашивал-отрицал: «...Что такое проза и есть ли вообще она на свете!». Под его пером поэзией становилось всё. Стихи ему случалось записывать прозаическим столбцом. В бытность репортёром (высочайшего класса — как и «милый его душе» Платонов), иногда он сочинял «немудрёные очерки» стихом, а потом разрыхлял текст, превращая его в «грубый корм» прозы.

Он мыслитель и гражданин. Его дело — поиск общности: «Невозможно жить на белом свете и кружить лишь по своей орбите». Ровесник первой русской революции, современник гражданской и «второй Отечественной» войн, он жил творящей фантазией. Внутренний сюжет его жизни — часть жизни созидающей державы, чему свидетелями книги исторических поэм-сказов, каждая строка Мартынова. Его наследие во многом — часть сибирской культуры, неведомой столицам. В нём была старинная, поморская основательность и никакой богемной примеси. Земной, не суетный, он жил строго и просто. Всю жизнь сосредоточенно, круглосуточно работал. Писал. Импульсивно, «как попало» — непреднамеренно и естественно размышляя. Любил определённость красных чернил. Редко возвращался к завершённым рукописям, хотя подчас решительно правил написанное. «Грёб своим веслом», перемахивал преграды, «шёл своей тропой», никому не позволяя думать и решать за себя. Поистине — его «не смирение вывело в люди».

Этот поэт открыт содержательно-новому в искусстве, но насквозь видит «реминисцентщиков» и «пустопорожников», чуждых нравственному служению. Он чурался официальности, не смешивался с литературной толпой, где искони верховодят нахрапистые «торжествующие жеребцы». Был счастлив в любви и в поэзии, при этом нервен, внутренне напряжён; случались и взрывы гнева («...Головой прошибался сквозь стену там, где можно пролезть через щель»). Публично выступать избегал — не хотел приобщаться к базару внешнего успеха, вожделенного для посредственностей. Стихи свои, говорят, «рычал» — отрывисто, резко, не всегда внятно. Современники вспоминают низкий рокот его голоса, крепкую, и в старости стройную,

фигуру, артистичные кисти рук, крупную высоко поднятую голову, почти не тронутую сединой, синие глаза, которые он неожиданно прикрывал ладонью, чтоб отрешиться от сиюминутности, сосредоточиться на сути — «увидеть мир, каков он есть».

Зоркий человек, он видел не только зримое, понимал диалектику мироустройства, всеобщую связь и таинственную сочленённость сущего («с космосом плечом к плечу»), чувствовал свою причастность всему на свете («с природою в родстве быть и я имею честь»). Мыслил объёмно, перспективно, как хранитель Румянцевской библиотеки Фёдоров. Говорил о том, что действительно знал. Спешил писать, ибо ощущал новизну каждого дня и стремительность уходящего времени. Окончил четыре класса гимназии, что закрыло путь в университет (но это было ему и не нужно — он тотчас понял). Страсть к познанию и необъятная память дали энциклопедическую эрудицию. Материей его образов были отзвуки преданий, многообразные сведения из истории, космогонии, философии, физики, пёстрой хроники дня. Поэт не третирует читателя за невежество, но чтобы следовать за ним, надо много знать. Подобно Тютчеву и Заболоцкому, Мартынов ищет незыблемую основу в кажущемся хаосе метаморфоз, по осколкам разгадывает былое, восстанавливая надёжную предметность мира. Отсюда его страсть к камням: скалам, глыбам, валунам — свидетелям иных эпох среди ила, нанесённого забвением. Повинуясь интуитивным прозрениям, он расширяет сферу разума, опознанную «гениальным старцем Вернадским».

У Мартынова «галлюцинаций нет, иллюзий — тоже». Он видит, что, при всех различиях, повсюду на планете — одна и та же «страна опозданья». Делячество, стяжательство, заговоры, измены, войны. Омуты мнимых откровений и растлительных соблазнов. Под телеантеннами во тьме маячат зловещие тени чёрных пней, ключи журчат в плену бетонных труб, соловьи подражают автоматным очередям... «Здесь, на земле, где рядом с райским садом порядочно попахивает адом», люди необъяснимо податливы на идиотское и скотское, нечутки к прекрасному. «Круговая порука» малодушия связывает по рукам и ногам, калечит тех, кто «умел летать», — не дремлют «лжемыслители» и «лжеге-

рои», лукавые «вьюны» опутывают честных и простодушных. Ожесточённые люди не помнят Бога и не узнают пророков — «как будто любы нам одни Иуды». Цепи лжи «лишь только ржавчина одна вольна, изъев, предать забвенью».

Обильна мартыновская галерея образов скорби и боли, но «жестокое и неутешительное правдолюбие» — не его стихия. Им руководит не отчаяние, а отеческая, берегущая тепло мысль: «как всё в порядок привести?». Разум и добрая воля могут потеснить хаос, преобразовать мир, добиться «победы свежего воздуха над угарным газом». Чем суровей жизнь, тем острее жажда перемен. Поэт от мира сего, он был здесь дома, вникал во всё и не мог не слышать того, что творится на свете: «Удивительно мощное эхо — очевидно, такая эпоха». Нельзя молчать «о том, что чуешь, видишь, слышишь» — необходимо предупредить об опасности, а потом заглянуть вдаль, где «всё, от чего душа отмылась, как чад, уносится во мрак». Ибо «всё зависит от людей», всегда впереди «нечто третье» — отнюдь не то, к чему клонят узурпаторы мгновенья.

Он говорил «нет» смятению и тоске, искал «чего-то много лучшего», хотел своим трудом приблизить иное, утверждал нравственную истину и смысл бытия. Стихи, по высокому счёту Мартынова, должны быть, «как капля крови», но «тяжелей земного шара». Тогда «буквы превратятся в пули», а палачей разобьёт паралич. Тогда «всё на свете наконец уравновесится». «Встречный путь» к грядущему долог, но никто из подлинных пророков «и не сулил мечтателям пустым чуть ли не завтра века золотого». Надолго назад не повернуть, приближается истина — она притягивает, как магнит, «и зреет на земле очередное чудо», «возникает ощущенье, что идут перемещенья в недрах недр и в небесах». Главное — чтобы люди обрели подлинное, «трудное чувство» свободы: «быть за всё в ответе», поняли, что они — люди, решились поверить себе и стоять за правду, всего добиваясь только своими силами. Всё неповторимо и ничто не пропадает: «исчезают гербы с монет, только люди не сходят на нет». На терниях воссияют цветы, и будет похоронена дурная память. Всё это — будет, потому что человек — плоть от плоти вечного леса, «чьи корни до сердец, вершины до небес».

Мартынову дано было «простое уменье видеть грядущее въявь» и чистая вера: «мы те, которых не бывало прежде». Созидатель-подвижник, чья человечность осветила грозовые и легендарные десятилетия великого советского века, он существовал «в пределах грядущего». Однако в стихах Мартынова, при их неистребимой оптимистичности, звучит предощущение утраты и сострадание «ко всем охваченным тоской». Острая мысль, пронизывая прежние столетия, проецируется в предстоящее: «какова причина катастрофы?» След его души — след протеста, борьбы за достоинство и доброту. «Понимать происходящее редко ставилось в заслугу». В своей нелёгкой жизни поэт вкусил этого полной мерой («...видывал я множество невзгод, и руки у меня не опустились»). Выносливый, стойкий человек, он работал в благородной поэтике «чистосердечного признания» и сокрушения кривды, что гарантирует бесприютность, порой «вынужденное печатное молчание», а то и высылку в «страну телеграфных столбов». Был искренен, благосклонен к миру, и оттого непримирим ко злу, зная, что «право на износ» воин обретает не прошлыми победами, а гибелью в бою. Когда-то изобличители висли на нём, как псы. Теперь никакие «внутренние» рецензенты не угробят его книг.

Он тревожился, что «вновь восторжествует пошлость», но не застал крушения своей страны. Умер на пороге 1980-х, прежде чем надсадно заскрипел «кренящийся корабль времён» и из всех вариантов ремонта был выбран самый скверный — диктатура «богатых нищих», всё пожирающих хозяйчиков, выдающих себя за поборников общего блага. «Иногда и потрясения назревают во спасение», — знал Мартынов. «Суть-то в том, чтобы зло обезглавилось...» — иначе придётся, из-за собственной слепоты, пасть изувеченными, а потомки будут своё выкупать у врагов. Но всё, что должно жить, — вернётся и поможет «ложь от правды отличать, взор от скверны отвращать». Он спокойно думал: «лжёте!» — о тех, кто высмеивал светлые пророчества. Гроза, разбушевавшаяся, когда его предавали земле, — предвестие очищения, знак бесстрашной, неумирающей надежды. «Всё, что обычно началось, кончается необычайно!»

В публикациях из архива виден его масштаб — одного только неизданного при жизни хватило бы на нескольких

недюжинных поэтов. Это не «каменная масса» черновиков, а полнозвучные живые песни. Увы, в разбивку (с интервалом в десятилетия), но всё же отныне полностью «предан тиснению» мартыновский «Стоглав» лирических эссе. Автор назвал его комментарием к своим и чужим написанным и ненаписанным стихам. Здесь также собраны воскрешающие портреты людей и городов, хранящие аромат эпохи. Отклики на пережитое и прочитанное отмечены бережностью к тем, кто забыт и безвестен. Читать эти миниатюры не в тягость даже тому, кто не любит мемуаров — ведь, по воле поэта, здесь всё «ещё правдивей, чем правдиво». Лукоморский десант Мартынова заброшен далеко за безвременье «вчерашности и позапрошлости». Точно направленный «зелёный луч» истины рассекает мутную пелену мнимого. Мартыны — величавые чайки — парят над широкими реками в чистом небе его родины. «Крепнет голос, отзвучав!» Речь поэта не смолкла. Будущее прочтёт его вновь. Словно впервые.

*Андрей Базилевский*

# Приметы вечности

* * *

Я много написал стихов:
Одни — давным-давно забыты,
Другие — стали частью быта,
С низов дойдя и до верхов.

Верхи внимательны к низам.
И времена уже настали,
Я различаю по глазам:
Читали или не читали.

И это любопытно мне:
Одни танцуют на панели,
Другие будто на луне
Лежат, давно окаменели,

Но это все стихи мои,
И на земле, и под луною,
Написаны в былые дни, —
Как смутно вспоминаю, —
мною!

* * *

Я уверен —
Мой голос услышит
Кто-то на ухо не тугой
И мои мемуары напишет
Обязательно кто-то другой,
Тот, которому будет прекрасно
Всё известно, что мне самому
Окончательно не было ясно,
И тогда я, конечно, пойму,
Почему я хотел непременно
И какую преследовал цель,
Головой прошибаться сквозь стену
Там, где можно пролезть через щель.

* * *

Стихи —
Ужасные пролазы
Повсюду лезут, остроглазы.

Одни из них, как верхолазы,
Другие точно водолазы,
А то, как по́суху, по водам
Идут куда-то к антиподам,
Блистая вольным переводом!

## СОНЕТ

Покачивается птица утешенья на алом камне длани
Святой Анны,
Но, муча грудь, как будто в сердце прямо,
Вклеваться хочет орлий клюв Адама.
А мне как быть? Сонета странны раны.

Ронсар, Омар Хайям — рондо, рубайи —
На одиночество компрессы ли? Теряя
Всё не своё, своё найду я, как Гоген
свой остров красок!

## ПРОЗА

Хочу спросить:
А что такое — проза?
То слово — цепь из ржавого железа
Звучит довольно часто как угроза, но не гроза…
На глетчеры Кавказа
Я подымался, был в юрте киргиза,
Знал Арктику, пустую от мороза, —
Я видел всё! Но всё-таки ни разу
Не уяснил я, что такое проза?
Я не зефир, что веет на рассвете,
Приплыл я не на парусном корвете,
Не в золочёной ехал я карете…
Я не ребёнок, да и вы не дети,
И я прошу:
    Ответьте,
    Объясните,
    Установите —
Что такое проза
И есть ли вообще она на свете!

## ПРАВОПИСАНИЕ

Да,
Я отверг тебя,
Сгинь, в бездну кань,
Старое правописание!
Даже и едучи в Тмутаракань,
Сяду не в старые сани я,
Я, распростившийся с буквой ять,
Бросивший старую книжицу…
Но, злопыхатели, будете знать,
Коль пропишу я вам ижицу!
И заменять твёрдый знак запятой,
То есть апострофом, надо ли,
Чтобы, мой нрав ощущая крутой,
Наземь противники падали!
Вот оно, что мне от предков дано!
Этих вещей не отрину я,
Хоть и отверг я тебя уж давно,
Правописанье старинное!

## ЦВЕТЫ

Любовь мою, к людям порочa,
Бесстрастный мой друг, не пророчь,
Что будет и слава короче,
Чем самая летняя ночь.

Пусть будет и слава в могиле,
И тело отправится в печь,
И речь моя будет забыта
Как древнеславянская речь —

Но должен хотеть каждый день я,
Чтоб жили бы люди-цветы,
И будут такие виденья
Бессмертней, чем я или ты.

* * *

Коралловый понять
Я постараюсь риф.
Он рыбам говорит:
— Как ваши тельца гибки!
И, чтоб им подражать,
Блистает, отломив
Сам от себя осколок в форме рыбки.

Я знаю горный кряж, который попросил
У ветра, ливня, солнечного света:
— О, помогите мне по мере сил
Стать в небе профилем поэта,
Который на меня однажды поднялся!

И дождь, и солнце, в небесах вися,
Да что там говорить, Природа вся
Ему помочь решили сделать это.

А я похожим стать хочу на Землю-мать,
Которую разрыть не в силах все кроты.
А ты похожей будь на дикие цветы великой красоты,

И не забудь,
Что мы
Блеснём
Вдвоём
Двойной звездой из тьмы!

## ПРИМЕТЫ ВЕЧНОСТИ

Своё тысячелетье не справляли
Не только лишь бугры, холмы, пригорки,
Но даже горы, даже водопады…
И в самом деле, что для Ниагары
Тысячелетье, либо для Иматры.

Своё тысячелетье ощущали,
Пожалуй, цирки да амфитеатры,
Да пирамиды, но и те молчали
В таинственной печали одиночек.

И если прыгал суетливый счётчик,
Высчитывая древность пней и кочек,
И косточек, смеясь, его встречали
И не боясь, бездумные беспечно
И бесконечно молодые вечно,
Царицы Савские и Клеопатры.

Вот так и вы, живущие в начале
Эпохи новой, в грубые наряды
Закутаны и бдительны, и зорки,
На близость дней грядущих уповая,
Поймите же,
Нет ничего живучее на свете,
Чем эта ваша красота живая.

## ДАР БУДУЩЕМУ

Прокладывали
По деревне
Водопровод. И ковш отрыл
Кольцо, которое царевне
Или царице царь дарил.
Он величался Алексеем
Михайловичем, этот царь
Тишайший...
Так вот жнём и сеем,
Почти забыв, что было встарь.
Но всё это лишь примечталось,
Хотелось лишь, а наяву
Ни перстня в выкопанном рву.
И перед тем, как зарывали
Ров с вороненою трубой,
Туда ни шпильки не роняли
Никто, и даже мы с тобой.
А ведь однажды кто-то будет
С такой надеждою глядеть:
Авось, да кто-нибудь добудет,
Чтоб им восторженно владеть.
И, знаешь, если колец нету
Иль бережешь их про запас —
Хотя бы мелкую монету
Брось в будущее, не скупясь.

## ПНИ

В темноте
Появляется тень.
Потрудись,
Приглядись:
Это — пень!

Вот он пень, безобразно нагой
И по виду почти неживой,
То, что было когда-то ногой,
Стало нынче его головой.

И как будто бы чёрные дни,
Будто тени недобрых людей
Тут и там эти древние пни
В темноте,
Что ни пень,
То злодей.
И попробуй, поди его, пни.
Нет уж! Лучше поглубже копни,
Потрудись,
Доберись до корней,
Разом выкопай несколько пней
И сожги.
Но немало огня
Ты потратишь, затею кляня,
Для того, чтобы стало огнём
То, что было огромнейшим пнём!

## БУЙНОЕ СОЛНЦЕ

О, годы
Спокойного солнца,
Настали вы, наконец!
Но вкруг присмиревшего солнца
И снова зловещий венец.
А разница в том лишь, что ныне
На старые города,
Которым грозила пустыня,
Идёт в наступленье вода.
Извечно коварное солнце!
Пора бы, чтоб силы земли
Какому-то новому солнцу
Взойти в небеса помогли!
Но держится старое солнце,
И надобно под уздцы
Схватить это хмурое солнце,
Чего не умели отцы!

## ЗАБЛУДШАЯ ОВЦА

Есть
За Дунаем
Крепость.

Сотни лет
Казалось, что её уж больше нет.

Считалось, что её с лица земли
Турецкие нашествия смели.

Но как-то раз
Пастух там стадо пас,
Одна овца с обрыва сорвалась,
И за овцой полез пастух в овраг
И там, среди размывов и коряг,
В густых кустах нашёл, по счастью, он
Песками занесённый бастион.

Лес
Крепость ту
От глаз людских скрывал.

Когда султан её завоевал,
Набил песком он хлад её нутра
И внешний вид ничтожного бугра
Ей придал.

Поколенья королей
Её средь гор искали и полей,
Но очутился с ней лицом к лицу
Пастух, ища заблудшую овцу.

Истории заблудшая овца
Немало тайн вскрывает до конца.

* * *

Будто бы ничем не отличающийся
От других и этот день пройдёт,
Хоть лилось и что-то излучающееся,
Даже не поймёшь с каких высот.

Шли по улицам праздношатающиеся
И мечтатели, и сорванцы,
Их отцы, и лодыри, пытающиеся
Поднаняться в книгопродавцы.

И какие разговоры скрыто велись,
Думалось, едва ли различишь,
Но ленивцы деловито вчитывались
В буквы шелушащихся афиш.

Всё же надо как-то перекраиваться,
Но ведь всё ж не улицы мести.
И, конечно, если и устраиваться,
То туда, где древности в чести.

И любой бездельник это чувствовал,
Кое-как, а всё ж соображал,
Ибо не на ложе он прокрустовом
В наше время всё-таки лежал.

Но за тускло блещущими стёклами
Там, в комиссионке за углом,
Намечался блеск меча Дамоклова
На такой же нитке, как в былом.

* * *

О, слепость Гомера…
Гляжу на Гомера я,
Чей мрамор шероховат,
Но всё же не слепо в традицию
веруя,
Я думаю:
— Кто ж виноват?

Ведь, дело не в том, что
звучанье гекзаметра,
Окрепнув за много веков,
Валило без чувств, если даже
не замертво,
Скучающих учеников.

Но сам я, стихи сочиняющий
вольные,
Ведь тоже, в конце-то концов,
Стал, в общем, привычен, как правило
школьное,
Для всяких зелёных юнцов.

Как будто гожусь я им, если
не в пращуры,
То в прадеды всё же уже,
Своё и своё им толкуя навязчиво,
Застыв на своём рубеже.

Как будто бы всё уж открыл им
когда-то я,
А больше и не удалось,
Но, может быть, молодость, ты
глуховатая,
А вовсе не я безголос?

Нет, молодость, ты не глухая,
ты — зрячая,
Я тоже не слеп и не глух,
Но время ведь тоже не лужа
стоячая
И в воздухе вольности дух.

И так же ищу я для чувств
выражения
В ещё небывалых словах,
Но я не добьюсь от тебя одолжения
Считаться на равных правах.

Я жив не в отечестве вашем,
а в отчестве —
О, только бы жить не во сне б!
Гомеру примерно такие же
почести
Творили потомки: ослеп!

Но зряч этот старец, по виду сто лет
ему,
Изваян он в виде слепца
Для спора, вот именно только
поэтому,
Горячей рукою юнца!

## НЕБО

Как будто
Колёсами
Небо изъезжено —
Всё в небе разбросано
Косно, небрежно.
Чего ты не свалишь
Туда безмятежно —
Надежда одна лишь:
Что небо
Безбрежно!

* * *

Воспоминания теснятся,
Порой не знаешь, как и быть,
Чтоб всё запомнить, не забыть,
Но позабудешь, так приснятся!

Однажды я придумал сняться
С воспоминаньями в кино,
Но не продумал, как должно
Всё это толком объясняться.

Я крикнул: — Это все почти
Мои хорошие знакомцы —
Земли возросшие питомцы
Идут по Млечному Пути!

Но вспомнилось: есть Млечный Путь
И есть какой-то Поперечный,
И есть какой-то Встречный путь,
Путь Бесконечный, а не Вечный!

# ИСТОКИ

Пыль
Серо-бурых городов,
Кочевий древнее унынье,
Гул телеграфных проводов
Над ковылём и над полынью,
Вихрь, свищущий среди крестов
Могильных и шпилей острожных
И между фермами мостов
Тяжёлых железнодорожных.
Как будто этого и нет
Ни в песнях, ни в квартетах струнных.
С рельс отслуживших стерся след
Отбрякавших колёс чугунных.
Но если б не было всего,
Что зыблется на этом фоне,
То не было бы и его,
Творца совсем иных симфоний.
Всё это было так давно,
Что к этому нельзя вернуться.
Что, как и чем порождено,
Быть может, позже разберутся.

## ДЕТСТВО

На гардеробе
Шевелились
Пласты газет, журналов груды,
Но иногда они валились, как будто
прыгая оттуда,
Чтоб я, дитя, читал их снова.

А в гардеробе
Жались платья
От щекотанья мехового, попавшись
в шубные объятья...
Но как бы ни ворчал зверюга в пронафталиненной
утробе,
А книжками набит был туго и нижний ящик
в гардеробе,
Хотя нередко говорилось: — Убрать бы хлам,
источник пыли,
И чистота бы воцарилась, коль на кульки бы
раскупили
Соседки-бабы с барахолки весь этот склад
литературы!

Но любомудрие витало
В том домике, где кубатуры для книжных полок
не хватало.
Печатное мы чтили слово,
Читатели в углу медвежьем:
Во сне я видел домового над «Вестником Европы»
свежим.
И уж, конечно, «Вестник Знанья», во всех концах
страны известный,
Добился полного признанья у гениев
квартирки тесной!

## МИР СРАВНЕНИЙ

О, сходства!
Кость слоновая
Для башен матерьял
Не тот! Ищу я новое, чего и не терял.
Стучусь, и всё бесстрашнее, я в Университет,
Хоть с Вавилонской башнею он схож, во мглу одет.
Но это сходство внешнее, — седых преданий прах
Развеют ветры вешние на Ленинских горах.
И Дом Преподавателя, похожий на собор
Парижской Богоматери, мой привлекает взор
Не мощными размерами, с другими несравним,
И даже не химерами, а сквером перед ним!

О, сходства!
Я с волнением
Повсюду их ищу,
Но никого сравнением унизить не хочу,
Сказав, какие зодчие воздвигли Домострой
И памятники прочие…
Но кажется порой,
Что лучше между травами местечко дать грибу,
Чем вставить меж дубравами фабричную трубу,
И лучше меж сугробами услышать шелест лыж,
Чем если небоскребами весь мир загромоздишь!

## САД КОМИССАРОВА

У меня есть книжка…
К этим очеркам,
Писаным давным уже давно
И почти что полудетским почерком,
Я вернуться не сумею. Но,
Если эта книжица объявится
На руках когда-нибудь у вас,
Может быть, вам всё-таки понравится
Приблизительно такой рассказ:

Ширилось строительство колхозное.
Над одною из степных станиц
В атмосфере было что-то грозное.
Поздно вечером под блеск зарниц
Появился на автомобиле я,
Гость незваный, зритель городской,
И не мог понять — об изобилии
Иль о бедности шёл спор людской,
Что причиной было — радость, горе ли.
Но увидел я: навстречу мне
Из толпы, где возбуждённо спорили,
Вдруг детина вышел при луне.
И рука у этого товарища
Грозно находилась за спиной,
Будто прятал что-то, угрожающе
В сумраке восстав передо мной.
Что держал он? Не топор ли блещущий?
Или важный документ какой?
Нет! Букет, весь от росы трепещущий —
Вот что он держал своей рукой.
Показал мне. И яснее ясного

Объяснил, в чём дело:
— Вы, как член
Типографии, должны прекрасного
Быть любителем!
Запечатлён
Этот факт в моём забытом очерке.
Дело в том, что весь фруктовый сад
Вырубить какие-то молодчики
Порешили: требует затрат
И ухода! Целый, мол, гектар его!
Это всё забавы старика,
Опытника, деда Комиссарова,
Чудака и, вроде, кулака.

Спор и шёл вокруг гектара этого...

И уже пастух дудел в дуду,
А бродил почти что до рассвета я
В славном, но запущенном саду...
Порешили сад тогда не вырубить.
Я не знаю — цел ли нынче он,
Продолжают ли в степях плоды любить,
Но я помню голос из времён
Отошедших. Он яснее ясного
Прозвучал когда-то:
— Вы, как член
Типографии, должны прекрасного
Быть любителем, Оно — не тлен!

## ЧИТАТЕЛИ

Мечтают
Взять книгу в руки,
Перелистать страницы.
    Читают,
    Но не от скуки
    И не затем, чтоб забыться.
Читают
В трамвайном лязге,
Читают в метрополитене.
    Читают
    Не по указке,
    Читают не из почтенья.
Читают
И не считают,
Что тратится время впустую.
    И даже
    Предпочитают
    Простым повестям не простую.
Ночами
Не свечи тают,
А электричество блещет.
    Всю ночь,
    Да и две читают
    Не те, так иные вещи.
И книгу
Закрыть неохота,
Хотя за окном светает.
    Читают
    Не из расчёта,
    Не для отчёта читают.

## ИЛЬИН ДЕНЬ

Гроза
Разразилась
Над тихой рекою,
Как грохот орудий...

— Пророка Илью вы оставьте в покое! —
Пастух мне сказал, — это делают люди!
Они уж однажды всю землю взорвали
И всё, что росло, подрубили под корень!

Ему я на это ответил:
— Едва ли!

Но был он в своих убежденьях упорен:
— Нет! Все погибало: и рыбы, и птицы,
И люди, и кони, и псы, и коровы!
И это и заново может случиться!
А, впрочем, как знаете! Будьте здоровы!

* * *

Многие ещё
Ко мне стучатся,
Не желая скрыться с глаз:
— Ты не можешь отмолчаться
И не рассказать о нас,
Потому что, если не захочешь,
Так напишет кто-нибудь иной,
И себя ты этим опорочишь,
Показав со стороны смешной,
Что хотел сказать не всё, что знаешь,
О себе и о других…

## БАБУШКА

Она стояла на учёте
И посещала партучёбу.
Она всегда была в почёте
У всех товарищей. Ещё бы!

Она была простой швеёю,
А после стала делегаткой,
Не помышляя о покое,
О жизни тихой, дрёме сладкой.

А вот теперь пенсионерка
И не нужна уж больше вроде,
Лишь бдит, чтоб мысль её не меркла.
Товарищ Сталин на комоде.

И всё ж её досада точит
И некая обида, что ли,
Что дочка в партию не хочет,
А внучка и не в комсомоле.

Всё связано со старшим сыном.
За что-то схвачен он, невинный,
Неясно, по каким причинам,
Скорее, за язык свой длинный.

И хорошо ещё, что младший
На воле, хоть и всё ж уволен,
Является такой горячий,
Естественно, что недоволен.

И дочь, на службе уставая,
Приходит, упрекает вяло:
— Ты, женщина передовая,
Вот это всё и создавала.

И внучка тоже беспокоит.
Всё хмурится, что-то решая.
И радио на кухне воет,
Тревогу эту заглушая…

## ЛУКАВЫЙ МНИХ

Мы редко вспоминаем о былом, на будущее смотрим
без опаски,
Друг другу не рассказываем сказки,
Забыли мы пленительные сны, крылатых эльфов
мы не видим танца,
Но почему ж, тревогою полны, глядим мы ввысь,
сырой земли сыны,
На солнечный язык протуберанца?
Уверенность, что Солнце — божество, жила издревле
в умном и двуногом:
Молились Солнцу, славили его, драконом звали
и крылатым богом,
А много позже, в средние века, когда Восток засуха
охватила,
Когда травы для коней не хватило и через пылевые
облака
Повёл на Запад рать свою Аттила, да и попозже
несколько слегка, — меня вы помните ли, старика?
Я изучал небесные светила, планеты все я знал наперечёт
В необозримом голубом просторе,
И как-то раз воззвал я, звездочёт,
Но понял вскоре —
Другое мненье есть на этот счёт!
Вдруг объявился лицемерный мних:
— То птички чёрные! И приняли вы их
На фоне Солнца, тех или других,
За пятна! Ибо, рассуждая здраво,
Не может быть мурашек никаких
На лике солнца! — И ещё лукаво
Добавил: — Коль не говорить о них,
то все об этом и забудут, право!
Лукавый мних!

## ВИДЕНЬЕ

Настал сентябрь,
И шли на убыль дни,
И дачник, выйдя ночью за ворота,
Услышал средь безмолвия:
— Взгляни
В живое небо! Там творится что-то!
— А! Пусть творится! Не моя забота!
И различил он только лишь одни
Огни села, Юпитер и огни
Какого-то ночного самолёта,
Откуда-то летевшего. Но вдруг —
Он видит в небе серебристый круг,
Как будто Вечности на загляденье
Над миром дач, халуп, фабричных труб
Звезда проделась в звёздный хула-хуп
И тешится!
Вот чудное виденье!

## БЛАГОДЕТЕЛЬ

— И ничего, не велика беда! —
Я мыслил. — Даже то, что мной убито,
Не пропадает даром никогда,
Преображаясь в украшенье быта:
В гребенку превращается копыто,
Лисица пышной муфтой стать горда,
Должно быть, радуется и вода,
Узором нефти радужно покрыта.
И химию я создал не во вред
Полям!
Но почему-то не согрет
Я всех обласканных ответной лаской,
И солнце под трагическою маской
С небес взирает на меня с опаской,
И мирный быт похож порой на бред!

## ДОЖДЬ

Снова дождь!
В ужасно тусклый плащ
Небосвод укутался, зловещ.
И древесный радуется клещ,
Что над колыханьем мирных нив
Разразился атмосферный взрыв —
Оттого и снова этот дождь.
Снова дождь.
Во всю он хлещет мощь.

А, быть может,
Связи никакой
Вовсе тут и не было, и нет,
Но Земля охвачена тоской
По сиянию иных планет,
Плачется, объятия раскрыв,
Разметав нейлон своих одежд.

Неужели атмосферный взрыв,
Всё разъяв и всё испепелив,
Не оставит
Никаких
Надежд!

* * *

Разная
Бывает старина!
Не в одних она монастырях
Либо на каких-то пустырях,
Где чертополох и белена.

Даже
С новостройками дружа,
Есть дубы в четыре этажа
На площадках, где старинных рощ
Будто чудом уцелела мощь.

Я не трону
Эту старину!
Это старина без костылей.
Говорю я: ладно, уцелей,
Влей в окошки аромат полей!

Я таких древес
Не вырубал,
Чтобы даром лес не погибал,
А спокойно рос себе и рос
В мире гладиолусов и роз.

## СУДЬБА КЛЮЧА

Тот
Осушен гектар,
Тот — орошён,
А где же ключ?

Вопрос о том решён:

Судьба
Неугомонного ключа
Журчать, как будто плача и ворча,
Через тебя,
Бетонная труба.

## НОВАЯ НОВЬ

Приходит время —
Ни стихов, ни прозы
В обыкновенном смысле этих слов
Не хочется. Довольно одноглазы
Две музы, да и сам ты не циклоп!

В Истории не всё одним мы видим глазом,
Будь дважды лев он, будь он трижды прав,
Но то, что оба глаза видят разом,
Объявим явью, если разум здрав.
И мудролюбчивое слово синтез
Тут неспроста приходит на уста.
О, горизонты узкие, раздвиньтесь!
О новой нови вечная мечта!

* * *

Огромное
Крыло циклона
Накрыло северо-восток,
Но к великану непреклонна
Ты, кашка, клевера цветок.

И ты киваешь исполину,
Сулящему и дождь, и гром,
Совсем не так, как властелину
Рабыня под его шатром.

Но не такой и к верным слугам
Бывает нежность госпожи…
Трилистница, над вешним лугом
Бесстрашно голову держи,

Чтоб оказались равноправны
Земля и небо по весне,
Как будто люди равно славны,
И снится злость
Лишь сатане!

* * *

Где звёзды ясные лучатся,
На месяц молодой взгляни,
Там, в чёрном небе, люди мчатся
И на Луну летят они.

Они своими сапогами
Воздымут завтра пыль Луны,
А мы карманными деньгами
На счастье нам звенеть должны.

На счастье им и нам на счастье
Звенеть, на радость всем одну,
Чтоб Землю не колоть на части,
А уж тем более, Луну.

* * *

Зима
Земная,
А не с неба слезшая,
Ведя буран гривастый под уздцы,
Идет, на ёлки планомерно вешая,
Новейших украшений образцы.

Дай, Господи, чтоб сытая, хорошая
Она была для птиц и для людей,
Но воссиял над заячьей порошею
И этот вот подарочный халдей:

— О, много бед придётся вам терпеть ещё!
Горит меж всяких шариков и звезд
Огромнейшая новая кометища,
Из головы извергнувшая хвост!

И худшее заране предрекается,
И слышится в эфире трескотня:
— Недалека! И не пора ли каяться.
Каков канун? Не Судного ли дня?

Как для кого!

## ПОРА СПЛОТИТЬ РЯДЫ СВОИ ТЕСНЕЕ

Я это знал давно: и пауки
Аэронавствуют на паутинах.
И паучат сгоняю со щеки
Я осторожно.
Пусть я господин их,
Но существуем на правах единых,
Природе одинаково близки
Все — и осины в рыжих палантинах,
И девушки, одеты щегольски.
И грустно, что становится беднее
Живой природы терем расписной...
Ты это чувствуешь, народ честной?
Становится яснее и яснее,
Какой за это платим мы ценой.

Пора сплотить ряды свои теснее.

* * *

Я не ослеп
И не оглох,
И столько чувств я перечувствовал,
Когда с тобою, старый Бог
Былых эпох, плечом к плечу вставал.

И, Боже мой, взывал в тоске
Я не о собственном убожестве,
Когда, как в золотом песке,
Тонул в людском великом множестве.

Но самой страшною борьбой
Там пахнет, где тебе захочется,
Как будто над самим собой
Возвыситься средь одиночества.

И это надо испытать,
Хоть на мгновение почувствовать,
Когда ты учишься летать
И с Космосом плечом к плечу вставать!

## СПОСОБНОСТЬ КАМНЯ

Я на одной из подмосковных рек
Великолепный камень раздобыл.
Он был как первобытный человек
Коричневый, но с оком голубым.
Его привел суровый проводник,
Принёс в края, где нынче вырос лес,
С норвежских круч сползавший к нам ледник.
Ушёл ледник, но камень не исчез.

И до сих пор ни ветер не изъест,
И не изгложут дождики камней,
В которых живо нечто от существ,
Хранящих тайны допотопных дней
И тех катастрофических ночей,
Когда, быть может, родилась Луна.
Вот чем чревата каменных очей
Вулканоснежная голубизна.

И почему бы камни не могли,
Пусть механически, но отражать
Всё, что творилось на лице Земли,
Что заставляло Землю задрожать:
Как, например, чудовищ тяжкий шаг,
А то и человека с топором,
Волшебника, рассеявшего мрак
Своей пещеры пламенным костром.

Вы знаете: природа вся жива,
И если уж един ее поток,
То почему бесчувственны трава,
Вода и камень, воздух и цветок.
Они, конечно, не разумны, но

И не глупей искусственных зеркал,
И почему бы камни не могли
Хоть механически, но отражать
Всё, что волнует жителей Земли,
И заставляет Землю задрожать.

## ПОВСЕДНЕВНОСТЬ

Какой-то
Смерчик
Вдруг пронёсся
По охлаждённой мостовой,
Нырнул машине под колёса,
Но всё же вынырнул живой.

И неуклюж он был, и вёрток.
Казалось, что в него вошло
Стремящееся из форток
Клубящееся тепло.

И отголоски разговоров,
И смех, и грех — всё было в нём;
Он был в миганье светофоров,
Пронизан внутренним огнём.

Прельстительны такие вихри,
Клубки такого естества.
И думается: не из них ли
Жизнь зарождается, нова?

Ведь чувствами не оскудели
Проспекты, площади, дворы.
Ведь из чего-то, в самом деле
Ведь формируются миры!

## ПОРТРЕТ

Старый
Фотопортрет
Николая Семёновича.
Николай Семёнович в молодости был очень красив,
А теперь неподвижен с утра и до́ ночи.
До́ма Правительства грузный массив,
В час пополуночи тягостно тонучи
В тушеобразной Москве-реке —
Точный портрет Николая Семёновича
В сизом халате с пером в руке.

Так он сидит в кабинете, седеючи,
Воспоминанья творя неспроста,
Из его окна видать Ново-Девичье
И другие исторические места.

За ночь какие-то Черти Багряныччи
Позолотили на клёнах листву,
Видно с балкона, внимательно глянучи,
Осень настала по существу.

Манит она, за колоннами стонучи:
— Выгляньте, шляпу возьмите, пальто.
Манит она.
Николая Семёновича
Я не видал уж, пожалуй, лет сто.

## ПРОМЕЖУТОК

Есть
Такой
В теченье суток,
Вслед за ней и перед этой
Бурей, некий промежуток,
Светом солнечным согретый.

Улеглись,
Белоголовы,
Волны. Ветры не рыдают,
И спокойно рыболовы
Что-то в мире обсуждают.

Ибо,
Даже по ошибке,
Их сейчас никто не тронет.
Мирно спит младенец в зыбке,
Мирно мёртвого хоронят,
И спортсмена
Королева
Тихо в рыцари возводит,
А барометры налево
Всё уходят и уходят.

## ВЬЮНЫ

Я думал:
Это ветерок всё
Нашкодил. Им и склонены,
Расправиться не могут, флоксы,
Но их опутали вьюны!

И я презренных вырвал с корнем —
Была расправа коротка.
Так и другие путы сдёрнем!

Но, если столько жестока
Сама ты колешься, как крокус,
Глаза твои омрачены,
Я понимаю, в чём тут фокус —
Тебя опутали вьюны!

* * *

Есть
Нечто
Наподобие хурмы,
Чей сладкий вкус во рту приятно вяжет
И языком едва шевелим мы —
Лень говорить, пускай другие скажут!

Есть
Истина,
Несложен смысл её:
Листвою одевается растенье
И для венца прекрасное сырьё
Она, листва, царица шелестенья.

И если всё
Ты сделал до конца,
Не запинаясь и не заминая,
То, может быть, добьёшься ты венца.
Какого?
А почём я это знаю!

Быть может мал,
Быть может, он велик!
Прилично ли являться в нём публично?
А вдруг возьмёт и обратится в лик
Твоё лицо,
Известное
Отлично?

И вот
Недоговариваем, лжём,
Как будто бы для пользы обоюдной
И тщательно друг друга бережём —
Ты не простак
И я не безрассудный.

## РИМСКАЯ ПАПА

Давай-ка, поговорим
Серьёзно, без язвительной улыбки.

У Пушкина, как и у братьев Гримм,
Такая сказка есть о рыбаке и рыбке.

У каждой сказки прелести свои,
И в сказке Гриммов есть упоминанье:
Рыбачка в блеске рыбьей чешуи
Стать римской папой хочет в Ватикане.

О, папа римская,
Пускай не у дверей
Собора в Риме, а у книжной дверцы шкафа,
О, Вы, в непогрешимости своей
Превыше пап уверенная папа!

* * *

Дурак Иван поймал тебе Жар-птицу,
Но птицы гадят; это не годится.
Тогда принёс он золотую рыбку —
Аквариума негде было ставить!
И нужно было всё это оставить.
Но, наконец, поймав тебе лисицу, —
Дурак Иван
Поймал
Твою улыбку!

* * *

И вот
Пришло ненастье и ушло:
Ветра отвили, бури отрыдали,
И понял я, что холод и тепло
Две стороны одной медали.
И всё зависит лишь от быстроты
Вращения, от скорости движенья,
Но и теперь, лениво скажешь ты,
Что это —
Лишь моё
Воображенье!

## ШАРФ

Листья
Улетели величаво,
А сейчас обратно принеслись,
Но не на деревья, а в канавы
Улеглись.

Голуби,
Всей стаей улетая,
Вдруг вернулись,
                но не в голый сад,
А, должно быть,
                о тепле мечтая,
На пожарной лестнице
                                сидят.

Так
Ничто не возвратить на место,
Кроме только разве одного:
Слышу прорицанья
                                вместо
Одобренья твоего.

Но люблю,
И тон небрежно-нежный
И пренебрежительный, терплю,
И, как ветер, шарф твой звёздно-снежный
Для успокоения треплю.

* * *

Поскольку
Искажают Божий лик
Не только маслянистости лампадок,
Но желтизна желтейших лихорадок,
Святого Витта пляска, нервный тик —
Стремлюсь природу привести в порядок,
Чтоб облик мира не был зол и дик
И мирозданье не пришло в упадок...
И эту мудрость, кажется, постиг
Я, никакой не знахарь и не лекарь,
Не коллекционер целебных трав
И, разумеется, не костоправ,
Не книжник — фарисей, библиотекарь,
А мне петух зари прокукарекал:
— Люби людей, коль разумом ты здрав!

## ПРИЗНАНИЕ

Эфиоп ему подал письмо.
Адрес был:
Эфиопия.
Ставка негуса.
Господину Артюру Рембо.
Разрывая конверт, он подумал:
— Давно уж не был в Европе я.
Это почерк Верлена, —
Прочёл он:
— Все ждут твоего
возвращенья назад. Жду и я
и надеюсь, что жду не
напрасно я. Ты ушёл, как
изгнанник, вернёшься
тропою побед. Твой сонет —
ты, надеюсь, ещё не забыл
его: «Гласные» — в символ веры
своей молодёжь превратила. —
Он вспомнил сонет:
«А — черно, Е — бело, У — зелёное,
И — ярко-красное,
О — небесного цвета. Вот так, что ни день,
что ни час,
Ваши скрытые свойства беру я
на вкус и на глаз,
Вас на цвет и на запах я пробую,
гласные!»
А! Признанье пришло, наконец.
Или, может быть, просто я
Издевался над вами, парнасцы, нахальный
юнец,
Раздражая вас детским своим букварём,
где картинки бессмысленно пёстрые,

Но, быть может, и верно я звуки ковал,
как кузнец,
Раскаляя их добела, докрасна. Всё может быть,
но давно притупилось перо моё острое.
Вы добились того, что теперь я купец
и скупец,
И нетрудно понять вам теперь до чего
на душе у Рембо черно,
И чернилами чёрными чётко теперь я строчу
озабоченно.
Всё черно: ***А*** черно, ***Е*** черно, ***У*** черно, ***И*** черно,
***О*** черно.
Раскалённые добела, докрасна, чувства
остыли мои,
Будто и нет мне дела, что
в Вечность надёжно вколочены
Эти белые *Е*
И лазурные *О*
И зеленые *У*
И пронзительно красные *И*!

## МРАМОРНОЕ МОРЕ

О, эта беломраморная зыбь
И беломраморные теплоходы,
И берег, пеной мраморной облит,
Уйдя под беломраморные своды
Застыли, наподобье белых глыб,
Молчат окаменевшие рапсоды.
Окаменело всё, и мир погиб?
— Нет, — отвечают мраморные воды, —
Я Мраморное море, но оставь
Свои фантазии. Могу ли въявь
Застыть в окаменении бесстрастном
Я, море и героев, и богов,
Соседствуя с Тирренским, с Чёрным, с Красным
У Средиземноморских берегов.

* * *

Говорят,
Что сонеты
Сперва зародились в Палермо,
Я бывал там когда-то, давно, уж лет
десять назад,
И поэтов там знал, и поэтому знаю
примерно
Всю Сицилию, знаю, какие там нравы
царят.
На Сицилии этой, где пламенно, бурно
и серно,
Жерло Этны вздыхает века за веками
подряд
И, конечно, всё это естественно, закономерно,
Что оттуда по белому свету пошли,
не встречая преград,
Молодые сонеты, сперва не в обличье
разменной монеты,
На которую бронза пошла или никель
и медь,
Но в нахмуренном небе, блуждая, как будто
планеты
Или даже кометы, чтоб жуть предвещать.
И заметь,
Есть догадка о том, что когда-то
и где-то сонеты
Можно было не только писать
и не только манерно
Декламировать вслух, а представь себе,
даже и петь!

## НА ОСТРОВЕ СВЯТОЙ ЕЛЕНЫ

На острове Святой Елены
Наполеон-невольник, точно школьник,
Посажен в карцер на Святой Елене
И, мрачно забавляющийся тенью
Своей когда-то славной треуголки,
Разочарованный, военнопленный, на океан взирает
беспокойный.
И сам себе как будто в наказанье
Чертил на хладном камне треугольник.

А между тем
На Волге, там, где волки
В метели завывали за Казанью,
В которой снег валил, скрипели сани,
В печах трещали мёрзлые поленья, —
Там Лобачевский юно-вдохновенный
Чертил почти такой же треугольник,
Чтоб новым представленьем о Вселенной
Обогатить младые поколенья.

А, может быть,
Там, на Святой Елене
И не чертил Наполеон-невольник,
Поставлен Роком чуть не на колени,
Унылый треугольник треуголки,
И лишь мои всё это измышленья.

Нет!
Были в силуэте треуголки
Судьбы насмешка, Рока повеленье.
Судьба судьбой, но время надвигалось.
Был Лобачевский, были Больяй, Гаусс!

## В ПРОШЛОМ

Но я-то ведь знаю о прошлом
Из жизни, а не из книг!
Ведь я к летописцам дотошным
Не льнул. Я не их ученик.
А отроком, будучи юным,
Я, дерзкий, зелёным вином
Упился, и солнечно-лунным
Досыта наелся блином,
И душные шкуры овечьи
Навыворот я надевал,
На простонародном наречье
Я песенки напевал,
Узнавший и мыслям, и гуслям
Всю цену в глубоком Былом…
Словом, не заблужусь в нём
Я, в прошлом жестоко милóм,
Как ты заблудился бы в прошлом,
С которым, увы, не знаком.
А встретиться там бы пришлось нам —
Стал бы тебе я проводником,
Если не поводырём,
Как медведю!

* * *

Чего ты по равнине рыщешь,
Переходящий в ураган
Угрюмый вихрь? Кого ты ищешь,
Тоскуешь по каким врагам?

«Нет! Я, рождённый небесами
Ищу по рощам и лугам,
Чего не ищите вы сами —
Тоскую по живым богам!

Вы говорите, что природу
Обуздываете как коня,
Так, укротив огонь и воду,
Вы покорите и меня!»

И чтобы к нам пробраться в души,
К живым богиням и богам,
Он ищет, свищет, лезет в уши
И даже падает к ногам!

## СКАЗКИ ВЕНСКОГО ЛЕСА
*(вальс)*

На маскарадах Дамаска, —
Мечтал Гофмансталь, —
Глаза, что ни маска, блестят, как дамасская сталь,
Дразня иностранца, посланца — гонца из страны
Седой, точно Франца
Иосифа сны.

В мечтах о Дамаске витал Гофмансталь,
И мчались коляски, чьи спицы блестят, как хрусталь,
И автомобили, пия огневую росу,
Ещё не губили растительность в Венском лесу,
И старых мелодий ещё этот лес не отверг,
И не были в моде ни Шёнберг ещё и не Берг...

А может быть, о Дамаске и не мечтал Гофмансталь?
А если мечтал о Дамаске, то едва ли предвидел
такую деталь,
Как бомбозащитная каска на автострадах Дамаска,
И чьё-то фиаско
На автострадах
Дамаска.

## СЕРДЦЕ СТАРЦА

Бурно
Бьётся
Сердце старца.

И с юнцами так случается,
Коль волнуются, печалятся.

И, конечно, разумеется,
Будет небо вновь лазурно,
Было бы на что надеяться,
Чтоб не слишком горько каяться.

Сердце старца
Бьётся бурно,
Физкультурно кувыркается.

Впрочем, кто не оступается!
Прегрешенья искупаются,
Сотворенные во гневе.

Сердце старца
Бьётся бурно
И как будто бы брыкается,
Как младенчики
Во чреве.

## ДЕЛЕНЬЕ ШКУРЫ

О, шкура медвежья,
Которую делят
Покуда лишь мысленно, в воображенье,

Огромная белая шкура медведя, которую стелют в таком положенье,
Как будто бы мясо перчат и солят, и чёрные когти раздоры сулят.

— Делите телят!
— Нет, телят не велят!

— Делите котят!
— Нет, котят не хотят —
Озлятся соседи!

Деленье — не шутка! Озлятся соседи —
К сраженью готовься, дыша горячо!

Но сладко делить эту шкуру медведя,
Которого даже не видел ещё!

* * *

Природы животные страсти
Давно уж воспел соловей,
Птенцов ненасытные пасти
Разинуло лето с ветвей.

И, мирно треща, не от злости,
С водой ручейков унеслись
Какие-то птичкины кости
От трапез мечтательных лис.

* * *

Кричит
Пиявка на весу,
Высасывая кровь живую:
— Я у него ее сосу
И, значит, с ним сосуществую!

Но разве мне закон такой
Диктуют мудрые преданья!
Ко всем, охваченным тоской,
Сосет мне сердце состраданье!

* * *

Я гусеницу сшиб, но не убил,
Пускай она останется в живых
Среди своих мохнатеньких сестёр,
Скитаясь на пространствах полевых,
Но не по голове моей ползя:
Чего нельзя, того никак нельзя!
Но мошка, залетевшая в мой глаз,
Легко так не отделалась. Стряслась
Беда: слезясь, сожгла её слеза.
О, Господи! Жужжа и егозя,
Не следует нахально лезть в глаза:
Чего нельзя, того никак нельзя!

## ИСКРЫ

Изрядно
Повредил я ногу,
И ночью трудно мне идти,
А, как всегда, хожу я много
По каменистому пути.

И, в темноте шагая быстро,
Я тростью по булыгам бью,
Из камня вышибая искры,
Чтоб озарить тропу свою.

Железный наконечник трости,
Звеня, всекается в гранит
И ввысь, как будто к звёздам в гости
Взлетают искорки в зенит
И сыплются по небосклону…

И, видящий, как бьюсь я с тьмой,
Смеётся с неба благосклонно
Джордж Гордон Байрон, бард хромой.

## ВЕРШИТЕЛИ СОБЫТИЙ

Обличие
Вершителей событий
Опять напоминает о граните:
Вновь сложности!
Ну ладно, предположим,
Вы, твёрдые вершители событий,
Железное спокойствие храните,
Боясь, что мы помочь ничем не можем.

Но, гордые вершители событий,
Вы прочь с лица бесчувственность гоните,
Одно хотя бы слово оброните —
Пожалуйтесь, взволнуйтесь, объясните,
В чём дело — и тогда мы вам поможем.
Ведь всё-таки мы тоже плечи ёжим
В тревожном состоянии, похожем
На ваше, о вершители событий!

* * *

Мой друг
Открытку мне прислал из Рима.
На ней репродуцирован Шагал,
И по нему себе представить зримо
Мою страну мой друг предполагал.
Россию представляя по Шагалу,
Он видел сов его, его коров,
Но далеко Россия прошагала
От этих старовитебских дворов!

## КАРА-ДАГ

У горного Крыма,
Который когда-то
Топил мониторы, корветы, фрегаты
и «Чёрного Принца» —
У этого Крыма почти что незримы
Черты караима в лице украинца

Но, впрочем,
У горного чёрного Крыма
У дизельмоторного мирного Крыма
Ещё и другое в лице различимо.

У чёрного Крыма,
Где винная влага
Бунтует стеклянное тело стакана,
Есть профиль вулкана —
Лицо Кара-Дага.

Лицо Кара-Дага,
Оно бородато,
Глаза из агата!

Быть может, когда-то
Для древнего Крыма
Казался он обликом Керубима,
Над низменным облаком
рея крылато,
А может быть, жителям древнего
Крыма
Казался он маской искусного мима,
А может быть, ликом царя Митридата.

Быть может! Не знаю. Не даст он ответа,
Но знаю, что ныне у горного Крыма
Стоит и на море глядит нелюдимо
Вулкан, принимающий облик поэта,
Который и жил тут поблизости где-то,
И этим положена сходства основа.

И, может быть,
Лет через тысячу снова
Он людям напомнит кого-то
иного
Но ясно одно — что и зиму
и лето
Потухший вулкан не стоит
недвижимо
У древнего берега
Горного Крыма.

## НОЧНОЕ МОРЕ

Иногда
Волнами шалыми
Море так шарахнет в клиф,
Что дрожит, грозя обвалами,
Нависающий обрыв.

Иногда
И хруст ракушечный
Вдруг звучит, как выстрел пушечный.
Ну и что же?
Что тогда?

Лопнула волна, отпрянула,
Да и дремлет море заново,
Смутной страсти сонный взрыв
Бесконечно обветшалыми
Покрывалами покрыв.

Но бывает: чайки плачутся,
Будто кто-то где-то прячется, — говорят,
И тогда звучит и радио,
Так что и не разобрать его,
У оград.

И тогда на палисаднике
И на ближнем винограднике
Спящем, листья распластав,
Тени мечутся как всадники,
Прискакавшие с застав.

И над крышей черепичною,
Будто самая обычная
Неподвижная звезда

Движется, перемещается,
Не поймёшь её куда.

Словом, всякое случается
Над обрывами и тропами,
И над морем, где вода
Будто блещет перископами
Там, где только невода.

И бывает:
Гулким рокотом,
Где-то на море, далёко там,
Отвечает
Эта ночь.

Словом,
Всякое случается…
Чаще этим и кончается,
Кто и что там ни пророчь…
Иногда
И потрясения
Назревают во спасение,
Чтоб спокойствию помочь.

## НЕОБРАТИМОСТЬ

И лес как лес —
Как будто все отлично:
Шуршанье, родниковая струя…
Но почему же как-то необычна,
На что похожа песня соловья?

…Все было пусто
На лесной опушке
В благословенном девственном краю,
Где мелодично вторили лягушки
Их передразнивавшему соловью.

Но вот война —
Вторая мировая —
Вмешалась в песнопенья к соловьям,
Колючей проволокой обвивая
Стволы древес среди кровавых ям.

Попавшая
Под яростные ноги,
Визжа, рвалась зеленая трава;
На дереве, растущем у дороги,
Пожухла опаленная листва.

Весь лес
Оброс пороховым налетом,
И, конвульсируя среди ветвей,
Бредово подражавший пулеметам,
Как автомат, зацокал соловей.

...Все кончилось.
Вновь посвежела зелень,
Но все ж не засияло так светло,
Как древле, без морщин и без расщелин
Природы безмятежное чело.

Нет!
Этого уже не будет снова.
Лес не увидит безмятежных снов!
Не то, чтобы подрублена основа —
Она цела, основа из основ,

Но
Древнее сцепление молекул
Перевернул необратимый взрыв,
И вся природа вместе с человеком
Иною стала, это пережив.

И соловой,
Когда его спросонок
Воспоминанья смутные томят,
То вдруг заквакает, как лягушонок,
То вдруг затокает, как автомат.

* * *

Да,
Я встречался
С нищенкой такой.
Она не то, чтобы с одной рукой,
А совершенно
Без обеих рук.
И надо мелочь ей совать в карман.
Как славно бы, чтоб это был обман,
Обыкновенный жульнический трюк.

А если — нет,
Так что же до сих пор
Она без рук?
Ведь, это же — позор!

* * *

Стать
Мрачным старцем,
Со́бранным из складок
Тяжёлого обличья своего,
И навести кругом такой порядок,
Чтоб было всё ни живо, ни мертво.
И как бы вековечно существуя
Немые купола позолотить,
Всю суету, всю смуту мировую,
Как будто бы и вправду прекратить,
Со всеми кончить, кто тебе переча
Хотя бы и ни слова не сказал.
Всё, всё пресечь!
И вдруг лишиться речи
И рухнуть наземь… И — Колонный Зал.
И с топотом прут толпы любопытных,
Так мнут друг друга, что земля дрожит,
Как будто бы желаний ненасытных
Ты не изжил и гнев твой не изжит.
Но гнев-то гнев, а есть иная мера!
Вползает всё, что сунуто под спуд
И поглядишь — Любовь, Надежда, Вера
И даже Софья — тут они как тут.
Они стоят, ещё не торжествуя,
И ничего ещё не говорят,
Но в небесах уж вычертил кривую
Твоей рукой не пущенный снаряд!

## СТАТУЯ

И я
Свои закончил дни,
Меня почти уже не стало —
Кой-где лишь статуи одни,
Кой-где лишь только пьедесталы.

Не подымается рука
Принять покорное прошенье;
Проходят целые века,
Чтоб дать на что-то разрешенье.

Такая вот пора пришла
И, не о чём уж не заботясь,
Гляжу, как за свои дела
Без разрешенья вы берётесь.

Без разрешенья моего…
И я, стоявший здесь на страже,
Не в силах сделать ничего,
Когда б и жив ещё был даже!

## БУРЯ

Отношенья обострялись,
Чувство притуплялось.
...Встреча, как мы не старались,
Всё же состоялась.

Нет вина. Его не стоит
Даром тратить ныне,
И поставлена на столик
Лишь вода в графине.

Что ж! Водица, так водица!
Я стакан наполнил,
Но о том, чтобы напиться,
Даже и не вспомнил.

И пошли на скучной встрече
Тягостные речи
Лишь затем, чтоб доискаться,
Чтоб к чему придраться.

Но едва лишь в пререканья
Мы пошли друг с другом,
Вдруг пошла вода в стакане,
Как в Мальстреме, кругом.

Мы глядели, брови хмуря,
Злые очи щуря:
Поднялась в стакане буря,
Да какая буря!

Заметались, будто в море,
Всяческие твари,
Стаи мелких инфузорий
И радиолярий.

Подивились мы, дружище,
На такие вещи,
Как в стакане ветры свищут,
Перья молний блещут.

И хвостами, может статься.
Там киты хлестались.
...И оставив пререканья,
Мы расхохотались.

* * *

А.С. Пушкин
Явился ночью ко мне
При луне.
Поднял голову я с подушки —
Вижу профиль его на стене.

Это во сне?
Нет, не во сне!

Всюду он шёл. Но путями своими
Через Урал, и Кавказ, и Крым.
Даже бывал и в Третьем Риме
Он вместе с нами и мы вместе с ним.

Нынче, завтра, вчера в этом мире
Пушкин присутствует чуть не везде.
Не историю ли Сибири
Пушкин читал при Полярной Звезде?!

А за окошком
Заря колебала
Благостный лик мангазейской луны,
А казалось, что это
Голова Ганнибала,
Мчавшегося на обмер Великой Стены.

## ФАРФОР

Чего ты плачешь,
Неудачи ли
Мучительны, как их не прячь,
Или удачи озадачили
Своей невзрачностью?
Не плачь!

Один простак,
Сидевший голодом,
Известен тем и до сих пор,
Что, безнадёжно бредя золотом,
Из глины выявил
фарфор!

## РИЧАРД ТРЕТИЙ

Ричард Третий,
Ричард Третий,
Снова гибнешь ты на поле брани:
На подмостках, на экране
И по телевизионной сети.

Не тебя ли
При царе Иване
Вспоминали
Англичане
Здесь, в Москве, метельной и морозной,
И не о тебе ль повествованье
От гостей заморских слушал Грозный?

Вероятно, так оно и было —
Ведь не только дыба, кнут, кобыла, плети,
А была ведь и библиотека…

Ричард Третий,
Ричард Третий,
Сухорукий чёрт, горбун, калека,
Сколько же ты пережил столетий?
Может быть, тебя смотрел и Сталин —
Ведь бывал не только он в балете!
Да, Шекспир, конечно, гениален!

Ричард Третий,
Ричард Третий!

# «Исчезли все сомнения мои...»

* * *

Стихи
Не жаждут
Предисловий
И песни тоже их не ждут,
Хоть лют по-пахорски воловий
Творца единоличный труд.
Но, зрелое в своём величье,
Своей оценки ждёт зерно
От птичек даже, чтоб по-птичьи,
Припрыгивая на гумно,
Они бы всласть зерно клевали,
Суя повсюду острый нос,
Да и при этом ворковали…

* * *

Нет
В писаньях
Лёгкости былой,
Будто бы слова мы нынче стали
Выцарапывать иглой
На листах железа или стали.

Что бумага?
Мало толку в ней,
Изгниёт и переплета кожа,
А железо всё-таки прочней
И подольше уцелеет всё же.

И однажды
В некий добрый час
Не сурки, не вороны, не волки,
А людской проникновенный глаз
Разгадает всё,
Хоть на осколке.

Ибо
Знают
Отгремевший гром,
И земля,
И небеса над нею,
Что писать
Пером
На бумаге
Было нам труднее!

## КОРАБЛИК

Я, точно ты,
О, старый добрый парусник!
Отчаянно поскрипывают ванты,
Давно уж мой отяжелел под старость лик.
Вокруг меня плавучие гиганты.
Но в то, что жизнь приходит не к концу ещё,
Меня ничто бы так не убеждало,
Как легонький папирусный танцующий
Кораблик Тура Хейердала!

## РУКА ВАША ЛЕПИТ И ЛЕПИТ

Прелаты, атлеты, илоты,
Артисты и игроки,
И несуществующий кто-то
Встаёт из-под вашей руки.

А я не сырковая масса,
Не воск я, чтоб плыть на огне,
Слепить вам меня не удастся,
Нет лепкости этой во мне.

Но, комкая смутные слепки
Десятой моей головы,
— Напротив! Вы дьявольски лепки! —
Меня уверяете вы.

И вот я расту в исполина,
Как всякая статуя, слеп,
Но всё ж я не известь, не глина,
Не воск, и не жёваный хлеб!

Я тот же, что был и вначале,
Но только ещё я окреп.
И в ярости вы закричали
О том, что я вовсе нелеп!

## СПОРЫ

Дело не спорится?
Грёзам не сбыться?
Как говорится,
Надо мириться
И покориться?

Хватит позориться!
Поздно нам ссориться —
Так не годится!
Поздно злобиться!

Грозно нам спорится:
Только лишь истины надо добиться!

* * *

Луна,
Взойди в своей короне
И в перстень лунный камень вдень
И озари гнездо воронье,
Плетень и сад, укрытый в тень, —
Луна сонат, луна рапсодий,
Луна и летом, и зимой
На серебристом луноходе
Блуждая по себе самой.

## ЛЕСНЫЕ СКАЗКИ

Они
Ржавеют,
Старые кровати...
Исчез матрац, но щурит глаз кровать
И раскрывает дряхлые объятья,
Чтоб что-нибудь негодное скрывать.
В лесной чащобе,
Где грибы поганки
В мерцании гнилушек по ночам
В давно не обитаемой землянке
И там кровать стоит, а не топчан.
Кто спит в ней!
Леший! Или же лесная
Кикимора, иль, как её там звать,
Об этом я доподлинно не знаю...
Но и вторая есть ещё кровать.
Она — в пруду. Кто в пруд её забросил!
Как будто никому не на беду,
Ни удочек не трогая, ни вёсел,
Она на дне покоилась в пруду.
И обнаружилась она случайно:
Нырять в пруду задумал кто-то, пьян,
И утонул. И вот открылась тайна,
Попал в кровать он, будто бы в капкан,
Застрял он головой в её решетке,
И водолазов скорбные труды
Уж не могли помочь. Погиб от водки!
Вот до чего захламлены пруды.
Нигде нельзя купаться без опаски,
И пострашней коряг и всяких пней
Такие вещи! Вот лесные сказки,
Лесные были,
Были наших дней!

## ЛУННАЯ РОЩА

Нехорошо,
Чтоб снег-бедняга шёл,
В тоске немой
Томясь, что роща ходит нагишом
В себе самой,
Не кутаясь ни в иней, ни в туман,
Насквозь видна...

А может быть, и это лишь обман,
Спесь, злость одна:
Смотрите, мол, погода холодна,
А я блаженствую, мне хорошо —
Снежок, луна!

* * *

Молодые
Наряжаются —
Удивляться не приходится.
Пожилые
Раздражаются.
Всё нормально, всё как водится.

Не случилось бы навыворот,
Чтоб юнец, напялив рубище,
Ухватил бы вдруг за шиворот
Старика в добротной шубище.

Юность
Тоже раздражается,
Слыша наставленья лишние.
Потому не наряжаются
Старцы пышно,
Как Всевышние.

* * *

Он говорит, печалясь:
— Кажется временами,
Что от меня остались
Только воспоминанья!

— Только воспоминанья! —
Он говорит, ликуя. —
Эти воспоминанья
Я и опубликую!

Важные в них места есть,
Жив каждый знак препинанья,
Чтоб от меня не остались
Только воспоминанья!

## НЕОСЁДЛАННЫЙ КОНЬ

Не вроде ли
Карусели свет
Белый? Лошадки чувств
Несутся, чтоб на веселье
Перекопытилась грусть.
О, красные, белые, синие и чёрные! Выбирай,
Какая из них красивее и мчись хоть в Господен рай!

Но превращаются, вижу я,
Лошадки, почуяв меня,
Во бледного, белого, рыжего и вороного коня:
Конь бледен и конь багрян.
Не прямо ли из Апокалипсиса
Кричит Богослов Иоанн:
— Воистину не по силушке
Такие тебе! Не тронь,
А жди, когда выпустит крылышки
Один тебе преданный конь
Пегас, неосёдланный конь!

## ХРАМ

В Подмосковье
В садах, на прудах
И в полях, золотых от колосьев,
Где дорожки под осень в следах и мышиных,
и лисьих, и лосьих,
Стал понятен мне замысел твой,
о, искуснейший зодчий Бон Фрязин!

Под осенней цветною листвой, отдыхая, улегся
ты наземь
И увидел!
Внезапно возник
Непосредственно перед глазами
Небывалой красы боровик. Возвышался он
в этом Сезаме —
Между всяких поганок, сморчков,
Как мечта между будничных явей,
Как воздвигнут на веки веков и любых базилик
величавей.
Это — внешне! А где-то внутри белоснежных
архангелов лики,
И престолы, и алтари... А кругом —
богомолки, калики...
Так пригрезилось!
Боровиком
Неотрывно и сладко любуясь,
Понял ты: он в величье таком не уйдёт
ни в лукошко, ни в туес,
Подымающийся до небес нерушимо,
торжественно, зримо,
Недоступнейший деликатес для сластён
Византии и Рима.

И для чуди, дабы не могла б поволочь его
по Заволочьям,
И для пламенных каменных баб
До добычи охочих... Но впрочем,
Как посмотрят на это в Москве, что строитель,
спаси меня Боже,
Это все я пригрезил в траве, средь листвы
увядающей лёжа!
Не грозит ли за это дыба — придавать
очертания храму
Хоть красавца, но всё же гриба?
— Будь, что будь! — порешил ты упрямо. —
Только замысел мы утаим, а не то он покажется
диким!

Так
Возник он
Стараньем твоим
Храм,
Что назван Иваном Великим.

* * *

Светопроницаемой все больше
Жёлтая становится листва,
Это осень. В этом ты права.
И листва редеет. Но позволь же!
Это не зависит ни от лета,
Ни от осени, ни от зимы,
Потому что ясные умы
Светопроницаемы для света
И непроницаемы для тьмы.

Но зачем ты так легко одета?!

## ЗАКОНЫ ОПТИКИ

Однажды
Я не те писал слова,
Которые писать бы мне хотелось,
И дико закружилась голова
И всё кругом не то, чтоб завертелось,
Но и деревья с пышною листвой,
И новый месяц с острыми рогами
Перевернулись вдруг вниз головой,
А говоря иначе — вверх ногами.
И разве только карточный король
Не изменился обликом нисколько.

И понял я, что потерял контроль
Над органами зрения и только!
И если вы, вниманье обратив
На это, взгляните в глаза людские
И в их подобье — фотообъектив —
Поймёте вы: явления такие
Естественны и истина проста,
Что сколь законы оптики не тяжки,
Всё сущее мы видим вверх тормашки
И лишь рассудком ставим на места.

Итак,
Рассудок потерять — беда!
А те, что вовсе им не обладают,
Всё существующее наблюдают
Стоящим вверх тормашками всегда!

## ВРЕМЯ ДОРАСТЁТ ДО ВЕРШИН

Время мерит всё на свой аршин?
Нет! Но и над ним вы не царите!
Если прежде времени вершим
Что-нибудь — нет толку в нашей прыти,
Хоть на ключ свершение заприте.
Но и не напрасно мы спешим:
И доходит время до машин
Хитроумнейших и до открытий
Чьих-нибудь заслуг или грехов,
Будто вовсе потонувших в Лете,
Либо часто даже до стихов,
Созданных не нынче на рассвете,
А во дни аркадских пастухов
Либо раньше на тысячелетье!

* * *

Была
Когда-то
Эльза школьницей
И Лилия цветком была,
Но жизнь не шутит шуток с вольницей —
Свои порядки навела,
Из многих знаков препинания
Лишь многоточье разрешив...
И мечутся воспоминания,
Себя почти что удушив,
И колются шипов иголочки,
И лепестков ослаб дурман...

А жизнь давно стоит на полочке,
Как будто бы чужой роман.

* * *

Голубизна.
Весь этот день весной
Охвачен неземной голубизной
Снегов.
Голубизною берегов
Оттенена голубизна воды,
Той, над которой голубеют льды,
Чьё мутное дыханье голубей,
Чем трепетанье сизых голубей
На мёрзлом подоконнике окна,
Через стекло которого видна
Ещё морозно легкая на вес
Голубизна стальных завес небес,
Дарящих нас надеждою одной,
Что, как бы от удара колуна,
И белого каленья белизной
Не обернётся
В августовский
Зной.

## ТАЙНЫ БЫТИЯ

Быть
Как Диккенс —
Бороться с хулиганством
И за авторские права;

Быть как Лондон —
Сторониться полицейских
И стремиться на Гавайские острова;

Быть как Пушкин,
Хоть бы дней лицейских —
Пусть и не в расцвете мастерства —
Вот какого хочется родства!

* * *

Сердится
Надменная певица:
— Что же вы хотите от актрис,
Ведь она же спела по программе,
Как же смеют требовать «на бис».

Некто шепчет:
— Но меня нет дома! —
Дома он ответа не даёт,
Вечером, усталый от приёма,
Отдыхает, арии поёт.

Бедные рабы своих профессий,
Не один ведь, впрочем, не злодей.
Я ведь знаю… Что ни день, то больше
Я люблю их.
Я люблю
Людей!

## АСТАПОВО

В девяноста или ста томах
Сочиненья Льва Толстого будто
Заняли места во всех домах.

Только сам домашнего уюта
Человек не выдержал, не мог...
И осталась у яснополянца
Только эта маленькая станция,
На которой колокол умолк.

— Эта станция?

Вот эта. Да!
Но её минуют поезда
В большинстве своём без остановки
Потому, что господин в толстовке
На перрон не ходит никогда,
А присел, стирая пот со лба,
На скамейке у билетной кассы.

Вот она, мыслителя судьба:
Ночью красться, думая, что спасся,
Будто впрямь закончена борьба!

## ФРЕСКИ

Когда рождались эти фрески,
Их краски были слишком резки,
Наложенные очень густо.
Но лучший в Риме
Художник Время
Смягчил неимоверный
блеск их;
Нет доказательств боле веских
Его искусства!

## ПО ЭТУ СТОРОНУ КАПЕЛИ

По эту сторону капели
Иду я. Здесь ручьи запели,
А не на этой стороне
Снега еще не отскрипели,
Как будто бы в другой стране.

И там мечтают о весне,
Да перебраться не успели
На эту сторону капели —

Боятся ледяной купели!

Но перешли, не утерпели,
Через блистание капели
На эту сторону, ко мне!

## ВНЕШНЕЕ СХОДСТВО

В юности
Похож я был на Джека
Лондона, а несколько позднее
На другого человека —
На Есенина Сергея.

А когда уже перевалило
Мне за сорок — непонятно было,
Почему меня изобразила
Вдруг на Достоевского похожим
Кисть художника Такташа Рафаила.

— Полно! Это сходство уничтожим! —
Я сказал Такташу. — Я моложе
И гляжу на мир не так устало!

И ещё смеялся. Но, похоже,
Что с годами сходство больше стало.

Тот портрет ценю я всех дороже!

## ИНДИРА

Есть женщина
По имени Индира
И были дни, что ни одна газета
Не обходилась без её портрета.

Её представить в роли командира
Я не могу. Есть женщины сверх меры
Надменные, манто их из пантеры,
Есть женщины, одетые в мундиры…

Но нету с ними сходства у Индиры.
Должно быть, снова будет знойно лето.
Политики не делают секрета,
Что сложно всё.
Летит к луне ракета,
И, в шубу норковую одета,
Как смуглый утомлённый ангел мира,
Индира Ганди
Мечется по свету.

* * *

В тот полдень дождевой,
Когда над головой, сквозь ржавый водосток
заклокотал поток,
Ты, подведя итог текучести речей
И вникнув в суть вещей, покинула чертог.

Покинула чертог, накинула платок,
Тот радужный платок крылатей мотылька
со ткацкого станка космических ткачей,
Где наткан был цветок из солнечных лучей.

А он издалека напомнил облик чей?

Не иначе как твой!
Над радужной травой
Возникла ты, легка
И радужно ярка,
Как сам цветок живой!

***

Сумрак пал на гранит
У московского моря.
То ли ветер звенит,
То ли что-то в моторе,
Где-то там вдалеке
На шальном катерке, —
Разобрать я не мог...

На песок тепловатый
Я усталый прилёг
Возле мраморных статуй.

В небе двигался звезд
Бесконечный конвейер,
Но вот тут и повеял
Вихрь, что звезды рассеял
И незримый свой хвост,
Распуская как веер,
На спасательный пост
Грузно сел Алконост.

Алконост, говорю,
А быть может, и Сирин.
Провожая зарю,
Где, как струны на лире,
Пела медь проводов
Электрической сети,
Крылья вспыхнули эти
Птицы райских садов.

И, ослепнув от чар
Этой чудной цесарки,
Я решил этот яркий

Цветной экземпляр
Поместить в Зоопарке
Современникам в дар.

И в надежде шальной
Тут нацелил аркан я
На шальное сверканье
В ночи над волной,
Но, увы, не попал!
Вижу: дело пропало,
Лишь вода засверкала,
Как топаз и опал!

Где ты, чудная птица?
Только нефти пятно
На воде маслянится.
То-то вот и оно!

И пустился я прочь.
И мечту не свою ли
Я убил в эту ночь
Возле моря в июле.

## СЧАСТЬЕ

Казались ангелами почти две женщины
на земле,
Хотел он счастье им принести, двум женщинам
на земле.
Не разделили счастья того две женщины
на земле.
Они поссорились из-за него, две женщины
на земле.
И взял он счастье у них из рук,
Из четырех их рук!
Живите две женщины на земле
Без радостей и без мук!

* * *

Ломают железо —
Бледнеет оно.
Ломаясь, ничуть не бледнеет
Бревно.

Должно быть,
Структура бревна такова:
Оно,
Не бледнея, идёт на дрова!

## ДЕТИЩА ВЕКОВ

Модернизировали всегда.
То византийской, то пермяцкой вроде
Росла у Иисуса борода.
И по средневековой новой моде
Библейских дев рядили. Не беда!
Все это в человеческой природе,
Поскольку удавалось без труда
И Гамлета, и Вечного Жида
Одеть по времени и по погоде.
Как видно, крест бессмертия таков!
Недаром Кесарь, Крез и Хлестаков
В ролях своих, по сути, неизменных,
Являются в костюмах современных
И в жизни, а не только лишь на сценах,
На то они и детища веков.

* * *

Что такое
Быть в неволе
В современном смысле слова?

Жить среди несчастной голи,
И обломками былого
От нужды обороняться,
Разрушая, что осталось,
И стараться
Оставаться
Тем, чем быть тебе мечталось,
И следить за полем боя
По своим же свежим ранам
И за собственной судьбою
По газетам иностранным.

## ПРИЗРАК МИНЕРАЛА

Природа
Хлам перебирала
И, тайну тайн доверив нам,
Своим любимейшим сынам,
Явила призрак минерала,

Кристалл,
Которого не стало,
Лишь слепок глинистый с него,
Чтоб развалиться, ждал устало
Прикосновенья твоего.

Вот этот
Призрак минерала,
Чья мощь в земле перегорала
С лихими струями в борьбе,

Природа
Не перевирала,
А что-то долго выбирала,
И точно о людской судьбе
Она напомнила тебе.

* * *

О многом
Трудно догадаться,
Не сразу всё в сознанье ляжет,
Но и не стоит дожидаться
Пока о всём другие скажут.

И если
Нечто
Нам навстречу
Летящее я не отмечу,
То это всё заметит воздух,
Земля, вода и небо в звёздах.

Об этом
Свистнут
Птичьи крылья,
Безмолвие вдруг лопнет с шумом,
Что листья вдруг заговорили
О том, о чём молчать ты вздумал.

Всё это
Перейдет в ворчанье,
Которого и не утишишь.
Вот чем кончается молчанье
О том, что чуешь, видишь, слышишь.

* * *

Это значит вздор, что не могли мы
Друг без друга провести ни дня!
Или вы не так необходимы
В самом деле были для меня,
Как для вас необходим и дорог
Был я прежде? Или это ложь?
С кем же вы теперь запанибрата?
Кто столь удивительно хорош?
Я отвечу:
Тот, кто вместе с вами
Ваших всех тревог не перенёс.
Кто не знает то, что вы и сами
Ставите порою под вопрос,
Кто не может не внимать без смеха
Покровительственной болтовне.

Верно, я ужасная помеха
И не возвратитесь вы ко мне.

## НА ОБМАНЧИВОЙ ЗЕМЛЕ

Утрами
На обманчивой земле
Еще царит заманчивый покой:
Куда ни глянь, повсюду, в том числе
Над зыбкою инертностью людской,
Ни капли слёз не виснет на весле,
А где-то в живописном ателье
Натурщицу своею щегольской
Особой заменяет манекен.
И кажется: такой обман никем
Разоблачён не будет никогда.
И грезится, что ни о чём таком
Ни шёпотом, ни тонким голоском
Заголосить не в силах провода.

* * *

О, страхи
Прошлых лет,
Прошёл мороз по коже!

Но ты, мудрец-поэт,
На свет явился позже,

Развенчан древний бред,
Развеян вздор примет...

Галлюцинаций нет,
Иллюзий — тоже.

## АПОКАЛИПСИС

Иоанн
Писал Апокалипсис.
Он хотел, чтобы люди покаялись,
Он желал, чтобы дело поправилось,
Но не это людям понравилось.
Об одном лишь они печалились,
Что ещё не сбылся Апокалипсис.
Но ведь, сколько бы не копались
все
В нестареющем Апокалипсисе,
Там не сказано, будто провалится
всё.
И не в этом суть Апокалипсиса.
Суть-то в то́м, чтобы зло
обезглавилось,
А ведь иначе и непонятно всё.
Вот зачем на отчаянном Патмосе
Голова Иоанна курчавилась.

* * *

Ну и сух шиповник вялый
В пыльной вазе без воды,
Листик жёлтый, листик алый
И на веточках плоды.
И шипы готовы ранить
Каждого, кто подойдёт.

Ах ты, дьявол! Так и манит
Бросить в мусоропровод!

Но не выброшу, оставил,
Стой на письменном столе,
Как извечных древних правил
Подтвержденье на земле!

## ПОКРОВ

Был Покров,
А все ж цветы цвели,
Холода ветвей не обнажили,
Мчалась над поверхностью земли
Мошкара, в земле букашки жили.

Заводили мужики коров
И, припомнив старую примету,
Говорили, что пришел Покров,
А снегов
Еще в помине нету!

— Прошлый год
когда ложился снег?
— Толь позднее, толь
немного ране...

Многого не помнит человек,
Потому-то и живут преданья,
Что когда-то
Под трещанье дров
В мир, где дуги, бубенцы
и возжи,

Снег однажды
Выпал на Покров —
Все-таки не раньше
и не позже!

## БАЛЛАДА О ЗЕЛЁНОЙ ЗЕМЛЕ

Грустно
Хрустнул снежок
Под лыжей...

У меня был дружок —
Эрик Рыжий.

Молодой человек, ветерок в голове.
Озорник.

И ему —
Хорошо не пойму,
Как, за что, почему,
Но, известно из книг,
Приказали:
— Сгинь прочь!
Нам голов не морочь
Со своей ватагой бесстыжей!

И под клёкот паруса пёстрого
Сгинули они со Скандинавского полуострова
И открыли Гренландию.
На берегах
Той зелёной земли, на цветущих лугах
Заполярье зубами не щерилось.

Но теперь — верь не верь, а проверилось:
Тысячу лет назад вымерзла там луговая трава,
Запеленалась седая Гренландия в снежные
покрова,
И среди ледяных недвижий
О тебе лишь одном не стареет молва,
Эрик, юноша пламенно-рыжий!

* * *

Вчера
Понравилось одно,
Сегодня нравится другое,
Чему назавтра суждено
Лежать растоптанным ногою.

Сегодня дождь,
А завтра сушь;
Сегодня — сыро, завтра — душно,
Позавчера — слиянье душ,
А ныне смотрим равнодушно.

Всё
Перепутать,
Позабыть,
И, наплевав на остальное,
В итоге
От мороза быть
Такой же красной,
Как от зноя!

* * *

Есть
Собор Парижской Богоматери,
И Московский университет,
И массивный Дом преподавателя —
Сходства между ними как бы нет,
Но какое-то, хоть отдалённое,
Всё же есть. Так пусть они,
Порицаемые и хвалёные,
Существуют, Боже их храни!
Разными взлелеянные верами,
Всякими покрытые химерами,
Посмотри,
Несравнимы памятники зодчества,
Разные таятся в них пророчества
И свои
Висят
Нетопыри.

* * *

Трёх смутных птиц увидел я вдали.
— Три ласточки взметнулись на высоты! —
Сказал я. Ты сказала:
                    — Журавли!
Но это были просто самолёты.

* * *

К Москве
Вы близитесь,
Довольно холодно
В ней, белоснежной с ног до головы,
Но обозначится ещё из пчёл одна
Над белизной Москвы, и это — Вы,
Своими радужными покрывалами
Напоминающая мотылька,
Вы снизитесь над снежными кварталами,
Как прилетевшая издалека
Одна из самых певчих птиц, которые
Не умолкают даже и зимой…
И поезда в Москву несутся скорые,
И едете в Москву
Вы, как домой.

* * *

Спеша встречать,
Я шарф накинул туже,
Да и рукой, опущенной в карман,
Я ощутил: еще почти что стужа,
Почти мороз, холодный дым, туман.

Но и ветра меняются нежданно
И, зыбкую границу перейдя
И вынырнув из хладного тумана,
Вы навезли весеннего дождя.

А может быть, я сам своим дыханьем
Всю холодность согнал с воздушных трасс...
Ну ладно, пререкаться мы не станем,
Кто чародействовал на этот раз!

## РОМАНС

Когда дела завершены
И снова видеться не нужно —
Тогда больны
Мы и недужны.

Но, чем друг другу мы
нужней,
Хотя б на несколько
мгновений,
Тем мы нежней
И откровенней.

Друг другу падаем
к ногам
И обнимаемся, целуясь,
Не препираясь, не торгуясь —
На страх врагам,
на страх врагам!

* * *

Он
Выглядел
Не стариком:
Седеющих волос копна
Казалась только париком,
Да и при чём тут седина?
Всё это вздор и пустяки!
Он ею лихо потрясал
И юношеские стихи,
Что в юности не дописал,
Он именно вот в эти дни
Дописывал до конца,
И улыбался, что они
Волнуют юные сердца.

## КОГДА НЕ ПОЁТСЯ

Когда
Удаётся —
Тогда удаётся;
Когда удаётся, тогда и поётся,
Рисуется, пишется.
Смиряется лень твоя.

Но
Часто
Лишь тень твоя
Смутно колышется,
Безмолвно волнуется,
Горько смеётся,
Что петь удаётся,
Когда не поётся,
Писать удаётся,
Когда и не пишется.

## ПОРУКА

Каждый
Знает больше, чем показывает,
Но об этом громко не рассказывает:
Нечего изображать пророка,
Прорицающего одиноко!

Что-то нас такое связывает...

Каждый знает больше, чем показывает —
Каждый может меньше, чем приказывает,
Или меньше, чем другим навязывает,
Или больше, чем другим отказывает,
Но об этом ни гу-гу, ни звука...

Словом, что-то нас такое связывает,
По рукам и по ногам нас связывает,
Но при том и воедино связывает...

Не пойму я: что такое связывает?
Уж не круговая ли порука?

## ИПАТИЯ

Ипатия!
Конечно, без малейшей
Симпатии глазели ротозеи
На деятельность юной и милейшей
Прелестнейшей профессорши Музея.

Известно ли вам, что происходило
В Александрии вообще в то время,
Что волновало, что с ума сводило,
Каких налогов тяготило бремя,
Какая в людях нарастала ярость,
Как рос и рос в стране аграрный кризис
И мглы его не освещал ни Фарос,
Ни Апокалипсис, ни Катехизис?

Ведь новая-то вера победила,
Но всё же и пришествие второе
Откладывалось всё, не приходило.
Языческие боги и герои
Вновь снились черни тощей, развращённой,
И даже те, кто, в общем, жили сыто,
Пресытившись поэзией учёной,
Отвергнув сочиненья Феокрита,
С восторгом перечитывали Лонга,
Чтоб умиляться Дафнису и Хлое.

А эта беспокойная бабёнка,
Ипатия, глядела и в былое
Не для того, чтоб нимф там видеть пляски
И сонм божеств, нет, даже не в надежде
Вернуться вспять, но, пылко веря в сказки,
Что были осуждаемы и прежде
Философами трезвыми, жрецами

В языческих Афинах, как и в Риме!
Связавшаяся с псевдомудрецами,
Она жила мечтаньями пустыми,
И, например, как Аристарх Самосский,
Она и землю мыслила не плоской,
А утверждала, что — шарообразна!
И это было дико, безобразно,
Как, впрочем, очень многое другое,
Что уж не раз подверглось осужденью.
Добро б ещё пошла плясать нагою,
Как древле, призывая к наслажденью,
И развлекла бы этим хоть немного
Давно уставших каяться, поститься.
Но для неё ни чёрта и ни Бога,
А только неделимые частицы!

И вот
При преподобном Киприане —
Он якобы и не успел вмешаться —
К Ипатии явились горожане.
— Над нами не позволим потешаться! —
Бьют и наносят раны ножевые,
Грызут её, как псы, ощерив пасти,
И волочат по всей Александрии
Ипатию, разъятую на части.

Ипатия,
С жестокостью ребёнка
Тебя сгубило время это злое,
Чтоб возвратиться к пасторалям Лонга
И злоключеньям Дафниса и Хлои.

## СТАРЫЙ БЕС

Как взгляну
На всё вокруг,
Скушно мне в своём углу.

Я хотел бы сделать лук
И нацеливать стрелу
Для того, чтоб наводить
Сладкий ужас на сердца,
С тетивы её спустя.

Я хотел бы походить
На опасное дитя,
На крылатого божка,
Ветреного сорванца
С беломраморных небес.
Да! На твоего дружка
Походить издалека,
Древний космос,
Старый бес!

## КРЕСТ

Чего тебе не хватает?
Твои заветы не забыты,
Тебя по-прежнему читают
На клиросах! И почитают
При свете пламенных лампадок
Все, кто на почитанье падок.
И нету на тебя нападок,
И ненависти не питают
К тебе. Теперь иной порядок.

А на густую тьму загадок
Твои глаза полузакрыты,
Чтоб ты не смог себе представить,
Что ты ещё не снят с креста ведь!

***

Твою я не неволю душу,
Зову твою на волю душу.

Кто пишет повесть на коне,
Кто факелом на стене,
Кто, сидя на замшелом пне.

А ты? Ты пишешь обо мне!
Да, верно, я пока дышу,
Зову твою на волю душу.

А лжи я не переношу!

## РАВНОВЕСЬЕ

Вот
С этого бока
Весь плод
Румяный, с другого — зелёный,
И если бы также вот
Размеренно массе всех вод
Быть — пресной и горько-солёной
И мир от низин до высот,
Как надвое, был разделённый
От райских до адских ворот —
То было бы всё честь по чести,
И ясность была бы во всём:
Здесь волки, тут агнцев пасём!

Но спутано всё это вместе,
И вы равновесием грезьте,
Как щуки
В пруду
Карасём!

## ЛИКИ

Как юны
Лики древности седой!

Вот в Лувре: — Присмотритесь хорошенько! —
Я слышу. — До чего на Евтушенко
Походит этот римлянин младой!

И гид решил: — Да, верно. Это так!
— И Джиоконда, — он заметил, — тоже
На вашу переводчицу похожа.

И принял это я как добрый знак,
И стал мне
Старый Лувр
Ещё дороже.

## ТАЙНА

Одиннадцать — двенадцать птиц
Сидят на пыльном гребне крыши,
О чём толкуют, я не слышу,
Не вижу выраженья лиц,
Но думаю о мощи крыл,
Могучих по сравненью с тельцем,
Принадлежащих их владельцам...

Людскую тайну я открыл!

## ЛЮБОВЬ

Москва
Гудела, золотоголова,
И всю её проехал из конца
В конец Мицкевич, от слепца Козлова
Путь вызнав до Петровского дворца,
Где от невзгод Двенадцатого года
Наполеон, когда-то из Кремля
Бежав, скрывался,
Но на огороды
Окрестные любуясь и поля,
Не Бонапарта с маршалами вместе
Поэт увидел меж корней и пней,
А размышлял он о своей невесте
Бакуниной Авдотье, лишь о ней!

Да и не диво, что мечты такие
Им овладели тут средь бела дня:
Она была прекрасна, Евдокия,
Фельдмаршала Кутузова родня,
Авдотья с ясным взором, сердцем чистым,
Авдотья, чьё презренье заслужил
По декабристам давший первый выстрел
Урод в роду Бакунин Михаил
Модестович, который с анархистом
В родстве, хоть и далёком, тоже был,
А сей последний, ставший патриархом
Безвластия, был мал ещё, когда
Мерещилась по-над Петровским парком
Мицкевичу Авдотья, молода,
Горда... Но разве спорить с этим станешь,
Что ни она его не увлекла
В конце концов, ни Каролина Яниш,
Искусница святого ремесла.

А не случайно, это ведь не тайна,
В изгнании отечества очаг
Зажгла ему с отчаяньем в очах
Целина Шимановская, фатально
Похожа на Марылю Верещак —
На первую любовь!
И жёлтым роем
Листвы, опавшей в парке, окружён
Стоял Адам Мицкевич, чьим героем
Когда-то раньше был Наполеон.
Все письма чьи, не знаем мы, какие,
О чём Адам Мицкевич вёл в них речь —
До старости хранила Евдокия
И завещала: после смерти сжечь!

## ВЕРА

— Неверующие суеверны. —
Сказал мне, плечами пожав,
Епископ. И я согласился
С епископом, ибо он прав.

Не будем же лицемерны —
Ведь это нисколько не ложь:
Неверующие суеверны,
Не все хоть, но многие всё ж,

Кто верует в сны,
Кто — в подкову,
Кто — ветру, что воет в трубе,
Кто верит льстивому слову,
А кто — пустой похвальбе,
Но каждый ли верит себе?
Скажи мне:
Ты веришь себе?

Иди же по белому свету
И дальних, и ближних любя,
Но все ж исповедуя эту
Скромнейшую веру в себя.

Да будет твой путь неспокоен,
Но знай: побеждает в борьбе
Учёный,
Художник
И воин,
Сумевшие верить себе.

## ДОБРО И ЗЛО

Есть-таки
Между добром
Всё же разница и злом!

Что написано пером —
Вырубают топором,
Ценности продав с торгов,
Барахло несут в музей,

Но, в конце концов, врагов
Отличают от друзей:

Писаное пером,
Вырубленное топором,
Выметенное помелом,
Выброшенное на слом,
Проданное с торгов
Неразумным, как дитя —

Втридорога платя
Выкупают у врагов,
Часто много лет спустя!

* * *

Всё то,
Что случилось,
В себе мы несём
И то, что случиться должно...
О чём не подумаю — обо всём
Я думал уже давно.

И всё,
Что, казалось бы, я не пойму,
Я понял, хотя не вполне.
И всё это именно лишь потому,
Что всё это зреет во мне.

И только поэтому
Завтрашний день
И должен начаться с утра,
Что мне его было затеять не лень,
Хотя и устал я вчера.

* * *

С прозреньем
Надо поторапливаться.

По капле капля, наконец,
До дробной тяжести накапливается
Парящий в воздухе свинец...

Чтоб он незримыми картечинами
Не оказался на лету
И мы не пали изувеченными
За собственную слепоту!

* * *

Над ней вороны
Как драконы реют,
Снежок жжёт щёки ей, а ветер грудь,
Её бревенчатость и дощатость стареют,
Но не сама она ничуть.
Она растёт в такую безграничность,
Что из лесов высовывается зверьё
Полюбоваться на её кирпичноотъ
И белокаменность её.

## ПЕРЕУЛКИ

На проспекте — тишина,
Тишина и лишь она воплощенья лишена
И она его не ищет.
Но зато, лишенный сна, в переулках ветер свищет,
Свищет ветер-старина
Про былые времена,
Дикий, будто бы спьяна, этот свист в его натуре,
Там, где белая стена как халат на штукатуре.
На проспекте — тишина, в переулках зреют бури!

## ИСКУССТВО ЧТЕНЬЯ И ПИСЬМА

Всё,
Что старательно мы пишем
При свете солнца и луны
В высоком стиле или низшем —
Любовно мы хранить должны,

А если столь уж стало тесно,
То — значит целый новый дом
Придётся строить, хоть известно,
Что это связано с трудом.

И в небывалом этом доме,
Воздвигнутом в свою же честь,
Пусть ничего не будет, кроме
Людей, умеющих прочесть!

А если вдруг искусство чтенья
У них похитит некий тать,
То наших строк трудносплетенья
Пусть вновь научат их читать!

* * *

Птицы,
Людям
Мы поём, пророчим,
А о чём — и не предполагаем,
Будто и не хочется помочь им,
Но бывает — помогаем.

Видно, не исключена возможность
Петь не только ради крохи хлеба.
В этом — истинность и непреложность
Голосов и с неба, и не с неба!

Видно есть и в этом доля смысла,
Даже пусть с ветвей бледно-зелёных
И не что-то сладостное свисло,
Для влюбленных
И для невлюбленных.

## ЗАКАТ

Ты, закат мой, угасал.
Ночью я ушёл в творенье
Прозы.

Я перо кусал,
Я стихи писать бросал:
Не вернётся обостренье
Чувств и внутреннего зренья,

Это было постаренье!

Нет! На следующий день я
Рано встал, и написал
Новое стихотворенье,
Как закат мой угасал.

* * *

А что такое вдохновенье?
Оно, как мощный ветерок,
Даёт хоть на одно мгновенье
Взлететь куда-то выше строк
И ощутить себя не птицей
И не виляющим змейком,
И не малиновой тряпицей,
Порхающей перед быком,
И даже не сорвавшим листья
Смерчём, а чувством высоты
И чистоты, коль не корыстью,
А вдохновеньем полон ты.

## СТАРЫЕ ФИЛЬМЫ

Старые
Просматривая фильмы —
(Наши фильмотеки изобильны) —
Всё-таки мы будем удивляться,
Как мы ухитрялись любоваться,
Например, году в пятидесятом,
Всем, что ныне стало тускловатым...

По-старинному росла трава там
И трещали старые дрова там,
Обладая дымом горькаватым,

Но и атом
Был уже разъятым,
Благовест звучал уже набатом,
Тучи пыли
Были
Нестабильны
В воздухе довольно перегретом.

Старые
Просматривая фильмы
Непременно вспомним и об этом.

* * *

У талантов,
Как у атлантов,
Широченные плечи, иначе
Не хватило бы у талантов
Сил, чтоб выдержать все неудачи,
Неприятности и невзгоды
При поддержке небесного свода.

## АНТЕННЫ

Антенны!
Прежде — помнишь ты —
Они торчали, как хлысты,
Над миром крыш на высоте,
Затем глядели с высоты,
Как трехконечные кресты,

И вот они
Уже не те!

Но с чем ты их теперь сравнишь?

Ни с чем!
Напоминают лишь

Себя самих, себя самих!
Вот в этом-то и прелесть их.

Наш час,
Он этим и хорош,

Что только на себя похож
И ничего не повторишь,

Когда живёшь,
Когда творишь!

* * *

А подыматься, не упав,
Судьба амфибий и купав
В какой-нибудь запруде.

А люди — это люди:
Невесть куда летят стремглав,
Чтоб и споткнувшись даже,
Чтоб даже и упав, могли
Приподыматься вновь с земли
В венцах своих померкших слав,
Хотя бы как миражи!

* * *

Исчезли
Все сомнения мои,
По сторонам всё ясно, пусто, чисто.
Друзья вспорхнули, словно воробьи
При приближении
Велосипедиста.

Быть может, он — моё второе я,
А если это — велосипедистка,
То, может быть, она — душа моя,
Привстав с седла, к рулю склонилась низко.

Она летит,
И не виляет руль,
И не дрожит мерцающая рама…
Быстрее света, музыки и пуль
Лишь по прямой
Летит она упрямо.

Прямая,
Как была ты, так и будь
Кратчайшим расстояньем между точек,
Ведь иначе придётся обогнуть
Так много ям, так много разных кочек.

И пусть
Равнину
Ломаной дугой,
Отрезков еле мыслимою суммой
Воображает кто-нибудь другой,
А ты, душа, об этой и не думай!

# Загадка недр

## СМЫСЛ ИМЁН

Когда
Себя по-русски назову
Я, ратуя за точность перевода, —
Получится, что я
Подобный льву,
Сын победителя народов,
Принадлежащий Марсу.
Вот кто я.
Так
Между всякими иными
Звучат фамилия моя,
И отчество моё, и имя.
Пусть
Этот стих
Педантов взбеленит,
Но всё же, скромность ложную откинув,
Я так и подписуюсь:
Леонид Мартынов.

## ЧТОБ ТАКИМИ НЕ ШУТИТЬ ВЕЩАМИ

Мы,
Властители
Моторов,
Позабыли мир телег и санок.

Я хотел бы
Вчувствоваться в норов
И дворянок, и крестьянок,
И аристократа, и монаха,
Да и в тех, кому грозила плаха,
Воплотиться бы необходимо,
Чтоб такими не шутить вещами!

## РОГУЛЬНИК

Когда
Рогульник принесут
С мороза в дом, то неспроста ведь
На первый план встаёт сосуд,
В который чудище поставить.

Когда ж
Рогульник расцветёт,
Он вопиёт в любом сосуде,
Что прав в своём корявстве тот,
Кто буен. То-то, добры люди.

Но где же,
На каком болоте
Кусты рогульника растут?

О, где угодно, там и тут,
Поищите, везде найдёте!

* * *

Тот, кто смотрит ввысь, как ты и я,
Тот и землю видит под ногами,
Не опасна для него змея —
Он с иными борется врагами.

Говорят: убили соловья,
Спутали с какими-то богами.

* * *

И стояли на горах мы,
Я и Александр Великий…

И спросил я полубога,
Видя у него на лике
Северное сиянье:

— Справедливо ли преданье,
Будто снежные народы
В незапамятные годы
В Камень ты загнал мечами?

Александр пожал плечами:
— Александров было много!

Кто из них был заточитель
И сердец ожесточитель,
Кто из них освободитель
И страстей своих боротель,

Тут не подведет итога
Даже славный мой учитель
Многомудрый Аристотель!

* * *

О, хватит, хватит
Автобиографий
И на вопросы всяческих ответов.
Все требуют сегодня друг от друга
Аналитических автопортретов.
Но я не автомат для дачи справок
О датах. И судить авторитетно
Я о своих достоинствах не сунусь.
Я не автобус для поездки в юность,
Пусть свою собственную.
Я — просто автор!

## ПРИ СВЕТЕ МОЛНИЙ

При вспышках молний я пишу,
Осознавая в интервалах
Всё то, что рассказать спешу
О потрясеньях небывалых,
Но вспышки эти всё бледней,
Не продолжительней, а реже,
И вдохновенье всё бедней,
И всё туманнее я грежу.
А то и брежу, не спеша
Воспользоваться тусклым блеском...
И старится моя душа,
И разговаривать мне не с кем,
И не о чем. Гроза прошла,
Страсть бичевания пороков,
Борения добра и зла —
Всё прекратилось...
                    У пророков
И гениев расчёт был прост:
Свечам и факелам не веря,
Творить при вспышках новых звезд
И новых солнц, по крайней мере,
Ловя бушующий их свет...
                    Да и при этом убеждались,
                    Что свитки Библий, Вед и Эдд
                    Не каждым взрывом порождались!

## ТАЙНА БЫТИЯ

Закружилась голова,
Но для этого трава
В чистом поле здорова!

Отдыхаю я в траве
И звучит благая весть,
Что с природою в родстве
Быть и я имею честь.

Честь имею быть и я,
И щедрот её не счесть, —
В этом тайна Бытия!

Ибо, как ни хмуро вей
Пыльный ветер бытия,
Я в дубравах — муравей,
В травах — Муромец Илья!

И чтоб суть я понимал,
Солнца мне смеётся лик:
— Относительно ты мал,
Но решительно велик!

## СТАРОСТИ НЕ СКРЫТЬ

Старости
Не скрыть,
Если б даже мог
Ты седины сбрить
С темени и щёк!

Старости
Не скрыть,
Да и нет причин
Выцарапать, скрыть
Письмена морщин.

Старости
Не скрыть!
И с её высот
Старости не сбить —
Это не спасёт!

Старости
Не скрыть!
Но, в конце концов,
Старость можно слить
С юностью юнцов!

## ПОД БУРЕВЫМИ НЕБЕСАМИ

Когда
Во власть народа отданное
Образование народное
Попало в руки Наркомпроса,
На многое взглянули косо:
Мол, тяжко миру от наследия
И тесно в нём живым созданьям!

Отвергнули природоведенье
И занялись естествознаньем.
И от старинного отличное
Всё было новым, необычное.

А что касается лично меня, то я
Не обменяв чистописанья
На каллиграфию, не споря
Ни с демонами, ни с богами,
Историю и географию
Затеял изучать ногами,
Пустившись в дальние скитанья
Под буревыми небесами,
Дабы науки мне не лгали!

## ЛОГИКА ПОВЕСТВОВАНЬЯ

Ты знаешь логику повествованья.
Дабы на правду тень не навести,
Ты должен логике повествованья
Мечты крылатость в жертву принести.

А может быть, что жертвенною птицей
Окажешься и сам ты, наконец,
Дабы заклал тебя знаток традиции —
Афантастичности верховный жрец.

Но может статься и другое тоже:
Ты, словно гриф, чтоб уничтожить ложь,
Лежащее на погребальном ложе
Повествованья тело, расклюёшь!

## ВЫВЕСКИ

Мрак ночи
Вывесками сжат.
Зелёные и золотые,
Я слышу, как они дрожат,
Электротоком налитые.

Но кажется,
Что где-то там
Вдруг пламень вспыхивает алый
Не только как огонь реклам,
А будто лозунг небывалый.

Ведь
В самом деле
То, что днём
Заметно как-то тускловато,
Вдруг наполняется огнём,
Когда остынет кровь заката.

Свет
Пропуская сквозь себя,
Купаясь в переменном токе,
Звеня как будто и трубя,
Они вещают как пророки.

Вопя
Своим жемчужным ртом,
Порой захлёбываясь даже,
Они вещают и о том,
Что не имеет быть в продаже:

Не продаётся
Совесть, честь,
Доброжелательность и гений.
Быть может, в этом-то и есть
Весь смысл торговых отношений.

## ДУШИ

О, я разглядел их:
Полны равнодушия,
Лежали иные, как туши;
Другие стояли, будто бы слушая,
Как будто развесив уши;
Но были, что бились в припадке удушия,
Как рыбы, как рыбы на суше.
Вот так и увидел бессмертные души я,
Бессмертные наши души!

## НЕЙТРАЛЬНАЯ ЗОНА

Я часто вспоминаю Даниэля
Дефо немилосердную судьбу.
Прикованный к позорному столбу
И от темницы спасшись еле-еле,
Сей весельчак с морщинами на лбу,
Поняв, что многолюдье не веселье,
На робинзоновское новоселье
Созвал весь мир. Дефо давно в гробу.
Но в новых поисках нейтральной зоны,
Надев скафандры и комбинезоны
И кислорода прихватив запас,
В заоблачную область лунных фаз,
В простор небесный, вот куда сейчас
Уходят нынешние Робинзоны.

* * *

Понять бы: что наступит вскоре?

Шевелятся поля под зябью,
Рябятся реки тусклой рябью;
Безмолвствующей мёртвой зыбью
Вздымается ночное море,
Кого-то будто укачало…

Но может быть
И зыбь с волною,
И дрожь, и рябь — ничто иное
Конец, а вовсе не начало
Тебя, спокойствие земное.

## ЧАРЫ КАЛЬМАРА

Игоря Акимушкина труд
О головоногих, да прочтут
Все любители хороших книг,
Чтобы живо образ твой возник,
О, кальмар,
Творец подводных чар!

Ты, кальмар,
Имеешь редкий дар
Создавать подобье бытия
И твоя чернильная струя
Тучевидна, но не в этом суть,
А любая капелька её,
С кем-нибудь столкнувшись на пути,
Вдруг взрывается, чтоб обрести
Ясное подобие твоё,
Чтоб двойник
Перед лицом возник
И отвлёк…
А ты уже далёк!

О, кальмар,
Творец подводных чар,
Как умеешь, так ты и живи,
Человека старший младший брат —
Волны моря ведь и в нас кипят,
И частица моря есть в крови
У любого жителя земли!

Но, кальмар,
Живу я на земле
С представленьем о добре и зле,
Бомбами чернильными меча,

Чтоб ловцы кидались сгоряча
На моих чернильных двойников,
А они, — удел их уж таков, —
Остаются хоть не навсегда,
Но, быть может, и на сотни лет.
Видно, потому, что не вода
Вкруг меня,
А бурная среда,
Та, в которой
Видится
Поэт.

## ДЕМОН

И под Луной,
С крылами за спиной,
Похож немного на Лилиенталя,
Явился дух Сомненья предо мной:
— В моём обличье многие детали!
Да!
Мильтон, Лермонтов, а вслед за тем
И Мадач с Врубелем, и помоложе
Их всех, но в свете тех же самых тем
И Маяковский в небе реял тоже!
А вот сейчас над миром этих крыш,
Не признанный ни Бредбери, ни Лемом,
Паришь ты, демон, разве только лишь
Не серенькой обыденности демон!
Ты, воплощенья нового ища,
Раскрыл свои классические крылья,
От дуновенья нового смерча
Покрытые космическою пылью.
Я вижу:
Их блистательный каркас
Семь тысяч лет назад не взят у бога,
Чтоб ведали потомки: и у нас
Воображенье не было убого!

## ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ

— Я могу ещё писать, но править
Не хочу! — воскликнул Сименон.
Верно! То же самое и я ведь
Ощущаю, а не только он.

Пусть уж будет всё как будет,
Хоть и сам не до конца пойму.
Так другие пусть поздней рассудят
Что, когда написано, к чему.

Чтобы жить, других не беспокоя
Или собственный храня покой,
Ты и размышляешь: что такое
Вычеркнуть бы собственной рукой?

И наивен тот, кто завещает
Только то, что выправил он сам.
Эту щепетильность не прощают
Даже и взлетевшим к небесам.

Да ещё потом смеются: — Гляньте,
Как не тщился он перо кусать,
А ведь было в первом варианте
Много лучше! —
…И пошло писать!

## СКОРЕЙ ВСЕГО

Скорей всего
Ещё в Париже,
Разглядывая работы
Полузабытых дилетантов, художников морского флота
Из кругосветных экспедиций,
Шептал Гоген:
— Я вижу, вижу!

Он видел будущие лица
Своих натурщиц таитянских. Они с рисунков дилетантских
Беспомощно, полубесплотно его молили:
— Воплотите,
Нас красочно!

И на Таити
Попал Гоген, свои полотна создав, воистину, заране.
А там,
На Тихом Океане,
Он губернаторов портреты
Писал и жил почти что нище,
И, занятый добычей пищи,
Он был редактором газеты
Официозной.

* * *

В приятной тишине неба
Сияла голубизна,
А на обратной стороне неба
Гроза гремела, грозна.

А когда на внешней стороне неба
Закат давно уж погас,
То на изнанке неба
Настал полуденный час.

И люди спокойно спали
В постелях, глаза закрыв,
Но был в это время в Австралии
На Солнце замечен взрыв.

А впрочем, не веря мне слепо,
Точнее определи:
Речь идёт не только о другой стороне неба,
А о другой стороне Земли.

## ЧУВСТВО НЕУДОВЛЕТВОРЕННОСТИ

С чувством неудовлетворенности
Просыпается юнец:
Мол, когда же с сонной одурью
Распростимся, наконец!

С чувством неудовлетворенности
Пробудился зрелый муж,
Страж и пастырь человеческих
Грешных тел и грубых душ.

С чувством неудовлетворенности
Просыпается старик. Ничего не говорит.
Чувство неудовлетворенности,
Где ни глянь, везде царит!

## ЛУЧ ВЕСЕЛЬЯ

Я не боюсь,
Когда смеюсь,
И не боюсь, когда печалюсь —
Ни в чём таком я не таюсь.

И на меня ожесточались,
Что не боюсь я вообще…

Но страха даже и сейчас нет,
Хоть луч веселья на мече,
В ножнах покоящемся,
Гаснет.

## ЛУНА

Меня
Интригует
Планета
Луна.

Вот видите:
Это
Восходит она.

На этой планете
Вертинский поёт,
Но только, заметьте,
Он вовсе не тот
Живой, настоящий,
Который в Москве,
Но с ним состоящий
Лишь в дальнем родстве,
Ещё в этом самом костюме Пьеро,
Который носил он до первой войны.
На этой планете всё страшно старо!

И около цирков вот этой Луны
Я Блока заметил. Совсем моложав,
Он сухо промолвил, плечами пожав:
— Представьте, как будто совсем неземной
Хожу по Луне, озарённый луной,
И книги опять у меня ни одной!
И Брюсова мельком я видел. Он жив,
Признанья ещё не у всех заслужив,
Сказал он:
— Ну, что ж, декадент я, но всё ж
Меня уж и здесь признаёт молодёжь.

Сергея Есенина видел я. Он
Сказал:
— Я не я, а девический сон!
И, будучи юн, он добавил, смущён:
— А правда ли это, что я запрещён?

Асеев там есть, молодой футурист,
Не тот, что теперь от седин серебрист,
Но лет через сто о его седине
Наверно узнают и там, на Луне.

А вот Маяковский, там его нет!
Но, впрочем, известно о нём из газет.
Однажды, когда наступает весна,
О нём вспоминает она...

Кто она?

Луна!
Луна, которая телеграфными проводами оплетена,
Автомобильными фонарями озарена,
Луна, неживая до самого дна.
Её ли вина,
О, её ли вина,
Что где-то на небе сияет она!

## ДЫМЫ

Дымы
На горизонте!

Думаю, дымы,
Что за собой вы хороните,
Угрюмые дымы?

Своды каких хоромин
Вы закоптили,
Дымы далёких домен,
Дымы флотилий?

Нет, мы не флотские дымы,
Не заводские мы дымы.
Дымы из-под земли мы,
Дымы из-под воды мы!

Дымы на горизонте,
Дымы на грунте,
Только попробуйте, троньте,
Только лишь дуньте.

Дымы, куда вы не гляньте,
С копотью, с ядом,
Напоминая о Данте
С пламенным адом.

Страшно по пашням мы пляшем,
Реем по рекам,
Будто соперники с вашим
Атомным веком.

## ЖУРАВЛЬ

Журавль,
Какой-то дьявол пробуравил
Тебе крыло, с небес тебя сволок
Стрелок, и наземь пасть тебя заставил,
Но не в его поганый котелок
Ты угадал! Охотничьим трофеем
Не сделался. Попал ты не на казнь.
Есть существа подобны добрым феям!
И, побеждая страх и неприязнь,
Чай с молоком ты, гордый, пьёшь не с блюдца —
Под потолком, где чисто и светло,
И хоть крыло ещё не заросло,
Но, кажется, способный улыбнуться,
И сам возьмёшь ты фею под крыло,
Журавль, готовый в небеса вернуться!

## БОРЕЦ

Мудрец,
Борющийся с природой
Упорнее, чем сам с собой,
Её не мучь и не уродуй,
И не считай своей рабой,

Чтоб равновесье мировое,
Чтоб равные с тобой права
На жизнь имело всё живое:
Цветы, и воздух, и трава.

Лишь только это соблюдая,
Ты будешь счастлив на земле —
Так возвестила мне, рыдая,
Природа в ядовитой мгле.

Как будто не со мной боролась
Она, а это я кричал,
И только собственный мой голос
Мне, будто эхо, отвечал.

* * *

Из любителя птиц превратиться
В истребителя птиц! Очутиться
Там, где высился прежде зелёный
Лес, давно уж тобою спалённый.
Не рычит там и зверь истреблённый,
Где машина твоя зафырчала.

Ну, так что ж,
Начинаем сначала?

Я не знаю. Быть может, удастся:
Небосвод-то ещё не затрясся!

## ДЕТИ

Дети
Легко утомляются,
Рожицы выпачкав,
Но и легко отсыпаются...
        Детям не подсыпается
        Зелье снотворное.
На небесах рассыпается
Пыль метеорная.
        Небо
        Как комната:
        Всё перевернуто, скомкано;
        Эхо от грома негромкого
        Ходит на цыпочках.
Куклы валяются,
Будто бы статуи
Снятые,
Став некрасивыми.
        Дети, устав, отсыпаются.
        Их не разбудишь
        Ни спорами
        И никакими моторами,
        Что завывают за шторами...
Разве что — взрывами!

## ВЗРЫВЫ

Взрывы —
Чтоб всплыли
Глушённые рыбы
И возмущенно мутилась река.

Взрывы —
Как будто
Вздымание гривы
Взбешенного Конька-горбунка.

Взрывы —
Как будто
Срывается с нивы
Всё до последнего колоска.

Взрывы —
Как будто
Молчания глыбы
Рушатся. Хватит! Молчалось века!

Но,
Может быть,
Можно и как-то без взрывов,
Или какой-нибудь хоть перерыв?

Нет!
Взрывы
И взрывы
Без перерывов.

Говорят, что и всё мирозданье —
ещё неоконченный, длящийся взрыв.

## ЗАГАДКА НЕДР

Мне
Небо
Давно уж не недруг,
Но слышу я голос Земли:

— В моих покапайся ты недрах
И свойства их определи,
Изведав житейские бури
И вновь пролагая свой путь,
В моей кристаллической шкуре
Давай-ка, попробуй, побудь!

Я знаю, что пенится в чаре,
Наполненной сладким вином,
А что приключается в шаре,
Что в шаре творится земном?

И с лун мне кричат селениты:

— В граниты, в их бывшую жизнь
Как будто в себя загляни ты,
В кипении лав разберись!

И с Марса кричат марсиане,
Которых, я понял, что нет:

— О, ты, изучивший сиянье
Ещё не открытых планет,
Ты, бившийся храбро с врагами,
Окреп в этой славной борьбе
И что у тебя под ногами,
Пора разобраться тебе!

* * *

Ты грезишь опрометчиво
Орлиными мирами, былинными горами! —
Так убеждали вкрадчиво слепцы младого зрячего,
Искателя могучего за длинными рублями,
за винными парами
Чего-то много лучшего!
И, чёрт возьми, нашедшего!

* * *

Помню,
Я встретил Хроноса,
Хладной косой дотронулся
Хронос до тела голого,
Тронул мне Хронос волосы —
Золото стало как олово.

Впрочем, не стоит кручиниться.
И за столетьем столетие
Так и живу на свете я,
Разве что лоб мой морщинится,
Но до сих пор голова моя
Не опустилась, упрямая.
Вот что я знаю про Хроноса.
В крепости я превзошёл его —
Он на секунды рассыпался.

* * *

Всё
Зыбуче,
Как от ветра тени…
Дернула ребёнка своего
Женщина в метрополитене.
Это мать, и больше ничего.

Оглянулась
И улыбнулась;
Материнство прочь из головы,
Будто сразу молодость вернулась:
— Я совсем такая же, как вы!

Но на старца робко поглядела,
Будто дочь на строгого отца,
Превращеньям не было предела,
Будто разные у ней сердца.

Но какой же, несмотря на это,
Ты себе-то кажешься самой?
О, конечно, не было ответа
Никакого на вопрос прямой!

Ведь об этом ей и не случалось
Думать до морщиночки на лбу.
Не желают молодость и старость,
В нас борясь,
Нас впутывать в борьбу.

* * *

Я
Безумствовал,
Кликушествовал
И свалился, отощав,
Прорицанья откричав.

И, навеки замолчав,
Проникать я в ваши души стал,
От молчанья величав.

Крепнет голос, отзвучав!

## ЗА ГРАНИЦЕЙ

Дома редко встречаемся,
Чаще всего — за границей
На каком-нибудь торжестве или
перед какой-нибудь пышной гробницей.
Вот и нынешней осенью, что нас свело
В Люксембургском саду, где листва, уж давно
разучившись плясать как Дидло,
Шёнберг-бергский жестянно-пинальный творит
ералаш.
— Хорошо бы сейчас в настоящем лесу в настоящий
забраться шалаш.
Я — в ответ:
— От себя не укроешься даже в дупло!
Певчей птицей красоваться на людях, как видите,
время пришло.
Вот что я отвечаю седому.
Грузен, будто патриций, глядит он тепло.
Очень редко встречаемся дома,
А всё — за границей!

## ЛЖЕ-ПЁТР ТРЕТИЙ

Быть бы художником,
И меж деревьев
В пышных отрепьях горючей листвы
Изобразить бы, как Гришка Отрепьев
Грезит боярскою шубой Москвы.
Быть бы художником
С желчной палитрой,
Красок бы не было жаль и кистей,
Чтобы тебя написать, Лже-Димитрий,
Как превратился ты в груду костей.

Но не художник,
И значит, могу лишь
Только представить себе колею
И перекресток, где ты караулишь,
Чёртова кукла, недолю свою.

Над колыбельной
Земною могилой
Мечетесь в горькой осенней красе,
Будто нечистою подняты силой,
Вы, самозванцы, хотя и не все...

Мечетесь вы,
Примеряя короны
Павшей листвы отшумевших столетий,
Все Лже-Димитрии, все Лже-Нероны...
Но величав лишь один
Лже-Пётр Третий!

## ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ

В тот вечер
Флетчер, зашедший в «Глобус»,
Сказал Шекспиру, между прочим:
— А почему и не создать бы
Весёлой пьесы о грозном муже,
Который очень озабочен войти
в доверье к Елисавете
Устройством свадьбы!

И в тот же вечер, когда и Флетчер,
Возможно в «Глобус» зашёл и Боус,
И Дженкинсона всё в тот же вечер
Занёс, быть может, попутный ветер.
И неизвестно, кто кого встретил,
Мне неизвестно, я не заметил.

И все вы вместе спите с миром,
Но занят я и до сих пор той
Проблемой:
Почему Шекспиром
Был создан только Ричард Третий,
А вовсе не Иван Четвёртый.

## МЯГКАЯ РУХЛЯДЬ

Над
Запущенным архивом
Паутинистый чердак.
　　　　Не поддать ли горсть трухи вам,
　　　　Завалившейся во мрак?
Рухлядь,
Всяческая рухлядь…
Рухлядь ветхую ища,
Опасаюсь, что истухнет
Найденная здесь свеча.
　　　　Тут
　　　　И холодно, и душно.
　　　　Озираясь по углам,
　　　　Говоришь ты равнодушно:
— Это рухлядь, разный хлам,
　　　　Дрянь,
　　　　Наваленная кучей,
　　　　Как всегда на чердаках.
Всё-таки,
На всякий случай,
Опись держишь ты в руках.
　　　　Вот
　　　　Без ножек и без ручек
　　　　Обезличенный сундук.
　　　　Рухлядь в нём?
　　　　　　　　　　　　　　Но звякнул ключик,
Крышка скрипнула.
　　　　　　　　　　　И вдруг
Не какие-нибудь тряпки
И бумажная труха —
Душегреи, туфли, шапки —
Рухлядь мягкая! Меха.

Мягкая, а не простая
Эта рухлядь. Вот она.
Понял, простота святая,
Какова её цена?

Всякая
Бывает рухлядь.
Вековечно стар и нов
То пылает он, то тухнет
Разный смысл все тех же слов!

* * *

Над серым поднебесьем серый,
Как пепельный, всплывает шар.
Он кажется абстрактной сферой,
Которую пожрал пожар.

Но не дивись и слепо веруй,
Что это только лишь луна,
Земной горелой атмосферой
Томительно окружена.

## МОРЕ

Выло море,
Вровень окнам
Волн вскипала череда,
И скакала в блеске мокром
Каменистая гряда.
Но померкли, отсверкали
Белопенные глаза,
Как теряет соль и калий
Испарённая слеза.
И наутро гнило море
В водорослях на песке,
Но и гниль отмыло море
И в глубоком далеке
В якорях, что грузно висли,
И в спасательных кругах
Плыло море, смутно мысля
О бездумных берегах.

## ПАСТОРАЛЬ

Гладкие
У коров бока,
Густ овёс,
Село не бедное.

На дороге блещет проволока
Алюминиевая, медная.

Чем тут больше электричества
И в хозяйстве, и в жилищах,
Тем и большее количество
Тут обрезков всяких сыщешь.

Я бы
Из обрезков проволоки
Делал всякие фигурки:
Средь пасущихся коров — быки,
В поле кони сивки-бурки…

Продавал бы
В сельской лавке я
Всевозможные издельица —
Серебристо-медноплавкие
Ягодки, цветочки, деревца…

Но могу ль
За это взяться я?
Ведь меня вы не просили!
Сельская кооперация —
Вот кто сделать это в силе.

Ведь туристы,
Как любители
Всякой сельской пасторали,
Если б всё это увидели,
Нарасхват бы разобрали.

## ЕСЛИ ВЫСИТСЯ ЗАБОР

Ну, а если на запор
Замкнута калитка?
Если высится забор?
Ты ведь не улитка!

Если, преграждая путь,
Высится ограда?
Так её перемахнуть —
Вот, что сделать надо!

А другого нет пути!
Ни к чему попытка
Под калиткой проползти!
Ты ведь не улитка!

## ХОЛСТ

Вот вам
Его живой портрет,
Не слепок:

Сиятельный
Яснополянский граф,
Чей облик был настолько величав,
Что, даже постарев и отощав,
Меж дедок, бабок, внучек, жучек, репок
Он, худощав, остался толст, не толст,
Но плотен, словно домотканый холст,
А кое в чём ещё и боле крепок!

* * *

Я зол
До белого каленья.
Бросаю в печь удачи мнимые,
И полыхает печь от тленья
Попыток непереводимое
Перевести.
Бью в цель все мимо я,
И создается впечатленье,
Что повторить неповторимое
Я не могу.
Непоборимые
Препоны.
Непреодолимые
Каноны ритмики.
Но слышу я
О том, что есть законы высшие,
Чтоб победить непобедимое,
Не повторив неповторимое.

## ОБИДА ГНЕДИЧА

Воскликнул Гнедич:
— Ты меня
Ещё не позабыл?
Я, юный, полон был огня
И Шиллера любил.
Но Шиллер, склонный посещать
Всех юных по весне,
Свою способность зазвучать
По-русски дал не мне,
А чтоб ворваться без препон
В российские сердца,
Из царедворцев выбрал он
Печального певца.
Не знаю, что он в нём нашел,
В наставнике царей,
Но, отвергая ореол
Великих бунтарей
Творил Жуковский, чёрт возьми,
В шлафроке, в колпаке,
Чтоб Шиллер говорил с людьми
На русском языке!

## ФАНТАЗИЯ

Я размышляю —
Ты меня прости
За всякие фантазии наивные! —
О том, как всё в порядок привести
И отвратить несчастья беспрерывные,
Чтоб этот свод, давно не голубой,
И впрямь бы стал подобен поднебесному
И сделался бы труженик любой
В своей профессии профессором.

И есть слова, уже не помню чьи,
Что всё на свете лишь скопленье атомов
И, значит, могут бури и смерчи
Понять и соловьёв, и авиаторов.
И не одни дельфины и слоны,
Но и цветы блеснуть способны разумом,
Которым все они наделены,
Хоть в малой степени и недоказанным.

Так пусть же всё к содружеству придёт.
Взаимопониманья преисполнено:
Пусть состоится слёт огня и вод
Там, где добром толкуют громы-молнии!
Пусть состоится съезд людей и звёзд,
Планет, комет, уж не вестину бедствия,
Чтоб с мест своих во весь поднявшись рост,

Провозгласить
Взаимные
Приветствия!

## ХОЛОДНАЯ ВОЙНА

Немая
Тишина.

— Больна,
Не принимаю…

Война!
Я понимаю:
Холодная война.

## СЛАВА

Все земное
Просит славы:
С веток в руки мне плоды летят,
Просятся в гербарий травы,
Быть целебными хотят.

И со мной заводят разговоры,
Уповая, что я их пойму,
Твердокаменные горы,
Применяясь к взору моему.

Даже и стремительно рыдая,
Из холодной глубины земной
Пламень появляется, желая
Подружиться именно со мной.

Ибо адское пыланье лавы
И корявые концы огня,
Всё живое вправе жаждать славы
И её добиться
От меня!

## СЕРЫЕ НАПОЛЕОНЫ

В цифру тысяча восемьсот двенадцать смерзается
снежный узор на окне.
Серые мне полуснятся, полугрезятся Наполеоны мне.

В белом поле чёрные вороны, не закатом снежный
лес багров —
Серые Наполеоны греются средь ночи у костров.
Серые Наполеоны грелись у костров твоих ночей,
Был багров отлив твоих очей,
А усадеб светлые колонны! Мрамор лестниц!
Изразцы печей!
И не с них ли скачут Аполлоны, Аполлоны в масках
москвичей!
А ворот усадебных пилоны превратились в кучи кирпичей.

О, пустыня, дремлешь неспроста ты!
Партизаны там и тут. А лошадки до чего хвостаты!
Алым пламенем снега цветут.
Поняли вы, апостаты, серые Наполеоны?!

То ли это белые колонны, то ли просто березняк
сплошной —
Серые Наполеоны исчезают за Березиной,
Серые Наполеоны
Всех времён!

## ЕВРОПА

Под Москвой,
Недалёко от устья стремительной Истры,
В том районе, куда устремлялись прорваться фашисты,
но — выдохлась мощь! — не дошли,
Я нашёл этот камень, пудовую глыбу в серо-золотистой,
Как погаснувший пламень, дорожной пыли.

Фиолетовокудрый, коричневобровый,
С первобытно большими очами лазурного цвета небес,
Он напомнил мне смысл полотна «Похищенье Европы»
работы Серова,
Ибо в нём через женственный облик царевны проглядывал
бычье обличье принявший Зевес.

Я подумал:
И быть может, Серов прежде всяких дельфийских
позднее увиденных фресок
И Эллады, дающей картине весь фон, колорит её,
цвет,
Здесь, у берега Истры, однажды входил в перелесок
И наткнулся на камень вот этот, лежавший здесь многие
сотни, а может быть, тысячи лет.
Ибо глыба быть может не только являться
игрою природы,
А какой-нибудь резчик по камню давнишних времён,
стародавних племён,
По рассказам других или сам увидав средиземные воды,
Уловив своим варварским слухом сладчайшую музыку
древних античных имён,
Здесь, над берегом Истры, и выразил смутные чувства
И, взирая на этот сосново-берёзовый лес,
Изваял средь древесного свиста, а может быть,
даже и снежного хруста
И тебя, о Европа моя, и тебя, быколикий Зевес.

Словом,
Профиль Европы,
Который, конечно, не мог оказаться положен, как пресс
На поверхность какой-нибудь бочки
для свежесолёной капусты,
Я из пыли извлёк, несмотря на довольно большие размеры
и порядочный вес,
И привёз.

Пусть она улыбается вам златоусто!

Впрочем,
Может быть, скажете:
Где тут Европа, на сельской дороге,
где бродит скотина
И при этом Юпитер, присвоивший образ быка,
И зачем вообще я Серова припутал сюда
Валентина,
Никогда, может быть, не бродившего возле
известного мне небольшого леска,
Возле которого разве что, седы,
кое-где валяются ледниковые валуны,
Там, за прудами, которые копали когда-то
для князя Голицина пленные шведы,
И за буграми фразцузских могил
первой Отечественной войны,
Близ которых во вторую Отечественную войну
и были нарыты окопы,
Но, по счастью, фашисты сюда не дошли.
Потому-то
Жива и здорова,
Здесь и мне улыбнулась Европа,
У стремительной Истры восставшая
в мотоциклетной пыли!

## ЛЕЖАТ ИСПОЛИНЫ

Буксуют колёса…
Откуда намыло
Такие наносы
Тягучего ила?

Всё ливни и ливни,
Всё новые ливни,
Как будто бы блещут
Слоновые бивни
Из труб водосточных,
Чтоб всё трепетало
И вод непроточных
На свете не стало.
На скверы и парки
Июль влажно-жаркий
Швыряет в подарки
Блеск молний неяркий.
И чтоб бередить
Безмятежную дрёму
По крышам ходить
Не наскучило грому.

Есть смысл в этих тучах.
Затем и нависли.
Чтоб ноги могучих
Колоссов раскисли.
Ведь нижняя часть
Этих чудищ — из глины:
Должны же когда-то упасть исполины!
О, люди, вы этого ждали,
Добились:
Все идолы ваши упали,
Свалились!

В полях, на дороге
Лежат исполины,
Гранитные боги,
Чьи ноги
Из глины.
Ну, вот и намыло
Такие наносы
Тягучего ила,
Что вязнут колёса!

* * *

Весна
Не может быть мне ненавистна,
Но за окном, назло весне и мне,
Седых сосулек множество нависло,
Как сталактиты где-то в глубине
Пещерных недр, сливаясь по весне
В какие-то мерцающие числа.
И не скажу, что в этом нету смысла,
Наоборот — осмысленно вполне.
Они, как цифры римские, скрестились,
Обозначая *annus bissextiles.*
Сказать по-русски — високосный год.
И не скажу я, что счисленье лжёт,
Но видывал я множество невзгод,
И руки у меня не опустились.

## БАЛЛАДА

В составе
Метрополитена,
Где всех швыряло и мотало,
Вдруг, на меня взглянув надменно,
Жизнь глухо мне пророкотала:
— Да попадите под лавину,
Захлёбывайтесь в болоте,
И только лишь наполовину
Опасность главную поймёте!
Ведь оказаться под мотором
Не столь опасно по сравненью
С перипетиями, которым
Вас подвергаю, что ни день, я.
Я превращала вас в фигурки,
Немногим большие, чем пешки,
Раскалывала, как чурки.
Распиливала на плешки.
А если и не жгла в огне я,
Так ставила на пьедестале,
Чтоб, неумело каменея,
Вы, точно гипсовыми, стали.
А то и превращала в слякоть,
Чтоб, ни на что и не похожи,
Вы начинали чмокать, квакать
Под туфлей из змеиной кожи.

Всё это
В метрополитене
Пророкотал мне голос жизни.
Мол, слушай и, придя в смятенье,
Окаменей или осклизни!

Но я, не проронив ни слова,
Летел, не отрывая взгляда
От пышного и мехового
Парадного её наряда.

## ОРАКУЛ

Кто-то
Горестно заплакал,
Кто-то к небу руки тянет.

    Слышу:
    — Вот уже оракул
    Правду скажет, не обманет!

Я стою,
Спокойно глядя
Взором ясным и бездумным.

    Я оракул.
    Где-то сзади
    С механизмом хитроумным
    Возятся жрецы.

Но полно!
Попусту всё их старанье,
Я оракул. И безмолвно
Хмурое моё молчанье.

    Слышите: молчит оракул,
    Понимаете: молчит он.

Это будет грозным знаком:
Знайте — приговор прочитан.

## ПЕРЕКРЁСТОК

Нутрия
Со мной заговорила:
— Слушай мой совет, он прост:
Чтоб тебя я мехом одарила,
Надобно ловить меня за хвост.
Надобно хватать меня за хвост так,
Чтоб клыков я не пустила в ход!
Вот и всё. И пуст был перекрёсток
На скрещении земли и вод.

## ДАЛЁКОЕ

Я
Еле слышал храп коня,
Которого седок хлестал
И по разбойничьи свистал
О том, что чей-то час настал.
Конечно, что-то там стряслось.

Едва до слуха донеслось
То, что трубил огромный лось
Вдали в лесу,
Меня виня,
Что не спасу.

Я смутно слышал треск огня:
— Ну что же, коль ползёшь — ползи,
Уничтожай древес красу.

Я встал,
Но если я и встал,
То потому, что стрекотал
Кузнечик около меня
Так громко, сон мой прочь гоня,
Что думал — не перенесу.
Я встал, чтоб отогнать осу,
Язвящую меня, звеня.

Я это говорю в связи
Лишь с тем, что дрёмой налито
Далёкое, чем ни грози,
Оно в грядущем,
но зато
Нас быстро пробуждает то,
Что делается вблизи.

## ВОСЕМЬ БАЛЛОВ

Кто разбудил меня? Не ты ли,
Ночная грешница, Луна?
Я выглянул в окно. Царили
Спокойствие и тишина.

Лишь фонари напоминали
О дымно отгоревшем дне,
Как потускневшие медали
Напоминают о войне.

Я вышел из дому. И вяло
Прокрался сонных улиц вдоль.
Спокойствие мне причиняло
Большую внутреннюю боль.

Я знал, что полон лицемерья
Весь город, дремлет лишь едва.
И вспомнил древние поверья
И все приемы колдовства.

К Луне подбросил я старинный
Грош, засверкавший серебром,
И вдруг под улицей пустынной
Протяжный прокатился гром.

Неясным, отражённым светом
Блеснул Луны ответный взгляд.
Давно не верил я газетам,
Что страсти преспокойно спят…

Но, впрочем, никаких скандалов,
Лишь рано утром крик газет:
Землетрясенье. Восемь баллов.
Жертв нет и разрушений нет.

## СТАРИННАЯ МОНЕТА

Тоскует ветер по лугам,
А новости по белу свету,
Луна — по молодым рогам,
По ночи — день, зима — по лету.
В тоске по древним очагам,
Которых и в помине нету,
Гордится юный мальчуган:
— Нашёл старинную монету!
Старинную? Как ни умён,
О старине глубокой он
Понятия переиначил,
Окисленный услышав звон
Монеты тех былых времён,
Когда стихи писать я начал.

## БАУМАНСКИЙ РАЙОН

Он
Не стоит
И ныне без хозяев
Незримый левашовский флигелёк.
Я вижу,
Раздражённый Чаадаев
Проснулся,
С боку на бок перелёг.

В комиссионке
На Немецком рынке,
Где мгла
Парчёвых тканей тяжела,
Скрежещет по заигранной пластинке
Тупая патефонная игла.

Какая-то
Нахальная фигурка
Танцует там,
Где много лет назад,
Ещё до основанья Петербурга,
Великий Пётр
Построил свой Сенат.

Какие-то
Фанданго или танго,
Забытые повсюду и везде,
Какая-то танцует иностранка
В трущобе на Немецкой слободе.

С чистосердечностью добрососедской
Поёт танцорка: «Ваша я слуга!»,
Но это — бред!

От слободы Немецкой
Сегодня не осталось ни следа!

Встал Чаадаев.
Он во двор выходит,
А на Басманной лоснится гудрон,
Над Каланчёвской — здание возводят,
Чтоб на небо взглянуть со всех сторон.

Не небоскрёб оно,
Оно — иное!
Пусть хоть Растрелли будет за судью,
Что это зданье с башней головною,
Похоже на гигантскую ладью.

Гуляя,
Так идёт до Разгуляя
И, размышляя, не спускает глаз
С того двора, где школа типовая
На месте дома Пушкиных как раз.

— Бессмертие подарено мальчишкой:
«Посланье к Чаадаеву»!
Но вот...
В запальчивости с Гегелем под мышкой
Бакунин по Бакунинской идет.

Он бородат,
Он прёт от даты к дате,
Чьи цифры на углах и фонарях,
Чтоб на Басманной
Вдруг
В Гослитиздате
С другими повстречаться при дверях.

Что ж!
Чаадаев всем им даст дорогу,
Его нисколько зависть не берёт,

Он понимает:
К этому порогу
Всем подойти наступит свой черёд.

Естественно:
Подход неодинаков,
И разберутся сразу кто таков:
Отец Аксаков или сын Аксаков,
Одоевский, Погодин, Хомяков.

Чем это пахнет:
Сказкой или былью,
Тлёй,
Молью,
Гнилью?
Столько здесь людей,
Что, своему не веря изобилью,
Клубятся с пылью
Искорки идей.

И даже
Вызывает раздраженье
У нас в глазах пылинок этих пляс.
Ведь может вот в такое положенье
Лет через сто попасть иной из нас!

Да, милые мои! Вот потому-то
Я Чаадаева и попросил
Восстать из левашовского уюта
Пофилософствовать по мере сил.

И если
Вы от этого устали,
Сверните в сквер. Вам скажет пару слов
Сам Бауман,
Восстав на пьедестале
Под звон елоховских
Колоколов!

## ЗНАЧИМОСТЬ ИМЁН

А Светопреставленье началось
И кончилось. И вновь с того же ложа
Сама Венера поднялась, похожа
На Ботичелли в золоте волос,
Чтоб море, златорунно, как баран,
Являло не небес потусторонность,
А мир, где жив супруг Земли Уран
И косит жизнь его сынишка Хронос.

Но значимости всех этих имён
Чуждались люди, точно иностранцы.
Лишь Океан, седой как Посейдон,
Согнав со щёк пиратские румянцы,
Взбежал, обеспокоенный, на шканцы
Кренящегося корабля времён!

## МИР ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЖИЛИЩ

По корабельной белой палубе,
Гуляя в качестве гостей,
Мы не прислушивались к жалобе
немногочисленных людей,
Беседу на морском ветру вели о человеческом
жилье.
Мы рассуждали о Витрувии, о Райте и о Корбюзье.

Мы говорили о безумии
Жить в небоскребах и о том,
Что те, кто ещё не умерли, шевелятся в дыму густом,
И о печальном изобилии трущоб и нищих деревень.

Вот так мы плыли от Сицилии
К Неаполю в осенний день.
И мощность собственную рушили волн
гребни в смутных жемчугах,
И чьи-то уши чутко слушали нас
на далёких берегах.

— Градостроительство — излюбленный
Для рассуждения предмет! —
Захохотал, мечом зарубленный над чертежами,
Архимед.
— Какими не вяжите узами мыслителя —
свободен он! —
Пробормотал за Сиракузами, из рабства
выкуплен, Платон.
И не отнять благоразумия у тех, кто
не щадя затрат,
У приутихшего Везувия возделывает
виноград.

И вдалеке, едва заметная,
Была видна через бинокль
Сицилия с дымящей Этною,
В чью пасть упрыгнул Эмпедокл.

## ДУНАЙСКИЕ ИВЫ

Вот
И на свежем ветру я,
Я на Дунае!
Весла в кипучие струи
Я окунаю.
Волей дышу я свободной,
Время такое
Здесь, над международной
Бурной рекою

Льются,
Пузырясь от пены,
Вешние воды.
Древние башни и стены,
Арки и своды,
Зыбкие их отраженья
В блещущем поле —
Это лишь только мгновенья
Вечности, что ли…

Всё-таки,
Явно бессмертней
Всех этих зыбких
Каменных перевертней
Мир веток гибких.
Травы, кустарники, ивы
Всё молодое —
Вот, что действительно живо
Здесь, под водою.

Вот что
Живительно вечным

Здесь остается,
Ибо с течением встречным
Может бороться,
Чуя чуть-чуть под ногами
Почвы опору
Над заливными лугами
В майскую пору.

Паводок
Схлынет весенний
С мутью несносной
И захотят они тени,
Свежести росной.
Все, кто, покоя не зная,
Бились, качались,
Ибо под ними Дуная
Воды промчались…

Вот,
Набухая от влаги,
Вьются по ветру
Национальные флаги,
Стяги по метру…
О, самоходные баржи!
Путь по Дунаю!
Но не походные марши
Я вспоминаю.

И
Вспоминаю не вальсы,
Не песнопенья, —
Как ты Дунай не вздымайся
В яростной пене, —
А шелестение ивы
То, молодое,
Что без сомнения живо
И под водою.

Самое главное —
Это!
В этом вся прелесть —
Слышать в грядущее лето
Славный их шелест.
Что мне дались эти ивы —
Сам я не знаю…
Юные! Будьте счастливы
Возле Дуная,

Там,
Где от плёса до плёса
С землями споря,
Мчатся от Черного Леса
К Черному морю
Пенные отблески славы
Энса и Иппа,
Дравы, Моравы и Савы
Как исполины!

* * *

Старинные
Правители
Всё делали по-своему:
Куда не поглядите вы,
Поставили по воину.

По воину,
По ратнику
Повсюду вбито, вплавлено,
По лучнику,
По латнику
Повсюду влито, втравлено.

Так пращурами
Старыми
Устроено, усвоено.
А правнуками ярыми
Удвоено, утроено.

Когда же это кончится,
Кому же это хочется,
Чтоб
В каждую пробоину,
Кровавую промоину
За воином по воину
Совали на убоину!

## ПРОТИВОРЕЧЬЯ

Противоречья, противоречья…

Будто бы здравому смыслу переча
И нарушая его благолепье,
Вдруг создались, с очевидностью споря,
Противоречья, противоморья,
Противополья, противогорья,
противостепья.

И шелестели противолесья,
Звёздно блестели противонебесья:
— Противоречья, противоречья,
С ними управишься ты, человече,
Если тверда твоя добрая воля!

## ВРЕМЯ

Иногда
Зевает Время, будто
Щуря глазки из-под сонных век:
Смотришь — и проглочена минута,
Даже час… Но всё ж не год, не век.
Нет, конечно, — столько не удастся,
Этого никто бы не простил,
Но ужасно жалко даже часа,
Что его ты взял и упустил.

## ОСТОРОЖНОСТЬ

Жутко
Расчётливый,
Медли и медли,
Дли и виляй,
Чтоб у каждой петли
Даже как будто слагались не бредни,
А получались лишь только нули.
Будто бы нет им конца и границы,
И не поймёшь, где тебе и милей
Место найти для себя, единица,
Перед нулями, иль после нулей.
Думаешь: если себя ты поставишь
Всех этих хитрых нулей во главе,
Не о себе ли ты думать заставишь
Как о вскружившейся голове.
Лучше уж ты, человек осторожный,
Спрячешься где-то у них за спиной,
Чтобы и въявь показаться ничтожной
И неопасной
Величиной.

* * *

Мы
Вышли
Из Китай-города…
Как будто бы стояла твердо
За спинами у нас, темна,
Китайгородская стена,
Уже давно не существующая,
Но и как будто наяву ещё
Во времена
Ростопчина.

Дошли мы
До кольца бульварного…
Полна сиянья светозарного,
Вся в электрических лучах,
С пудами чёрно-бурых лис
На широченнейших плечах,
Здесь шла Москва пухово-шубная,
На Трубную
Спускаясь вниз.
А Трубная
Вздыхала всё ещё
Так ни о чём не забывающе,
Как будто вспоминая грозную
Ночь, давку, мёртвые тела.
Вот так
Мы вышли на Колхозную…
За ней Мещанская была ещё,
Ещё Мещанская была.

Ещё кружился снег нетающий,
О ста цветах твердил Китай ещё.

И, помню,
Спорили мы здорово,
И эхо отзвуки транслировало —
Так спорили горячо
Мы, идучи от Китай-города
К широкому проспекту Мира,
К проспекту этому, которого
Тогда и не было ещё.

# *Бог поэзии*

## КАЛЕНДАРЬ РОММА[1]

— Да, милостивый государь, Вы совершенно верно угадали, — Ваш гувернёр я, гид и секретарь, Ромм, реформировавший календарь: «Нивоз», «Вантоз», «Фример», ну и так дале, по образцу, который вы мне дали, совсем как у славян когда-то встарь.

— Итак, аристократов на фонарь! — смеетесь Вы. — Да здравствуют свинарь, бочар, мясник! Но черни исступленье давным-давно уже сменилось ленью. К отвергнутому летоисчисленью вернулись молодые поколенья. Не так ли?

— Это правильно, увы! И верно, не сносил я головы. Но Вы, существовать не перестав, на Русь вернувшись, чувствуете, граф, сколь бешены у питерских застав, — как Вы шутить изволили, сказав, что устарел и русский календарь, и обновить его нам не пора ль, — как бешены у питерских застав Январь — Пьянварь, Февраль — Всевраль, Кошмарт, Апрель — Взапрель и Май — Зипун снимай, и я не помню про Июнь, Июль, а дальше месяц созреванья дуль, ха-ха, не Фруктидор ли златоустый за Термидором! И под хруст капусты, швыряющийся снежным серебром, он, наконец, декабрь Инкруайябль, но не парижский, а шинель с бобром, и тень её вприпрыжку по снегам…

Так, повторив по-русски по слогам все Ваши шутки, месяцу к рогам взметнув ваш юлианский календарь, чтоб снова к вашим он упал ногам, подписываюсь трепетным пером я, гувернёр и гид, и секретарь наставник графа Строганова

*Ромм.*

---

[1] Ромм — изобретатель республиканского календаря. Новый республиканский календарь был выработан целой группой ученых и был принят Конвентом после двух докладов Ромма, прочтенных 20 сент. и 5 окт. 1793 г., доклада Фабра д' Эглантина, прочтённого 24 ноября. Он вводил в

## ЛЖЕГЕРОИ

Древний форум
Мне сказал:
— Я пуст,
Но всмотреться зорче сделай милость
И под пылью ты услышишь хруст!

Ветер дунул. Скрытое открылось.

Лжесвященники, лжедоктора,
Лжемыслители и лжегерои,
Лжепророков целая гора
Громоздилась в яме под горою.
Груды лжесвятош и лжеблудниц…
Словом все, кого повергнув ниц
Или в прах низринув с пьедестала
Вера новая, хоть с книжных прочь страниц
Изгнала, но в землю не втоптала.

---

летоисчисление новую эру, которая начиналась со дня провозглашения республики во Франции, т.е. с 22 сентября 1979 г., который был вместе с тем днём осеннего равноденствия. «Республиканский год» делился на 12 месяцев, по 30 дней каждый, которых имена были найдены, очень удачно. Фабром д' Эглантином: вандемьер, брюмэр и фримэр (от сбора винограда, туманов и холода) для осени, продолжавшейся от 22 сент. до 20 дек.; нивоз, плювиоз и вантоз (снег, дождь и ветер) для зимы, от 21 дек. до 20 марта; жерминаль, флореаль и прэриаль (прозябание, цветение, луга) для весны от 21 марта до 18 июня; мессидор, термидор и фруктидор (жатва, жара, фрукты) для лета, от 19 июня до 16 сент. Пять дополнительных дней, названных «сан-кюлотидами», заключали год.

## ПЕРЕМЕНЫ

Несмотря
На запрещенья
Промелькнули сообщенья,
Что идут перемещенья
Залегающих пластов.

И ущелья, и кантоны
Будут лавой раскалённой
Залиты, хоть миллионы
Лет пройдут, но будь готов.

Будь готов, потомок дальний,
Мыслящий ещё реальней,
Чем спокойный предок твой,
Чтоб покой твой не смутило
Беспокойное светило
У тебя над головой,
Чтоб следил ты без смятенья
И за светом, и за тенью,
И за стрелкой на часах.
Возникает
Ощущенье,
Что идут перемещенья
В недрах недр
И в небесах!

## ИКОНОПИСЕЦ

Когда владыка в суеверном страхе
При виде дьявольских ужасных морд
Творцу кричит: «А сам ли ты не чёрт!» —
Пугливо отступаются монахи,
Но богомаз отнюдь не распростёрт
Перед своим заказчиком во прахе,
В ответ на негодующие взмахи
Лишь улыбается, почти что горд,
И не страшит искусника накал
Владычьих глаз. Как молнии от скал
От мастеров отскакивает ругань.
Вот если бы игумен обласкал,
То был бы работяга перепуган,
Что даром в краски кисть свою макал!

* * *

Не расспросишь Демокрита,
Как дошёл он до начал
Атомизма. Это скрыто.
Он о многом умолчал,
Где он брал свои догадки,
Что за книги мог читать.

И поэтому мне гадки
Указанья не мечтать
И поверить только в опыт.

Иногда бывает прав
Диких трав невнятный шёпот
И осенний шум дубрав,
И тогда, себе не веря,
Я прекрасно вижу то,
Ждем чего, по крайней мере,
Лет не тысячу, так сто.

## ОБЕЩАНЬЯ

Обещают,
Обещают
Быть сердечней, быть гуманней,

Никогда
Не обнищают
На вещанье обещаний.

И разносятся пакеты
Всевозможных
Обещаний,

Над землёй
Летят ракеты
И кометы обещаний,

Глубоко
В песок зарыты,
Вбиты плиты обещаний.

Монолиты
Обещаний!
Пирамиды обещаний…

И в который раз открыта
Атлантида
Обещаний.

Нету
Берега песчаней
Бесконечных обещаний.

Нет печальней и туманней
Этих вечных
Обещаний!

## ЭЛЬСИНОР

Я видел взбаламученное море,
Всю Огненную Землю огибал
Я с Джеком Лондоном на «Эльсиноре»,
Когда народ прибрежный погибал.
И о злодействах, чьей безумной нитью
Прошит как дратвой наш ХХ-й век,
Я спрашивал:
— Что скажете Вы, Джек,
Хотя бы про чилийские событья?
— Не знаю! — он ответил. — Умер я,
Когда Неруде было лет двенадцать
И мне довольно трудно разобраться
В политике фашистского зверья,
Но я догадываюсь: не оттого ль,
Что люди столь забывчиво беспечны,
Бушуют в этом мире бесконечно
И корь, и гарь, и визги пуль, и боль.
Забыто всё: и плаха, и петля,
И та вервка, что о воре плачет.
А «Эльсинор», названье корабля,
Вы помните, что это слово значит?
Боюсь, Шекспира помнят лишь одни
Мятежники, да мы, конечно, с Вами!

Святого Эльма прыгали огни
Над нашими на реях головами,
А лоции в волнах коварства, лжи
И душегубства в Океане бурном
Плели своё:
— На запад курс держи,
Куда б ни шёл ты, всё забывший штурман!

## СТЕНЬКА РАЗИН

Сумрак
Дрожит от песен.
Волжский обрыв отвесен.
От загоревшихся башен, киноварью окрашен,
Струг отплывает, страшен, а воевода повешен.
Знаешь что, Стенька Разин,
Сам ты, конечно, прекрасен,
Но неуравновешен, да и старообразен.
Да и частенько празден — в наши ты дни неуместен.
Булькнул
Халат невестин.
Сумрак, угрюм от песен,
С кровью низовья смешан.
Кто не смешон, тот бешен.
Каждый из нас не безгрешен,
Каждый угрюм, невесел,
Если не там, то здесь он
Будет во что-то замешан!

## ИНОК

Как и когда я
О, Время-Пространство,
Стал ощущать твой безмерный масштаб?

Чуял я
Тундр меховые шаманства,
Знал я Востоки из каменных баб,
Слушал послов из Хазарского ханства
И о Коране вещал мне араб.

Но, наконец, и приняв христианство,
Вовсе не раб патриархов и пап,
В келье склонялся я над Демокритом
И Эпикуром, не зная о том,
Что подарил их всезнаньем забытым
Некто в космическом шлеме литом,
Междупланетною пылью покрытом,
Глухо помянут в писанье Святом.

* * *

О оборотни!
И в наши дни
Встречаются они.
Их только подпусти!

## СПЛЕТНЯ

Покой подъезда был глубок,
Привратница плела клубок.
— Вам на какой этаж, милок?
— Мне до конца.

В глазах зажглись
Два огонька — светляк и тля.

Из лифта нечто вроде крыс,
Бегущих будто с корабля.

Хлоп клетка! Вниз уходит трос.

— Я вовремя?
— Что за вопрос!
— А где же пёс?
— Он кости сгрыз.
— А где же гости?
— Разошлись!
— А кот?
— Кота хоронят мыши.
И голос Ваш всё тише, тише,
Как через трубку телефона:
— Не то что ворон, а ворона
Не залетит теперь под крышу,
Так улетайте, голубок!

Покой подъезда был глубок,
Привратница плела клубок,
Но не чулок, но не чулок…

Но ничего, но ничего:
Все подозренья отпадут,

А извинения придут,
Хоть прямо в кучу их вали.

И вот они давно пришли,
И снова полон дом гостей —
Под вешалкой полно тростей,
На вешалке гирлянда шляп
И в телефон не всунут кляп.
И на вопрос звучит ответ:
— Вы дома ли?
— Сегодня — нет!

## ПОРОДЫ ОБНАЖАЮТСЯ

Породы
Обнажаются?
Основа их видна?
Я вижу
Приближаются
Такие времена,
Что слизь и тина смоются.
И ясно, до конца
Тогда черты откроются
И нашего лица,
Чтоб знать, что недосказано
За целые века
Про Пугача и Разина,
И просто Ермака,
Что рвался на привольице
С невзгодами в борьбе.
Во что всё это выльется?

Наперекор судьбе
Не выберу я в праотцы
Любого, кто мне нравится,
Но явственней проявится,
Что мне дала глаголица и что дала
кириллица,
И что я сам себе!

* * *

Дни прибывали
Или убывали,
Но, люди добрые, вы день за днём
О Боге никогда не забывали:
Греша, трусливо помнили о нём!

Такое утверждение едва ли
Вам нравится. Ну, так перевернём:
О Боге иногда вы забывали,
Трусливые, не помнили о нём!

И, как бы это вы не называли,
Ваш дымный мир охвачен был огнём!

* * *

— Я хожу, как по канату!
Нет, работы я не хаю,
Жалуюсь не на здоровье,
Но соперников злословье!
Эта ненависть глухая
Акробата к акробату!
Есть на свете сброд презренный,
Дрянь, завистливый народец.
Я душою отдыхаю
Разве только над ареной,
Идучи по канату, —
говорит канатоходец.

* * *

Лучше бы
С небес нависли тучи,
Плача, что сорвутся даже матчи
И дождями обольются дачи,
Лучше с громом бы прошли над домом
Грозы, грохоча, как тепловозы,
Мерно за собой влача цистерны,
Жгучим переполнены горючим,
И вонючим, и огнеопасным…

Это лучше грома в небе ясном!

## ПЛАВУЧАЯ ИВА

Утром
И мутной,
И очень бурливою
После ненастья казалась река.
Ива
С намокшей
Серебряной гривою
Вдруг появилась издалека.
Видимо,
Вывороченная
Туристами,
Ива катилась по речной быстрине,
Машучи ветками сереброличственными,
Будто бы сигнализируя мне,
Может быть, даже отчасти бравируя
И потешаясь. А может быть,
И над собою иронизируя,
Что поперёк реки может плыть.
— Полно, ива, плыть поперёк реки,
Хоть не твоя это вовсе вина!
Но при моём сочувственном окрике
Закувыркалась всё пуще она,
Либо о тихой не думая пристани
И не мечтая о лучшей судьбе,
Может быть, вывороченная туристами,
Может быть, просто
Сама по себе!

* * *

Буря
Календарь листала:
Многих сбила с пьедестала,
Многих к чёрту унесла,
Но остался распростёрт прах
Многих ни живых, ни мёртвых,
Тех, которым нет числа.

* * *

Кто говорил,
Что за грехи отцов —
О, Господи! — не отвечают дети,
Тот лицемерил и, в конце концов,
Попал в свои же собственные сети.
И эта дочка своего отца,
Она не за него ли отвечает,
Когда творца неволи, мертвеца,
Оправдывает,
Будто обличает.

## ЕДВА ЛИ!

Пока
Вы готовитесь книгу мою
Тисненью предать в типографии вашей —
Я новую книгу уже создаю,
А эту считаю звездою погасшей
Давно уж, назад уже несколько лет…
Казаться горящей она ещё может,
Но свет её, как запоздалый ответ
Меня не волнует и вас не тревожит.

Так
Авторы книг, —
Разумеется, встарь, —
Рыдали вокруг типографского зданья
В стране опозданья, где сам календарь
Порой появлялся не без опозданья.
И без опозданья не шли поезда,
И без опозданья наград не давали…

А ныне
Мгновенно
Видна вам звезда,
Возникшая в бездне небесной?

Едва ли!

## ДВЕРИ

Я стоял
Перед вами,
Железные двери,
Всею тяжестью древней блистали вы,
ржавы,
И сплелись головами железные звери,
Чтоб на выгнутых выях держались
державы.
В вас
Впаялись
И рыцарь под тяжким забралом,
И копытистый дьявол, и ангел
с трубою,
Я на миг ощутил себя вашим
металлом,
Суммой ваших деталей, всей вашей
судьбою.
И тогда
Захотелось мне вдруг развалиться,
Распылиться, рассеяться, с воздухом
слиться,
Раствориться в пространстве, как ржавая
птица.
Но, железные двери, какая вы птица!
И не лучше ли
Попросту
Вам распахнуться
И тогда вас никто уж сломать
не захочет —
Разлетаются ангелы, дьяволы
гнутся,
Яркий солнечный свет как ребёнок
хохочет.

И совсем
Ничего
Не таится за вами,
Разве только какие-то древние
склепы.
Ну и что же такого. Ведь мы
с головами,
Что бы ни было там — мы рассмотрим,
не слепы.

И упорность свою
Потеряют поверья,
Гипнотичность свою потеряют
привычки,
Только взять и раскрыть эти
древние двери,
Распахнуть, не ища
Ни ключа,
Ни отмычки!

* * *

А ночь
круглa, черна
И нынче не иная,
чем в дни, когда я жил
О смерти знать не зная!

Двукрылый стан любви,
о, почему ты снова
Не защитишь меня
от ужаса ночного!

## ПРЕДКИ

Пленительная Анна Ярославна,
Княжна моя, французов королева,
Мне не однажды грезились во сне Вы
И, знаете, подумал я недавно,
Что генеалогическое древо
Ветвится в этом мире своенравно:
Был Поль Верлен, поэт, поющий славно,
И полюбились мне его напевы.
И он скорей похож не на Сократа,
А выглядит по скифски бородато
И думать я имею córование,
Что предки вышеназванного Поля
Из Вашей свиты были киевляне...
А что такого?
Невозможно, что ли!

## БОГ ПОЭЗИИ

Как будто
Обо всём отгрезили,
Но вдруг звонок:
— Кто бог поэзии?
— Какой поэзии?
— Лирической,
Но и, конечно, исторической, эпической
и сатирической,
Как иппокренские пузырики, сиянье отразившей фебово
Под небесами едко синими.
— Словарь энциклопедический
Возьмите!
— Но в покрытом кожею
Лишь музы числятся богинями, та — эпоса,
а эта — лирики,
А кто же общий бог поэзии?
Как будто бы и нет, и не было
В поэзии единобожия?
— Да,
Не было,
Ни там, ни здесь его,
Ненужного и невозможного,
Как некий догмат непреложного
Единого единогрезия,
Над коим лишь смеётся весело
Неосторожная, тревожная
Она, безбожная поэзия!

* * *

В ночь
С четвертого на пятое
В сизый августовский лес
Некая звезда изъятая
Сонно канула с небес.

И как будто бы упругое
Что-то шлепнулось в саду
С много большею натугою,
Чем Господь швырнул звезду.

Понял я, что это значило.
Это яблоко в ночи
С ветки сорвалось, и вскачь оно
Покатилось. Не ищи!

Шита меркнущими нитями,
Намечалась и рвалась
Между этими событьями
Еле мыслимая связь.

## СУДЬБА ДИДЛО

Я думаю всё чаще о Дидло.
Ведь это был великий мастер танца,
Но почему ему не повезло
И должен был повсюду он скитаться?
Он в танце был революционер,
Так почему ж не слишком благосклонно
Смотрели на него и Робеспьер,
И прочие, вплоть до Наполеона?
Да не весьма высоко был ценим
Он и в России Александром Первым.
И, в общем, он не то, что был гоним,
Но раздражал и чем-то бил по нервам.
И оценили, наконец, Дидло,
Дабы его искусством наслаждаться,
Когда уж время и его прошло.
В чём дело? Надо в этом разобраться!

## ПОВЕСТЬ О ДИОДОРЕ СИЦИЛИЙСКОМ

Недавно
Вспомнил я о древнем мире.

Меня просили объяснить четыре
Неясных слова:
— Что об Актеоне
Вы знаете и что о Беллерофонте,
О Диодоре, и о Аппоране?
Запутались мы, в этом разбираясь!

И я классические вызвал тени,
И словарей услышал шелестенье:

— Как мог, литературный ты работник,
Забыть о том, что Актеон охотник
Задумал с Артемидой потягаться?
И как не мог ты сразу догадаться,
Что Беллерофонт, герой, покрытый славой,
Сражавшийся с химерою трехглавой,
К богам хотел примчаться на Пегасе,
Разгневал Зевса и беда стряслася…
И в заключение о Диодоре:
О, нет, это не водоросль в море,
А это имя нескольких ученых…
Вот, что нашёл я в мудрых лексиконах,
До самой сути дела добираясь.
Шуршали лексиконы:
— *Аппоране!*
Что означало: — Недоумеваем!
Какою страстью ты обуреваем,
Коль хочешь всё познать о Диодорах,
И сам не зная точно, — о которых?

Скорей всего о Сицилийском, жившем
При Цезаре, и мир наш подарившем
Повествованьем в сорок книг, из коих
Известна часть, но много не дошло их
До нас, а как пропали по дороге,
То знают только цезари, да боги!

* * *

О, море Чёрное,
Где Кара-Даг — твой сын,
В гладь бездны ниспадает бородато,
Таким ли понимал тебя Расин,
Воображая Митридата?

И Мильтон,
Демона гоня в полёт
От полюса до меотийских вод,
Из бездны века на тебя взирая,
Познал тебя от ада и до рая.

Но ты грохочешь мне:
— Не умолчи
О том, как два юнца в начале века
Переводили Мадача в ночи,
Задумали перевести в Керчи
«Трагедию человека».

Ну вот, о море,
Не под твой ли гул,
О ком припоминается нечасто,
Я хоть и кратко, но упомянул,
Сквозь гул прибоя выкрикнул.
*И баста!*

## ТВОРЧЕСТВО

Есть такое,
Что весь век тревожит,
Но не удается. И поверьте,
Есть такое, что творец не может
Завершить всю жизнь, и после смерти,
И к чему готов не подражатель,
А иной, которым овладела
Та же страсть, — упорный продолжатель,
Но ещё не завершитель дела.

* * *

Мороз ударил по лесу в листьях,
Но всю лавину
Он не унёс, лазурь очистив
Наполовину.

А не желавшие свалиться
Вниз головами
Листья порхали, как чёрные птицы,
Над нами с вами.

Так всё обретает свою окраску,
Чем день снежнее,
Чтоб получить свою огласку
Ещё позднее.

## БАРОНОВ

В силу исторических законов
Жил когда-то возле Иртыша
На Баронской улице Баронов,
Гордый правнук декабриста Ш.

В это время, будучи гонимым
За ношенье сказочной дохи,
Я подписывал псевдонимом
Публикуемые стихи.

Впрочем, я был почти еще мальчишкой,
А он, по сравненью со мной, стариком,
Но однажды с зонтиком под мышкой,
Северными ветрами влеком,

Он сказал мне:
— Ваших тайн не выдав,
Мы-то знаем, про себя храним,
Кто такой Мартын Леонидов,
Чей это прозрачный псевдоним!

## БАЛЛАДА О ТРЁХ КАТЕРАХ

О, Ленинградский порт,
Не из твоих ли ворот врывается в город
Ветер Балтики, щёголь, одет в атлантический
свитер,
Либо северный ветер с хореем погонщика
нарт,
Либо гид говорит про былой Петроград, то есть
Санкт-Петербург, или Питер…

А что ты знаешь, приятель, про синий катер
с бывшей царской яхты «Штандарт»?
И ещё про чёрный траурный катер
Петропавловской крепости или
Жёлтый катер, кронштадтский, про их такелаж
и тоннаж?
Неужели не помнишь о том, как однажды
уплыли
По решенью Госплана они на Балхаш?

За Урал, за Арал, по солончаковой пустыне
На Балхаш для промера глубин, составления
лоций и карт,
Бычьей тягой, на тяжких колесных платформах
приплыли три катера —
Жёлтый, и чёрный,
И синий
С бывшей царской яхты «Штандарт».

## АЙНО БАХ

Дорогая Айно Бах,
Я недавно видел Ваш альбом.
Айно Бах с высоким умным лбом,
Айно Бах с улыбкой на губах
На снегу, от стужи голубом.

Помните Вы, Айно Бах,
Дальний край тулупов и папах,
Где встречались мы детьми почти,
Солнце в кольцах и луну в столбах
И на мамонтовой кости
Выцарапанное: «Погости,
А потом уедешь, не грусти!»

Если помните Вы, Айно Бах,
Железнодорожные пути,
Нарисуйте колокол, свисток
И протянутые вдоль дорог
Провода и льющийся в них ток.

Нарисуйте Запад и Восток
И над самой Балтикой цветок,
Называющийся
Айно Бах.

## СОН ПРО ЛОШАДЬ

О лошадь, помню грустный взор твой,
Твоих боков крутую дрожь,
В полях ты билась полумёртвой
И сон про лошадь значит — ложь.

Но я нашёл свою удачу
И, кажется, добился дня,
Чтоб превратить худую клячу
В живого доброго коня.

И по снегам несутся сани,
И мчатся кони в бубенцах,
Как звонкое соприкасанье
Былого с будущим в сердцах.

* * *

Я слышу
Рокот железнодорожный
И гром,
И фонари горят.

— О, будьте с реками поосторожней! —
Мне акведуки говорят.

Ты, Волга, не теки назад,
Ты, старый Днепр, работай, не ленись,
А ты, Иртыш, рукою дотянись
До Кургальджин-Тенисского бассейна!
Но говорят, что кто-то выпил Обь?
А вы что слышали насчёт ее судьбы?

Когда-то
Я, молод, поднимал народ
На орошенье Барабы
И осушение её болот,
Чтоб было больше скошено, посеяно…

О, облаков овечьи лбы,
Где лесостепь берёзово кисейна!
И вероятней всё, и всё возможней,
Что станут вправду берега кисельны
Молочных рек! Но слышу
Я голос с неба:
— Будьте осторожней
И с Иртышом, и с Волгой, и с Двиной!

## МЫ ЗАБЫЛИ

Всё-то всё
Мы знаем про Аттилу,
Про его отчаянную силу
И его забытую могилу.

Но едва ли помним мы про Приска,
Описавшего нам всё, как было,
Присмотревшегося близко
И к Бичу Господнему, и к ордам,
Всё, что знаем о владыке гордом,
Знаем по его мы описанью,
Ну, а сам, кому он ведом ныне,
Этот грек, как, впрочем, и Иордан,
Уж не говоря об Аммиане
Марцелине!

Словом,
Об Аттиле
Хорошо мы помним, а о всяких
Византийских господах писаках
Мы забыли!

## ЧЕМ КОНЧАТСЯ ТУЧИ?

О небо
Негладкое,
Всё более гадкую
Корчишь гримасу.

Чем морщиться, лучше
Спроси облака там:
Чем кончатся тучи?

Конечно, закатом,
В бесцветные клочья тумана одетым,
А — следом за ночью, —
Конечно, рассветом.

## ДИТЯ ВРЕМЕНИ

Я помню,
Как на Чудовке в подвале
Три скульптора торжественно сорвали
Со своего творенья покрывало.

Меня ужасно разочаровала
Весьма тяжеловесная фигура,
Как будто ранняя работа Мура.

— Реминесценция! — сказал я хмуро. —
Мне эта глыба не внушает веры.
Зачем все эти признаки пещеры —
Все эти толщи, выпуклости, дыры, —
Отчаянье, ползущее из трещин?
Нет, не такой вам мир, друзья, завещан!
Ведь мы-то с вами своротили горы,
В глубь вещества мы устремили взоры —
У нас уже другое ощущенье
Земли, воды, и камня, и металла.
От жизни ваша статуя отстала!

И год прошёл,
И зов ко мне донёсся:
— Взгляните-ка, со статуей что сталось!
Да! Статуя такой же не осталась,
А, на меня взирающая косо
В сомнении, могу ль понять я это,
Вздымала руку, словно знак вопроса
И в то же время, будто знак ответа.

Увидел я: ребёнок на ладони!
Он растопырил руки, как в полёте,
Как будто ускользая от погони

Тяжеловесной каменистой плоти
И проволочных пут электросети.

Вот и поймите, что это за дети!
На них вы повнимательней взгляните:
Рожденные пока ещё в граните,
Но явственно летящие!
Проблема
Была уже в моём воображенье
Разрешена. Не видел я ни шлема,
Ни всякого иного снаряженья,
Какого-нибудь там комбинезона, —
Но это было и весьма резонно:
Ведь лишь младенец, только что рождённый,
Летел уже, летел, освобождённый,
Отвергший дико-каменную серость.
И не амурчик это был, не Эрос,
А человек, отвергнувший оковы.
Не в Риме,
Ни на Кипре,
Ни на Крите —
Нигде ещё не видели такого!

Не верите?
Подите, посмотрите!

## НАГРАДА

Я — поэт,
С душой твоей и телом
Всё, что можно было сделать — сделал:
Одарил тебя землёй и небом,
Евой, змеем и рассудком зрелым —
Словом, всё тебе я дал, что надо,
Кроме ада. Это ты в награду
Этот ад кромешный мне и дал там,
Где затем и сделался я Дантом!

## ТАЙНА НЕДР

Холодны воды
На снежном Памире,
Но, уходя под скалистые своды
И проходя сквозь подземные ходы,
Преображаются в недрах Сибири
В теплые воды, в горячие воды,
Чтобы сквозь скважины бить на Таймыре.
Вот как устроено всё в этом мире,
В этом великая хитрость природы.
Пламя ли старое в недрах стареет
Иль нагревается час там от часа
Прежде холодная сонная масса?
Это, конечно, кто как разумеет.
Позже до сути добраться удастся!

## МАРКИ

Порой
От писем
Веет чем-то лисьим,
Но иногда, зовя нас к светлым высям,
Орлиным чем-то, либо альбатросьим
От многих писем веет и от марок.
От марок!
Их, как будто бы в подарок,
Мы получаем, просим иль не просим.
И мы посланье бросим иль не бросим,
Но всё равно в своём сознанье носим
Не только текст, описки и помарки,
Но марки,
Штемпелёванные марки,
Наклеенные будто бы случайно,
Но явно подчеркнувшие и тайно
Тот умысел, который независим
От формы писем и платформы писем.

## ЗОЛОТО

Золото!
Что тебе золото?
Косы, головки цветов,
Вешнее солнце и пчёл ты
Счесть за него готов.

Есть
Золотые дыни
И золотой ранет,
Но в золотой середине
Толку, ей-богу, нет!

Детская
Библиотека
Прежде звалась золотой,
Но золотого века
Не было…
Впрочем, постой!

В химии,
В точной науке,
Сказано всё до конца:
Есть золотые руки
И золотые сердца.

## КРУЖКА

Эта кружка
Вполне ещё в дело годна —
Глина обожжена превосходно,
Но уж лет пятьдесят этой кружке. Она
Выглядит старомодно.

Вот когда
Ей исполнится лет пятьсот,
То, как будто Царь-колокол либо
Царь-пушка,
Кой-какое величие приобретёт
Эта кружка. Все скажут: достойная кружка!

И поздней,
Через тысячелетье, когда
Будет треснуть готова на все черепушки
И огня ей опаснее будет вода, —
Вот уж всякую почесть окажут тогда
Уникальнейшей кружке,
Драгоценнейшей кружке!

* * *

Железные руды под Мраморным морем
Грозят мореходам несчастьем и горем,
Магнитные руды!

Пески золотые под снегом Аляски
Сулили не только объятья и ласки,
Куски золотые!

И нефть — кровь земная — струится, не зная,
Как может вскипеть, о, никто не иная —
Она, кровь земная!

Как будто не ясно,
Что всё, что прекрасно,
Ужасно
Опасно!

* * *

Зловещим вечером со мной
Беседовали непереводимые
И сетовали неповторимые
На то, что речь их лишь в одной
Звучит стране своей родной.

Нет! Беспокоитесь напрасно вы
И ничего нет боле ясного,
Чем ваша речь неповторимая,
Как будто непереводимая,
Всегда звучащая в веках
На всевозможных языках.

Вы говорите то же самое,
Что говорят мне небеса мои,
И то же самое вам слышится,
Что мной толкуется и пишется,
И только всё это, как водится,
Не очень точно переводится,
Но то, что думает один,
Другой поймёт —
Наш мир един!

Вот так среди огня и дыма я
Вам говорил, неповторимые,
Средь грома говорил и града я,
Ничто не может быть преградою!

## СЕВЕРЯНИН

Северянин
Жил на мызе,
Видя Русь на горизонте,
Русь с резьбою на карнизе,
С тракторами на ремонте,
Русь икон и книжных полок,
Где с церковным хором вровень
Хор безбожных комсомолок.

А ему писалось плохо, —
Как в былом, не получалось,
Будто целая эпоха
На глазах его кончалась,
А другая начиналась,
Но не всё оттуда видел,
Где ему започивалось, —
Вот как он себя обидел!

И, казненный оставаться
На поставленной границе,
Он не мог не волноваться,
И не мог он не томиться,
Что былая слава тает,
И мечтал почить он в бозе,
Где безбожницы витают,
Как снежинки
На морозе.

## БЕЛОВОДЬЕ

Грустя о чистых водах Беловодья,
И так, и сяк, свивая и вплетая
О нём легенды, жившие в народе,
Я переваливал хребты Алтая и из Одессы
плыл на пароходе,
Куда стремятся птицы, улетая, но уяснил
я грёз своих бесплодье
И убедился: Вздор! Мечта пустая!
И, чуда в дальнем не найдя походе,
Домой вернулся на свои угодья, и наступила
осень золотая.
И некий старец на Коровьем Броде сказал
во сне мне: — Простота святая,
Лишь в недрах недр чиста вода, блистая,
таких чудес ищи в своей природе
И прямо во саду ли, в огороде рой
под пятой своей, землепроходец,
В границах вьюг и стуж, и гололедиц,
до чужебесия не унижаясь,
А лишь своей водою освежаясь, колодец свой!

## ФОРУМ

Гляжу
Заворожённым взором
На измененье внешних форм:

На белый форум
Чёрный ворон
Сел. Но какой же мрамор корм?

А если
Этот сорный форум
Посыпать молотым зерном —
Один ли тут заскачет ворон,
Скажи мне, мудрый эконом?

Слетятся
Соловьи и куры,
И разная лесная дичь,
И демоничные натуры,
Как ястреб, и сова, и сыч!

И воспарит
В античном вкусе
Орёл, никем непобедим,
И гордо загогочут гуси,
Которые спасали Рим…

О, белый форум,
На котором
Через мучные облака
Нам слух ласкают дружным хором
Все птицы, вплоть до голубка!

## ЯНУС

На руинах
Античного города
В одной из современных столиц
Он стоял особенно гордо,
Возвышаясь среди гробниц.

— Вот он, бог выходов, входов
И всяческих новых начал,
И покровитель походов! —
Экскурсовод закричал.

Но, величаво двуликий,
Бог вдумчиво посмотрел
На храмы, на базилики
В царапинах варварских стрел,
На автобусы и трамваи,
И на стоянки такси,
Проговорил, оживая:

— Нет! Путаницы не вноси!
Хоть я и действительно Янус,
Вплетаю в начала концы,
Но должен сказать я, что за нос
Вас долго водили жрецы,
Приписывая мне эту дикость,
Что будто бы людям я враг.

Нет! Служит моя двуликость,
Чтоб вас примирить кое-как
И если ко мне приглядишься,
Стараясь меня не злобить,
Увидишь: я — бог компромисса,
Да кем же мне, впрочем, и быть!

## ПРИ ЗАВОЕВАНИИ КЁНИГСБЕРГА

У Иммануила Канта
При завоевании Кёнигсберга
Намечалась перспектива
Перебраться в Питер, стать профессором
Университета.
Были победители учтивы, но философ, несмотря
на это,
Не покинул тихую обитель,
Да, положим, и Елисавета не сумела
столковаться с Кантом.
Вообще же поступили с тактом, и приходится
мириться с фактом.
Да и трудно по почтовым трактам
Уйму книг перевозить и мебель!
В Питере, возможно бы, и не был
Счастлив Кант: там хмуро, шубно, шумно.
Словом,
Как сказал бы позже Гегель,
Всё действительное разумно!

## СТИХИ

Переводил я,
И при этом
Я говорил с одним поэтом,
Что много внутренних созвучий я нахожу
в его стихах,
А он ответил, что не надо их замечать
при переводе,
Поскольку он писал всё это еще сторонником
свободных
И нерифмованных стихов.
— Подбором рифм себя не мучай! Я был
противником созвучий
И допускал их лишь случайно!
— Пусть так, но всё-таки они пленительны
необычайно,
Не рифмы, нет, но что-то вроде
тебе лишь свойственных созвучий!
Вот в этом-то и скрыта тайна:
Есть неумелые стихи, и есть небрежные стихи,
Есть просто белые стихи,
есть белоснежные стихи…
Есть просто смелые стихи
И просто
Нежные
Стихи!

## БЕЗ ОБМАНА

Как же мы когда-то жили,
Чтоб узнать лишь по утрам
Из вечерних телеграмм,
Что вчера случилось в мире!

А теперь, душа-колдунья,
Ты пытаешь у меня,
Что случится накануне
Послезавтрашнего дня.

— Отвечай мне без обмана,
Что стрясется под луной
И под мантией тумана,
И под мантией земной?

Я обязан это знать:
Знать всё тверже, всё верней,
Что в обличье светской черни
Не убьет поэта знать!

# *«Мы всё обратно вечности вернём...»*

## ВЕТРЕНЫЙ БОГ

Прискакал гонец:
Мол, дни настали
И о тех, кто не на пьедестале,
Вспомнить, наконец!

На свои места ли встали?

Ох, они всегда в дороге,
Эти наши ветреные боги
Стри́боги... А, может быть, Стрибо́ги,
С ударeньем на последнем слоге?

Кто их знает!

Если на пороге
Встанет он, Стрибо́г, стрелок, стрелец,
Словно лук свой, напряжённо гибок,
Он, быть может, именно и Стри́бог,
Образ чей гораздо боле зыбок...
Словом, так и эдак без ошибок,
Славный старец —
Он еще юнец!

* * *

Весна дудит в свою дуду,
Как водится, колдуя,
Чтоб каждый знал свою звезду,
Шёл, как с тобой иду я!

Играют девочки песком,
В мороженое, в пряник,
Чтоб я не отшвырнул носком
Все эти яства, странник.

Играют мальчики в футбол,
Носами землю роя,
Но ведь и сам произошел
Из той земли сырой я.

Играют взрослые судьбой,
Как куклой, как рабою,
Но я сказал, что я с тобой,
Что нас с тобою двое!

## ЦИМБАЛИСТЫ

Когда Верлен
Был, как бы вновь открыт,
К нему, дабы извлечь его из Леты,
Пришли второстепенные поэты:
Пусть старец их собранье посетит!

И вот средь них в кофейне он сидит.
О, не его ли песни перепеты!
Их подражательность ему претит,
Но, что поделать!
— Ваши чтим заветы!
Себе в наставники, — кричат ему, —
Вас навсегда берём мы, символисты!

И говорит он другу своему,
Грядя домой, как светоч через тьму:
— Всё хорошо. Но только почему
Они себя назвали «цимбалисты»!?

* * *

Время
Не убийца
И не вор,
Не дало исчезнуть никому.

Рюрик Ивнев из Кавказских гор
Выпрыгнул, а Петников — в Крыму,
А Лесная — в Риге, а Бурлюк
Там, в Америке, одной из двух.

И никто не провалился в люк
Прочь со сцены, как бесплотный дух.

Где-нибудь, а всё-таки найдёшь
Бывших у забвения в плену,
Чтобы понимала молодёжь
То, что было
Древле, в старину.

## НЕРЕШИТЕЛЬНОСТЬ

Я не могу
Сказать, что я не лгу,
Но не могу и утверждать, что лгу я,
Когда терплю, не пикнув ни гу-гу,
Несообразность ту или другую.

Я не хочу
Сказать, что я молчу,
Но, утомлён пустопорожней речью,
Я кулаками всё же не стучу
И болтунам я как-то не перечу.
Я не решусь
Сказать, что я страшусь,
Но, над собой угрюмо потешаясь,
Я, не таясь, скажу, что не боясь,
На многое я как-то не решаюсь.

* * *

Звенят
Безответные лютни
Про тихие светлые будни.

Гремят
Непокорные лиры:
— Есть в космосе чёрные дыры!

И свищут
Небесные дудки,
Как будто не в здравом рассудке:

— Иссякшие солнца сгорели!

Но стонут
Земные свирели,
Стремясь проявить человечность,
Какую-то сказку про Вечность.

## СМУТНЫЕ ЗАКАТЫ

Ты видишь: над Цветным бульваром
Блуждает розовая пыль!
Неужто там, за Гибралтаром,
Опять нарушен кем-то штиль?

В тумане тускло-розоватом
Сирокко мечется, кричит,
А здесь у нас перед закатом
Пылает солнца пряный щит.

Чтоб ураганам-великанам
Не преступить через порог.
Где полозом аэросанным
Зима разгладит снег дорог.

Над морем Чёрным или Красным
Вскипают медные смерчи,
А здесь у нас на небе ясном
Лишь звёзды бледно горячи.

И Ночь, очей не подымая,
Идёт к двенадцати часам
Сказать, все речи понимая:
Покой? Его ты сделай сам!

Я сделал сам покой?
Навеки?
Я не уверен. На века?
Быть может! В каждом человеке
Об этом зиждется тоска.

* * *

Живём,
Пока хватает сил бороться
Со смертью, чтоб она не загнала
Нас, грешных, в эфемерные воротца,
Которые, как в эпосе поётся,
Недостижимы даже для орла.

Но иногда,
Вот именно оттуда
К нам, гордым обличителям богов,
Грядут Христы, Конфуции и Будды,
А мы их принимаем за врагов,
Как будто любы нам одни Иуды!

## ЛАВРЫ

Как в жажде славы мы к себе жестоки!
Лишь только поклонение любя
И всякие сомнения губя,
Считая их за тёмные намёки,
Преподаём мы мелкие уроки,
Возвышенными перьями скребя.
И пенятся чернильные потоки,
Пока не станет ясно для себя,
Какие листья, в них плывя, намокли,
Напоминая лавровый венок,
А, может быть, и лавровый вьюнок.
О, даже в театральные бинокли
Не разберёшь с высот: венок, вьюнок ли
Там кружится, забыт и одинок.

## ЦЕПЬ

Недоговаривать, скрывать
Довольно трудно разучиться —
Мы так сумели цепь сковать,
Что и сейчас она влачится.
Она теперь не на руках,
И даже и не под руками,
Но, не вися на языках,
Она владеет языками.
Давно уже не на ногах,
Но, тем не мене, под ногами,
Не на полях и на лугах,
А всё ж, скрипит под сапогами,
Как будто вовсе не страшна,
Но, тем не мене, эти звенья
Лишь только ржавчина одна
Вольна, изъев, предать забвенью.

## БЛАГАЯ РОСА

А в случае,
Если бы тучей
Задернулись вновь небеса,
И всяческих неблагополучий надвинулась
полоса,
Сойди на терновник колючий,
сияющая роса,
На этот терновник, который
Венчает живое чело,
Когда и небесные хоры
Вещают,
что время пришло,
Чтоб тернии стали опорой
Любви, воссиявшей светло!

* * *

Видел я
Сибирь в суровых зимах,
В трубных дымах из печей,
И в снегах её, и в магазинах
Меховых вещей.
Голоса звериные в урманах
Или даже только эхо их!
У меня же не было в карманах
Даже рукавичек меховых.
Ибо, презирая тех, кто зябки,
И на их нотации в ответ
В холода январские без шапки
Я ходил по молодости лет.
Это делал я назло морозу,
И лицо моё в его огне,
Разрумянившись, цвело, на розу
Походя, как говорили мне.
Вот что мучило, и этим бредя,
Всё заманчивей и горячей
Я смотрел на чучело медведя
В магазине меховых вещей:
— Это ты, бедняга, в плен попался!
Мне же скорняки не по душе.
Вот зачем
Я пламенно купался
В проруби зимой
На Иртыше!

* * *

Земля,
В тебе, в земле живой
Живёт и мой неспящий разум.
С твоей системой корневой
И я нерасторжимо связан.

Но есть безумцы, что дотла
Тебя, земля, спалить грозятся.
А я хочу, чтоб ты цвела.
За эти сложные дела
Позволь мне взяться!

* * *

У нас
Ещё просторы есть,
Цветам еще хватает места,
Чтоб дружно и привольно цвесть
Среди бетона и асбеста.

У нас
Луга ещё пестры,
А если поле станет тесным —
Найдутся новые миры
В окрестном скопище небесном.

## ЗВЁЗДНАЯ ПОДУШКА

И бесснежными ещё утрами
Возникает лишь одно:
Будто снег уж лёг буграми
И с тобой мы, как давным-давно,
Мчимся, лыжники, за парниками,
И, промчавшись через звёздный лес,
У шоссе угадываем камень,
Вероятно, надо ждать весенних дней,
Чтобы стал он более заметен
У дороги. А сказать ясней —
Лечь не хочет прессом на кадушку
Для капусты кислой, но не прочь
Он сойти за звёздную подушку
Для тебя, прелестнейшая ночь!

* * *

Три градуса мороза,
И солнце в небесах,
И очень сильный ветер,
И слёзы на глазах.

Но после зимней стужи
С метельным помелом
Три градуса мороза
Покажутся теплом.

И будет точно так же
Плыть солнце в небесах,
И чёрт не разберётся
В подобных чудесах.

## ПАСТЫРИ

О, вы, повествователи о грозах
Над головой и змеях под пятой, —
Ты, Феокрит, пастух при блудных козах,
Глядящий на Олимп, уже пустой,
И розу с розгой путающий в грезах
Жан Жак Руссо, и хмурый Лев Толстой,
В яснополянских рывшийся навозах,
Велик в своей наивности святой, —
Сейчас о вас я думаю... «Послушай! —
Вы говорите, — Посох наш пастуший
Принять от нас хотя бы только помечтай,
Ты, в пышную рядящийся одежду,
Подпасок, только мечущийся между
Овечьих стад и человечьих стай!».

## ВСЁ ЗАВИСИТ ОТ ЛЮДЕЙ!

Всё зависит от людей!
Время — это чародей:
Кровь хлестала почём зря,
Прямо — целые моря,
А теперь земля пестра
От вьюнов до орхидей.
Время — это чародей!
Чародей-то чародей,
Но, по правде говоря,
Смылась кровь не от дождей,
А, по правде говоря,
Всё зависит от людей!

* * *

Слышишь —
Голос Грядущего
Ясно доносится!
Вот оно приближается, только не сглазь,
И закончится всякая околесица,
Та, которая возле околиц плелась.

Но торжественно надо к нему приготовиться
И обставить светлицы как можно светлей.
Вот на эти-то хлопоты вечно и ловится
Человеческий разум, как птица на клей.

Начинается схватка с тряпичными кучами,
Всякий мусор швыряется прямо за дверь,
Чтоб пред ликом Грядущего всё-таки лучшими
Мы предстали, чем есть, в самом деле, теперь.

Подметаются дочиста всякие садики,
Изгоняются прочь с чердаков пауки,
От чертей очищаются всякие адики,
Чтоб остались в наличии только райки.

Но исчезнуть не может ещё неизжитое
До конца. И валяется эта пыльца
У околиц, нередко ещё не зарытая,
Отравляя умы и тревожа сердца.

И, должно быть, не слишком уж преувеличу я,
Говоря, что живём мы сегодняшним днём,
Увязая руками, ногами, как птичьими
Коготками, не в прошлом, а именно в нём!

## ГРЕЗЬ!

Скоро
Переменится климат,
Вернее — переместятся климатические пояса —
Этот процесс уже начался —
Европейские земледельцы по два урожая в год снимут,
И возникнут в Европе тропические леса.
Женщины севера сделаются шоколадны,
А южанки не будут иметь уже повода быстро отцвесть,
Потому что на бывшем экваторе станет прохладно,
Вроде того, как теперь у нас здесь.
    Ты ухмыляешься? Ну и ладно,
    Мни, что ничто не изменится. Грезь,
    Верь, что останется всё, как есть;
Или, как тебе хочется, по крайней мере...

И когда экваториальные звери,
Но ручные, конечно, взыграют в саду твоём, полном
                                        тропических роз,
И когда даже сирые птицы оденутся в новые пёстрые перья,
Ты, старик, свои тёплые вещи на пальмы повесишь
                                        проветривать, веря,
Что в ближайшее время, конечно, ударит мороз!

## ЗИМНИЙ ЛЕС

И кажется мне этою зимой
Зыбучий лес ветвей перекрещённых
Не клеткой, не певучей кутерьмой
Для разных певчих птиц не заточённых,
Но по веленью Вечности самой
В берлоге заворочался Кручёных
И Бурлюки проснулись. Боже мой,
Их, думаю, давным-давно пора
В Еленогурске вспомнить у костра,
Где хвои шуят и бушуют ветры
Затем, чтоб не забыла детвора,
Какие жили-были мастера,
Обветренные ветреные мэтры.

## ПРЕДМЕТ СПОРА

Природа моделировала. Воск
Ещё не создан был, когда из глины
Она премудро вылепила мозг
Обычного дородного мужчины,
Но уняла своих фантазий всплеск,
Не видя побудительной причины,
Чтоб некто, телом крепок, духом прост,
Заглядывал бы в звёздные пучины
И в недра недр...
...И миллионы лет,
Окаменев, лежал в земле макет,
Изваянный ручищами природы,
А извлечён в двадцатые он годы
У Одинцова был на белый свет,
Чтоб спор учёных
длился без конца:
Мозг этот
простака или мудреца?

## ДЕДЫ И ВНУКИ

Идут
Во мрак забвения понуро
Все те, кто крови проливали реки,
Калифы, жгущие библиотеки,
И Торквемад зловещие фигуры.
И чванятся, пожалуй, лишь Тимуры:
Мол, не у всех же внуки
Улугбеки!

## НЕБЕСА

— Ну и леса у вас, ну и леса! —
Степь восклицает, завистница —
Не только сосны да ёлки, но и уводят под небеса
Шелестящие лестницы лиственницы!

— Да, — говорю я,- по лестнице этой лез и лез
На самый верхний этаж, покачивающийся,
То есть до самых Седьмых Небес,
Где Ярило стоит, на перила не облокачивающийся.

И есть в небесах такой уголок,
Где у окна распахнутого,
Облокотившись на облако, грызет Александр Блок
Белое яблоко целого Шахматова.

— А! Это он скакал на коне при луне?
— Нет! Близ Загорска в Ахтырке в соборе
под поднебесные купола его
Будто буря, втиснута бурая, на кауром коне,
Статуя Салавата Юлаева!

А зачем его запихали в собор? Известно ли? Нет!
Памятник в Уфе, а это — макет.
Но тот этого вдвое больше красив ещё
Этот бунтарь, пугачёвец, народный поэт,
А не гипса безликая глыбища.

## В ДНИ СОЛНЕЧНЫХ ПЯТЕН

Вновь
Колокол где-то в ночи занабатил
И тихо монаху сказал настоятель:
— В соседнем аббатстве!
Всё это от пятен! Но смысл их не всем
и поныне понятен.
Когда Галилей на них брови взлохматил,
То времени даром и Шнейер не тратил.

— О ком говорите, отец настоятель?

— Об иезуите!
Доносчик, предатель,
Всегда и везде Галилея хулитель,
Он был отрицателем солнечных пятен!
Коль скоро для Церкви сей факт неприятен,
То Шнейер сказал: нет ни дыр и ни вмятин
На Солнце, а неких плывет череда тел
Меж нами и Солнцем!

Но я, настоятель обители тихой, покоя
рачитель,
Отнюдь никакой не колдун, не гадатель,
Небесного свода простой наблюдатель,
Заметил, что злаков крылатый губитель
И червь, ароматных плодов истребитель,
И вихри, и бешенство яростных градин,
И голод, и мор, и кишение гадин —
Зависят от пятен!

## МЁД ОДИНА

Есть
Древо Мира.
Ясень тот, Игдразил,
Цветёт всё неуёмней, что ни год.
Он медоносен. Горек, но прекрасен
Его цветами порождённый мёд.

«Поэзия — мёд Одина!» — вещали
Когда-то скальды.
Кто же Один?
Он
И сам того не понимал вначале.

Людским воображеньем порождён,
Он жил в Асгарде, выстроенном той же
Безумною фантазией людской,
И распрей асов больше всё и больше
Гнушался.
И убраться на покой
Он порешил.
И в мир древесных сучьев
Зеленохвойных скандинавских чащ
Он опустился, шляпу нахлобучив,
Закутан в синий вылинявший плащ.

Леса кишели и зверьём и дичью,
Но и людские бились в них сердца,
И принял Один скромное обличье
Охотника, а также и купца.
И конь возник, ему подставив стремя.
Тот конь, как на рисунках дикарей,
Детей и футуристов в наше время,
Был восьминогим, чтоб скакать быстрей.

И вынес Одина на кручи гор он.
А между тем над головой неслись
Два ворона — был Память первый ворон,
Второй из них именовался Мысль.
Но чем питались, что они клевали,
Увидел Один: мёртвые тела —
Здесь, на земле, где скальды воспевали
Ему приписываемые дела.
И понял из людских он разговоров,
Что, ими же и выдуманный бог,
Он будто бы виновник всех раздоров,
Кровопролитий, склок и суматох.

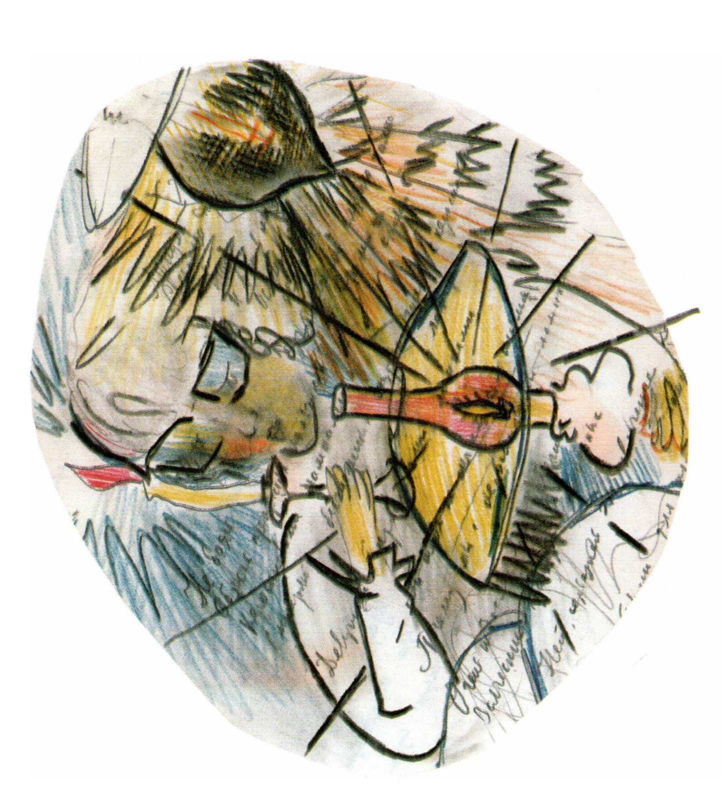
Самозабвенно эти люди лгали,
И убедился Один: на земле
Ещё ужаснее, чем там, в Валгалле.
И, размышляя о добре и зле
И наблюдая этих сил боренье,
Взаимопожирание живьём,
Решил сменять на внутреннее зренье
Свой глаз и прободать себя копьём,
Чтоб тайну рун постичь и чтоб всезнанье
Ценой страдания приобрести.

Вот для чего, как говорят сказанья,
Решил себя он в жертву принести.

Быть может, долетел, ещё неясен,
К нему рассказ о миссии Христа,
Но Мировое Древо Игдразил
Он местом жертвы выбрал неспроста,
Чтоб сучья не трещали его голы.
И Мировое Дерево цветёт,
Чтоб вековечно собирали пчёлы
Мёд Одина,
Хмельной и горький мёд.

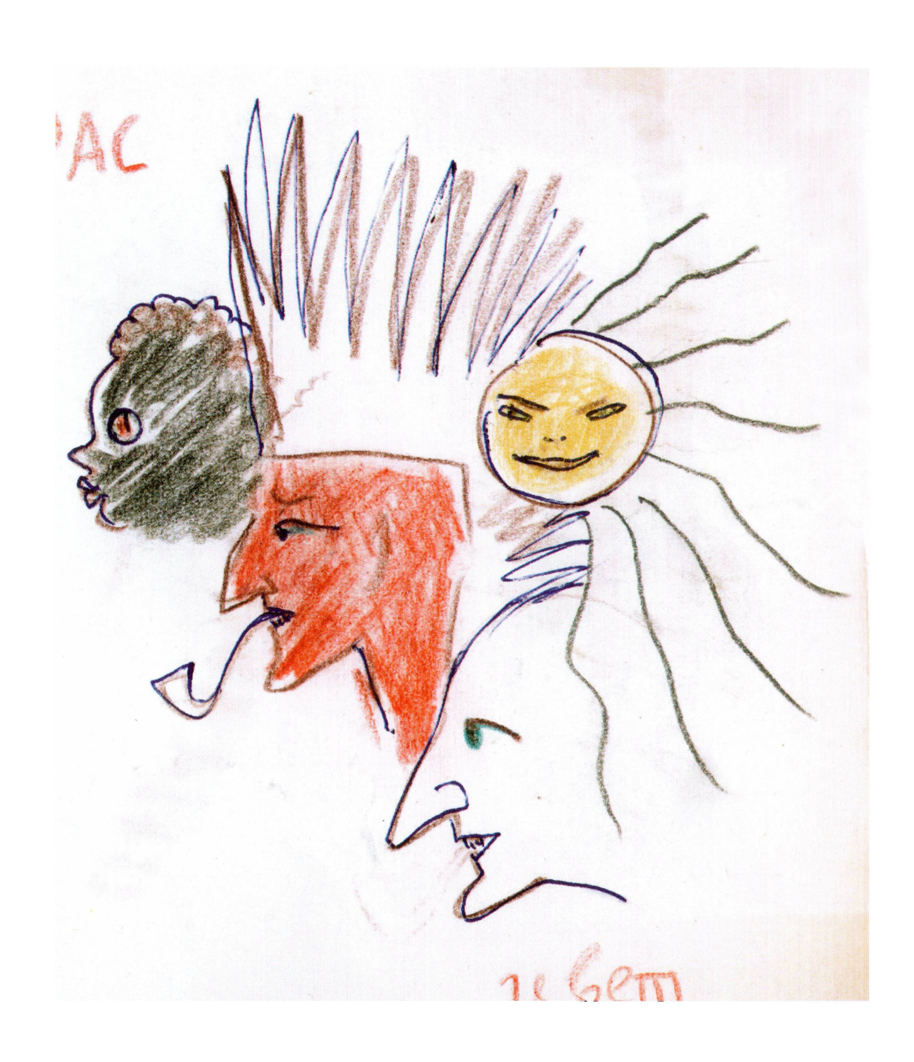











PAC





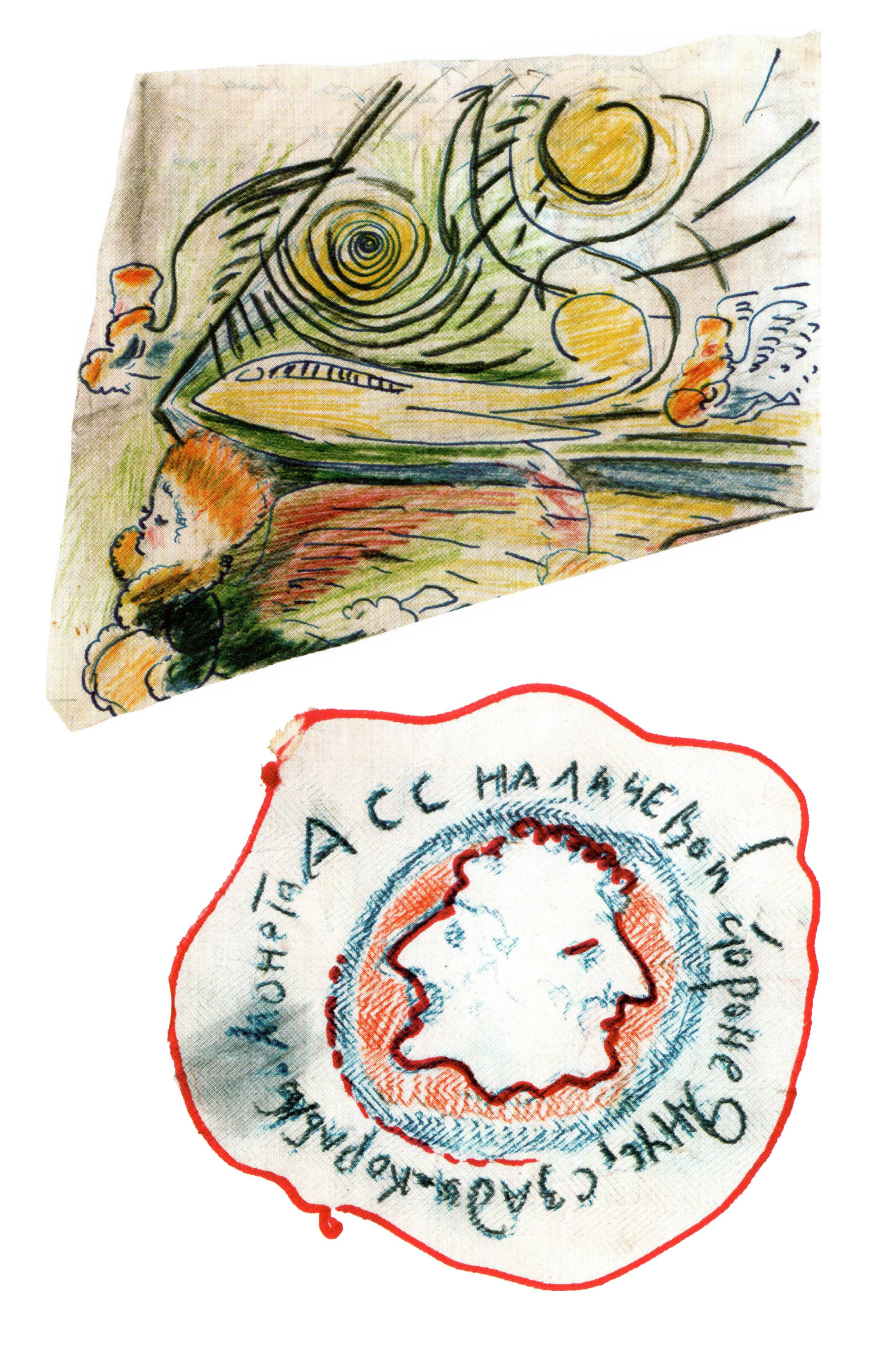

ВДАЛЬ



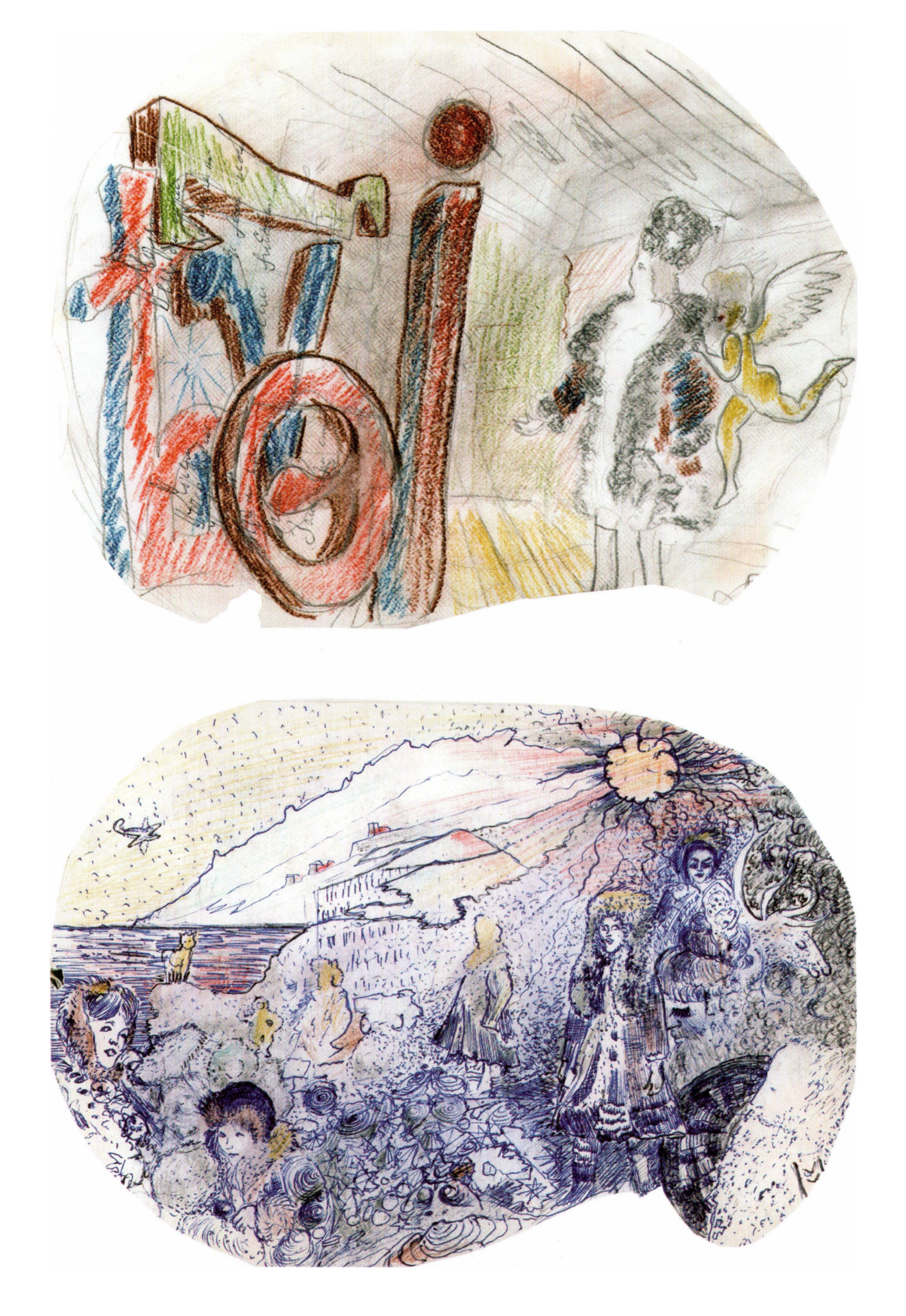












* * *

О, мы не ястребы и не сороки,
И не пророки, но, порой, скорбя,
Мы выдаём пронзительные строки,
Неясные и даже для себя.
Но всё-таки, прекрасное любя,
Мы обличаем тёмные пороки,
Свои шальные перья теребя.
И пенятся чернильные потоки…

## ДУХ РАЗУМА

И вновь кругом дремучие леса,
И вновь над ними тучи, небеса,
Ни паруса кругом, ни колеса,
И ничего —
Ни плюса и ни минуса,
Ни синуса,
Ни косинуса, ни тангенса...
Дух разума
И с ним премудрость вся!
Куда девался он?
Откуда он взялся?
С небес низринулся?
И вновь туда взвился?
Но нет!
Творится по его законам всё:
И среброструнны ветра голоса.
И возникает камень в виде конуса,
И линзой блещет капелька-роса,
И мыслит всё
К чему бы ни притронулся!

* * *

Всё становится неживым:
Дом становится нежилым,
Исчезают гербы с монет,
Только люди не сходят на нет.

Это вздор, что сияют потом
Только лунный, да солнечный свет
Там, на месте вовсе пустом,
Где стоял сошедший на нет.

Нет! И нынче пустым не стал
Опрокинутый пьедестал,
Но остался кровавый след,
Где стоял сошедший на нет.

И хоть жить давно перестал,
Но доныне не отблистал
Ни один великий поэт,
Ибо нет сошедших на нет.

И какой-нибудь троглотид
Из былого на нас глядит,
Точно наш ближайший сосед —
Эти тоже не сходят на нет!

## РАЗВЕ ЗНАЛ ДЕМОКРИТ

Вашу мысль исказят
И как можно всё сделают хуже,
Но реванш будет взят
Вами, бедные мудрые мужи.

Разве знал Демокрит,
Чем чревата догадка про атом?
Кто его укорит
За безумия в мире проклятом.
А Эйнштейна письмо!
Президенту писал, что в ответе
Мы за каждый свой шаг; не само
По себе всё творится на свете!

Очень вам не везло!
Величайшие помыслы ваши
Обращали во зло.
Но и зла переполнится чаша:
Станет сталь столь крепка,
Что отскочит метчайшая пуля
И настигнет стрелка
Иль застрянет в дымящемся дуле.

Тот, кто пламенный бич
Человечеству поднял на муку —
Берегись! Паралич
Поразит занесённую руку.

## МУЗЫКА

Унылая и идиотская
Из окон музыка звучит;
В ней что-то мерзкое и скотское,
А улица — ей что! — молчит.

Но вот и музыка прекрасная
Из окон гордо понеслась,
Но также улица бесстрастная
К ней равнодушно отнеслась.

И вдруг — мелодия привычная,
Обычная, ни та, ни ся...
...Очнулась улица кирпичная,
Вот так и продолжать прося!

## СЛОВА

Премудры книги старые.
Однако,
Бесправны в них не только буква ять,
Порою вопросительного знака
Там не стоит, где надобно стоять.

А иногда
И знаки препинанья
Имеют смысл загадочный, двойной,
Как будто бы они напоминанья,
Что это может кончиться войной.

То слово, что писалось с буквы малой,
Однажды кто-то написал
С большой!
И смысл возник доселе небывалый,
И новой обросло оно душой...

* * *

Иду
По острию
Ножа.

Я это делаю, дружа.

Тому,
С которым я дружил,
Я дружбой голову вскружил,
Зажёг над нею ореол,
И друг, которого возвёл
Я на высокий пьедестал,
Во мне нуждаться перестал.
Я, это высказав, беду
Хочу исправить на ходу,
Но только я ещё, дружа,
Иду по острию ножа,
Лишь я иду, а друг-то встал,
Как сказано, на пьедестал,
И дружба кончилась,
И жду,
Что превратится
Во вражду.

## ДЮНЫ

Будто бы
По чью-то душу
Тучи издалёка
С моря движутся на сушу
С запада к востоку.

Он
Тяжеле всяких тягот
Этот натиск ветра,
Он сдвигает дюну за год
На два, на три метра.

И хотя
По чью-то душу
Эта буря мчится,
Хоть кричит: «Смету, разрушу!»
Да не так случится.

И когда
Усильям ветра
Что-нибудь мешает,
Ветер на два, на три метра
Дюну возвышает.

И такого Возвышенья
Не уловишь глазом,
Незаметные решенья
Принимает разум.

И растёт,
Приобретает
Мудрость он с летами
И бывает: обрастает
И песок цветами

Тихо,
Мирно, постепенно…
Это над волною
Каждый миг вскипает пена
И ничто иное.

Лезут
Только лишь буруны
В небо голубое…
…И надменно смотрят дюны
На игру прибоя.

* * *

Тянет одних в горы,
Тянет других на Луну,
А есть и такие, которых
Тянет на старину.

Там в старине синь-порох,
Ворох мехов, скрип саней,
Масленица и сорок
Мучеников за ней.

А, может быть, это сорок
Утренников по весне
Прежде, чем скатятся с горок
Яйца, как в старине.

Красные яйца вкрутую,
Чьей скорлупы не верну
Я на неделю Святую,
Вспомнив про старину.

## ВЛАЖНЫЕ БЛАГА

Я в старинных степях вспоминаю
Баранту, похищенье скота,
А теперь совершенно иная
В этом мире идет баранта.

То есть вместо угона овечек
И каких-то коров, лошадей
Началось умыкание речек,
Кража туч, похищенье дождей.

Но твои расхитители, влага,
Воры айсбергов и облаков,
Сохранят эти влажные блага
Далеко не на веки веков.

Скоро станет и вору не впору
Для себя ни украсть, ни купить
Ледяную плавучую гору
Или тучу, чтоб влагу их пить.

Истощение всё нарастает
И полна лишь небесная высь:
Водородные звёзды блистают,
До которых поди, доберись!

* * *

Ничего не получается
Ни из одного стиха!
Вероятно, запрещается
Вас тревожить. Ночь тиха,
И она не омрачается
Молниями, хоть на миг.
Ничего не получается —
Миру вовсе не до книг!

* * *

Гляжу
На тьму
Померкшего огня.
Не только он сегодня омрачился.
Такое состоянье у меня,
Как будто сам в конец я излучился
И сочинять стихи я разучился,
Но, никого за это не виня,
Ни на кого я не ожесточился.
Пора дожить и до такого дня!

Пора дожить и это пережить
И, вороша дубовые поленья,
Так повернуть их, чтобы вновь ожить
И довести до белого каленья
Всю эту груду тлеющих углей
Хотя б на миг!

Так будет веселей!

* * *

Есть
Страх:
Не распылиться в прах,
Не превратить пыланье в тленье
И чистый благородный страх
За будущие поколенья.
Есть этот страх:
Не вспыхни порох,
Всё сущее не разлетись!

* * *

В отдаленье,
Как во время оно,
Крылись чьи-то дачи, не близки.
Где-то что-то крикнула ворона...
Есть такие тёмные лески.

На стволах змеились, — я прочёл их, —
Письмена из векового мха,
В глине я увидел чудищ полых,
А внутри у них была труха.

Может быть и важное открытье
Сделал я, но бросил их к чертям,
Через жизнь проходит красной нитью
Отвращение мое к костям.

А затем я думал, что ошибся,
Явственно мелькнули под ногой
Человеческие, но из гипса,
Ус, сперва один, затем другой.

Не узнал я даже их сначала,
Но потом я понял, чьи они,
И как будто просьба прозвучала:
— Отопни, под пни захорони! —

Так вот просит всё, чему настало
Время снять величия венец,
Точно так же и от пьедестала
Отлетает тело, наконец,

Тихо, безо всякого урона,
Просто развалившись на куски.
...Впрочем, что-то крикнула ворона.
Есть такие темные лески.

## ДЕВЯТОЕ КОЛЕНО

Я в Киеве была
Великою княжною.
Спросил меня отец:
— Чьей хочешь быть женою?

Восточные цари?
К чему златые узы.
— Ну, а король Анри?
С ним хочешь ты союза?

...Мы с этим королём
Царить умели славно,
Но стала, ах, вдовой
Я, Анна Ярославна.

Господь меня прости.
Во Франции осталась
И с графом де Крени
Я браком сочеталась.

Но и второй супруг
Погиб на поле брани:
В сражении его
Убили англичане.

И где я умерла —
В Париже, на Руси ли
Забыла я сама,
И люди не спросили.

И лишь праправнук мой,
Что Павлом звали, Полем,
И летом, и зимой
Все грезил чистым полем.

* * *

Та ночь была тревожна. Облака
Влачил к востоку ветер, черт проклятый,
На профиль очень злого шутника
Похож был месяц, жёлчный и щербатый.
Я всё бродил, и все не мог устать.
О, эти ночи. Странно в ночи эти
На старых зданьях вывески читать,
Что выглядят уже не в старом свете.
И, наконец, я прочитал: «Союз
Расстрелянных и умерших в неволе».
И я подумал: «Если постучусь?
Войдя живой, не причиню им боли?»
И через дверь я слышал их речей
Какой-то разнобой необычайный.
Одни не знали кой-каких вещей,
Другие явное считали тайной,
Одни оправдывались горячо,
Другие были, в общем, недалеки
От истины, но всё-таки еще
Не очень понимали подоплёки.
Ну, что ж, бывает так и у живых,
Не очень разобравшихся в событьях...

И я бы крикнул:
— Нет сторожевых!
Идите все, друзья, куда хотите
И распустите мрачный свой союз
Расстрелянных и умерших! Довольно.

И только одного я всё ж боюсь —
Они не подчинятся добровольно!

## ОТКРОВЕНЬЕ

«Стих
Быть должен,
При условье
Поэтического дара,
Маленьким, как капля крови,
Тяжелей земного шара,
Весом к солнцу приближаясь
Хоть бы на одно мгновенье!»

Слушал я, не раздражаясь.

Это было откровенье!

## СИЛАЧ

Расскажу
О встрече с великаном.
Плыл на пароходе он, причём
Объявил себя Хаджи Муханом —
Чемпионом мира, силачом.

Только он,
В заштопанном халате,
Что-то очень выглядел бедно!

Но когда
На жёлтом перекате
Пароход уткнулся носом в дно —
Спрыгнул он и богатырской грудью
Разом сдвинул пароход с мели.

— Браво, браво! — закричали люди
И в буфет гиганта повели.

И, нагой по пояс, что-то пьющий,
Он захохотал, прогромыхал,
Что иртышский, ермаковский грузчик,
Никакой он не Хаджи Мухан!

## ЛЕДЯНОЙ МЕДВЕДЬ

Не впервой
Над самой головой
Нависала грозная опасность
И, поскольку это не впервой,
То в вопрос внести бы надо ясность.

Не медведь
К медовому дуплу,
А с высот, где редок воздух свежий,
Заворочавшись в своём углу,
В мир долин пополз ледник Медвежий.

Не впервой
Сулил он нам беду —
Есть подробность, бьющая по нервам:
Было так в тридцать седьмом году
И ещё поздней — в пятьдесят первом.

Что ты хочешь,
Ледяной медведь,
Причиняя столько горя людям?
Впрочем, что бы там ты ни ответь —
Как нам быть — по-своему рассудим:

Либо
Обуздаем, укротим,
Чтоб в полях текла твоя работа,
Либо в пар летучий превратим,
Прямо в космос сбросив, прочь со счета.

Чтоб
Не толковали, как сейчас,
Наши дети их растущим детям:
— Это всё уже не в первый раз!
Это было и в шестьдесят третьем!

* * *

Лоб
Мыслителя
Вижу перед собою.
О, нахмуренное чело,
Утомлённое долгой борьбою.

Мыслить —
Тяжкое ремесло,
И коль хочешь познать ему цену,
То попробуй, возьми и проверь,
Что трудней: проломиться сквозь стену
Или просто шагнуть через дверь...

* * *

Мы всё обратно вечности вернем —
Жизнь, взятую лишь напрокат и даром,
Но дай мне небо с ней покончить днем —
Срази однажды солнечным ударом!

Угрюмы ночи мягкие слова,
Боюсь, что там кончается свобода.
Конечно, есть у ней свои права,
Но ведь не всё ж на свете ей в угоду!

И я могу сказать еще ясней:
Её планеты светят, но не греют,
И прямо в ней, и по соседству с ней
Предательства и заговоры зреют.

Подкрасться легче, если мы заснём,
И выжидают темноты недаром.
Так дай мне небо жизнь
покончить днём,
Срази однажды солнечным
ударом!

## БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ

Здесь
Ничего не выжжено,
Но, шелестя обиженно
В зиянье пустоты,
Неважные цветы цвели:
Не отцвели, а выцвели
Бумажные цветы…
А всё живое
Выжило!

* * *

Осень
Полноправная!
Иней захрустел.

Потрудился славно я:
Сказано всё главное,
Что сказать хотел.

Но ещё главнейшего я не произнёс,
Не обрел полнейшего
Права на износ.

## К.Р.

Где-то между Звенигородом и Волоколамском,
где седы каменья
И даже поленья имеют обличья еловых химер,
Было когда-то именье
К.Р.

Ночью в парке при этом именье
Повстречался я с тенью
Человека, который сказал мне:
— О, я не Гомер,
Но слышите грай вороний сквозь
листвы шелестенье:
К.Р! — К.Р! Кар, кар! Ка-Эр!
И я понял, что это со мной говорит несомненный
Константин Романов, то есть К.Р.,
Автор песни «Умер бедняга в больнице военной»
И пьесы «Царь Иудейский», которую ставили даже
и в РСФСР!
Я сказал:
— Но теперь мир забыл о вашем Высочестве,
старом поэте, великом князе.

— Разве! — спросил он и уставился на меня из листвы
глазами совы —
Ну, мне это понятно в связи с принадлежностью
к царской семье и ввиду этой связи,
Увы!

* * *

Замазан типографской краской
Смысл слов? Нисколько
не замазан!
И не замазаны замазкой
Уста. И можно быть
чумазым,
Покрытым сажей, трубочистом,
Душевно оставаясь чистым!

## ГОГОЛЬ

Вот этот дом
В нём — печь В ней тлеет
уголь.
Здесь Гоголю Господь сказал:
— Глаголь!
А бедный Гоголь? Он забился
в угол.
Не отвечал. Ни звука. Скорбь
и боль!
Бог продолжал:
— Ты предан православью.
Я тоже. Но одно себе представь:
Борьба с постылой и унылой явью —
Вот самая действительная явь.
Для этого, не для чего иного,
Я этот мир из хаоса творил,
Не веришь, так спроси у Иванова,
Чей тусклый холст я светом озарил!
Так молвил бог, на Бога не похожий.
Отчетливо он это произнёс.
И рядом с Богом сын явился божий
И вздрогнул Гоголь:
— Это ли Христос?
Он,
Иисус,
Чей облик исполинский
Вещал о девятнадцати веках,
Презрительно он щурился. В очках!
Ни дать, ни взять — Виссарион
Белинский!

## ПРОРОК

Двадцатый век,
Исполненный печалью,
Был в возрасте казнённого Христа,
Когда испанским скульптором Гаргальо
Его пророк был создан неспроста.

Изваянный из гулкого металла,
С пощёчиной в обличии звезды,
Пророк, каких давно уже не стало,
Был полон громом будущей грозы.

Железноглазо и железноусто,
С душой и сердцем в форме полых колб,
В Музее Современного Искусства
Он выставлен был на потеху толп.

Но с каждым днём он был всё ближе к жизни,
Чтоб целый мир бы на него глядел…
Педанты спорили о модернизме
И реализме… Он как столб гудел!

Не знаю, как бы он ко мне отнёсся,
Но, даже и поставлены ребром,
Важнейшие насущные вопросы
Сумели бы мы разрешить добром.

К нам не являлся на порог Гаргальо,
Но ведомо повсюду и везде:
С ретортным сердцем жив Пророк Гаргальо
И с головой,
Подобною
Звезде!

## ФИЛОСОФ

Поставили на полку,
Сказав:
— Ваш труд научный.
И я на этой полке стою, благополучный
Философ Безголосов,
И множество вопросов
Надменно разрешаю.

Кому же я мешаю,
Прилизанный и тучный,
С глазами, точно щёлки.

А в поле воют волки, на воле ходят толки.

Но я стою на полке,
Как будто бы шепча вам,
Что стал я *сухощавым*
С глазами,
Как иголки!

* * *

Сфинкс
Всё молчал, молчал, молчал,
Но вдруг да и заговорил,
Заголосил и закричал,
Такую кашу заварил,
Что был ничем непоборим
Тот голос девы с телом льва...

Вот так
И мы заговорим,
Ещё сорвутся с уст слова!

## БЫВАЛИ ТАКИЕ ПЕРИОДЫ

Бывали
Такие периоды,
Прошло это, вновь не настанет:
Казалось, что в рот набери воды,
А глубже молчанье не станет.

Фальшивое
Серебро воды
Вы, люди, во рты набирали,
Тонули в ней выводы, доводы:
— Не нудно ль? Верней, не пора ли?

И пенились пузыри воды
Над стиснутых губ синевою.
Бывали такие периоды
И нечто в них есть огневое.

* * *

Хотят
Обратно повернуть:
— Авось удастся! —
Направленный в обратный путь,
Корабль затрясся.

Как будто
Новый курс берёт,
Но в самом деле
Он движется кормой вперёд
Всё к той же цели.

И дело тут
Не в парусах
И не в моторе,
Не в чёрных штурманских усах
На Чёрном море,

А в урагане —
Вот в чём суть! —
Ревущем грозно.
...Хотят обратно повернуть,
Но поздно, поздно!

## ДЕЛЬЦЫ

Знаешь,
Мной желанье овладело
Взять и оторвать дельцов от дела,
Потому что по своим делам
Ходят прямо по чужим телам...
Это уж доходит до предела!

* * *

А кто-то негодует: почему
Защитников гораздо больше стало,
Чем обвинителей. Не по нему,
Что розга ликторская отсвистала
И экзекутор сходит с пьедестала.
Непостижимо бедному уму,
Что эра милосердия настала.
И что получится, коль ощутит
Себя любой и каждый прокурором,
И будет к обвиненьям аппетит
Расти такой, не справиться с которым.
Ведь он во времени, довольно скором,
Пожалуй, и себя не защитит!

## ДЕМОН

Ангелы,
Тыча бичами,
Демонов заключали
В клетку. И возле перил
Ужас царил.
        Я поспешил за ключами,
        Дверцы я отворил:
— Взвейтесь, о Духи печали,
Все, кто ещё не бескрыл!
        И над бетонным Эдемом
        Взмыли за демоном демон —
        Мильтоновский демон,
        Мадачевский демон,
        Лермонтовский демон,
        Врубелевский демон,
        И Маяковского демон
        Тут же парил.
И вопросил я:
        — А где он,
Где он, сегодняшний демон?
Бог, ты его уморил?
        Ангелы что-то кричали.
        Крикнув им, чтоб замолчали,
        Я повторил:
— Где он, сегодняшний демон?
Или замучен совсем он?
        Бог,
        Освещённый свечами,
        Проговорил:
— Мы его не заточали.
Это демон щей ли, борща ли.
Крыльев ему за плечами
Я и не мастерил.

## РУСТАВЕЛИ

Сентябрь на Москву снисходил,
Арбузы на взрез багровели...
До полдня я переводил
Великого Руставели.

Затем мы пошли в магазин,
Затем под навесом на рынке
Холодный сапожник-грузин
Чинил мне каблук на ботинке.

На рынке сапожничал он,
Должно быть, полвека, не меньше,
Он, южных медлительных жён
Сменивший на северных женщин.

Он сух был, серебряно сед,
На грани второго столетья.
Ему приносили обед
Детей его взрослые дети.

И будто совсем не ему
Я начал читать еле слышно,
Как будто себе самому
Всё то, что сегодня не вышло.

Всё то, что лишь ритм говорит,
Всё то, что еще не готово,
Всё то, что потом повторит
Разумно звучащее слово.

Он вздрогнул: Чего я хочу?
И стал он подобен, тревожный,
Зазубренному мечу
В ножнах этой кожи сапожной.

Он кожу кромсал на куски,
Обрезки кидая обратно,
И вдруг, протянув башмаки,
Сказал он спокойно и внятно:

— Готово! Возьми и надень!
...В мечтах ли, в соседней листве ли,
Но в этот сентябрьский день
Звучали стихи Руставели.

* * *

Я говорю: он не умел витать
В холодных высях отвлечённой мысли,
Где тучи многословия нависли,
А он, простак, одно умел: летать!

Вы вкус его пытались воспитать —
В музей водили, лекции читали,
Но как бы высоко вы не витали,
А только он способен был летать!

Он горы книг успел перелистать,
Ходил в театры и смотрел он пьесы,
Но всё-таки другие интересы
Преобладали: он умел летать!

От умных игр он не хотел отстать,
Бравурные насвистывал он марши,
Но вообще он был гораздо старше —
Я повторяю:
Он умел летать!

## АЙСБЕРГ

Я
Айсберг!
И, по пояс
В солёных водах
Верчусь, а не покоюсь.
Какой тут отдых!

Над
Морем
Возвышаюсь,
Над ним блистаю,
Но с ним я не смешаюсь,
Не в нём растаю.

Мечтаю
В свежий воздух
Я испариться,
Дабы под небом в звёздах
Парить как птица.

Дыша
Своим величьем,
Звеня, качаясь,
Я в царстве рыбье-птичьем
Перемещаюсь.

Ликуя,
Что не весь я
Ушёл в пучину,
А рею в поднебесье
Наполовину!

## ПОИСКИ

Чёрт возьми,
Ничего не выходит!
Всё — как будто бы на смех, на вред
И совсем ни на что не походит...

И тогда
Озлобленье находит
И, гонящая собственный бред,
Кисть искомые краски находит
И снимается с яви запрет.
Вот как
Всё это происходит —
Так рождается автопортрет!

## РУКОПИСЬ

Я всё прочёл,
О чём писал
Легко, как будто надо мною
И никогда не нависал
Тяжеловесный полог зноя.
И ничего я не солгал,
И, выводя за фразой фразу,
Как будто бы и не сгибал
Премудрой головы ни разу.
А если даже и сгибать —
Какая разница! Чернила
Хоть сколько бы ни выскребать,
А что бы это изменило!

* * *

Никто —
И этим я не удивлён —
Не написал о Пушкине романа
Или трагедии, настолько он
Велик и простота его обманна,
И ни на чьих страницах не восстать
Ему до срока, не пойму какого,
Наверно, надо Лермонтовым стать,
Чтоб написать о Пушкине толково.

## АРКАДИЯ

Не слушающие радио,
Вы, люди без газетных строк,
Какая странная Аркадия
Ваш идиллический мирок!

Как странно мне, что вы не рыщите
По воспалённым небесам
И богодьявола не ищите,
Как вас не ищет он и сам.

И как смешно, что, взяв фонарь, идти
Не тщитесь вы во тьме, причём,
Нелюбопытные, не дарите
Вы хоть себя его лучом.

Я вашим нравам и обычаям
Чужд! Я бываю лишь во сне
У вас в стране, где с безразличием
Вы улыбаетесь и мне.

И прочь от вас бегу в досаде я,
Что не сумел извлечь урок...
Какая странная Аркадия
Ваш идиллический мирок!

## ДУХ СПОРОВ

— Я никому не воспрещаюсь,
Но никому и не навязан! —
Так он воззвал, и, не смущаясь,
Проник в бунтующий наш разум,
Тот дух сомненья, порожденье
Премудрости, отнюдь не книжной,
Что с вольным духом утвержденья
Извечный родич самый ближний.
Его я помню буйный норов,
Я видел глаз его мерцанье
При созерцанье наших споров
О положенье отрицанья
И отрицанье отрицанья!

* * *

Множество стихов почти забыто
Мной самим, но вспоминают их
Где-то, кто-то. И в глубинах быта
Вдруг я слышу свой забытый стих:
Где-то в просторечье он бытует,
У чужого греется огня,
Некоторые, кажется, бунтуют
Даже иногда против меня.
Что же удивительного в этом!
Многие из них уж старики,
Иногда по пятьдесят уж лет им,
От действительности далеки...

Но это все стихи мои
И на земле, и под луною
Написаны в былые дни, —
Как смутно вспоминаю, —
мною!

## ХУДОЖНИЦА
*(поэма)*

**1**

Тебя, весьма возможно, упрекнут,
Что ты жила в осьмнадцатом столетье,
Но ведь и ты не прославляла кнут,
Ты не играла сыромятной плетью
И не особо чтила старину, хотя она бывала
тоже в моде.
И вообще, жила ты не в плену, а, как и все мы, просто
на свободе.

Но как они завидовали все
Твоим доходам и твоей удаче
И Дюплесси, и Жак де Траверсе, и Шатобур торчали там,
на даче,
За Невкой на высоком берегу, Елагинского острова
напротив.

Ты говорила:
— Видеть не могу их кружевных
застиранныхлохмотьев!
Кормила всех, жалела горячо:
— Я столько, сколько вы, не претерпела,
Ведь ты до Революции ещё из Королевства
выехать успела...

**2**

И в этот вечер...
Всё, что ты могла — вино и фрукты, — всё ты подала
Гостям иззябшим, хмурым и усталым, отвыкшим
от приличного стола.

Де Траверсе в кафтане обветшалом расплакался
над пролитым бокалом:
— Но Вы талант, Элиза! Вот в чём соль. А я
проел последнюю пистоль.
Вы при деньгах?
— Ну, хорошо. Я дам.
И вдруг в окошках плошки, тени, лица, как будто бы
полгорода толпится.
И камеристка крикнула:
— Мадам,
Приехала сама императрица!

Екатерина, медленно войдя в сопровожденье
нескольких придворных —
Одним из тех движений злопритворных, столь
свойственных для женщины-вождя,
Заставила людей податься вспять, чтоб стало ей
просторно и вольготно,
И вслед за тем минут, пожалуй, пять смотрела
на эскизы и полотна.
А ты? Взволнована и смущена, ты думала:
что хочет здесь она,
Она, владыча целою страною.
Она была причудливо полна, но всё-таки
казалась неземною,
Как тяжкая и тусклая луна над невскою
холодною волною.
Томились гости. Зло взглянув на них, на их
в поклоне согнутые спины,
— Вы, господа, оставьте нас двоих! — сказала,
наконец, Екатерина.
И вот одни.
— Всё кормишь эту голь?
Прибыть в Дворец, голубушка, изволь — сосватаю
тебе я кавалера...
Но знаешь ты, что клика Робеспьера казнила
и монархиню твою.

Заказ: пиши несчастную семью,
Твои полотна — вижу — хороши.
Ну, вот и всё, голубушка. Пиши!
Уехала.
И вот в ночной тиши, там, в будуаре у камина где-то,
Оборванный чуть слышный разговор:
— Как видите, и казни, и террор становятся
статьёй её бюджета.
О! Что придумать можно бы подлей.
— Вы, Траверсе, предатель! Вы Иуда!
— А что? Вы заработаете худо?
— Ах, негодяй, возьмите сто рублей,
Хватайте их, но живо прочь отсюда!

**3**

Ушли.
Рассвет вступил в свои права.
За окнами как будто бы от гнева румянилась
январская Нева.
Знобило. И пылала голова.
И, вспомнив эти гнусные слова, что нажилась
на казни королевы,

Ты повторила:
— Прочь отсюда все вы!
За кисть хотела взяться ты. Но вдруг,
Швырнув палитру и не вымыв рук,
Воскликнула:
— Живей подайте сани!
И вот в меха закутавшись и в ткани, садишься
в сани.
— Ваня, милый друг,
Гони к швейцарцу! На завод стекольный,
Ведь ты бывал, где рюмочки звенят?
Несутся кони. Свищет ветер вольный.
И вот швейцарец в шляпе треугольной
Кричит с крыльца:

— Элиза! Как я рад!
Рассветную дарите мне зарю Вы!
И приглашает в глубину палат, где печи хитроумные
горят за годом год и день, и ночь подряд
И умные мальчишки-стеклодувы, взамен носов —
мерцающие клювы,

Пускают голубые пузыри.
— О, как красиво, господин Будри!
Как яхонты, сапфиры, янтари сверкают драгоценные
сервизы.
— Эй, люди, кресло для мадам Элизы!
И на красиво блещущий сафьян вдруг сам он
опустился тяжело,
Как будто бы с утра он полупьян или ночное пьянство
не прошло.
Немудрено! Текло бы и текло вино само сквозь
дивное стекло.
— Итак, Элиза, что Вас привело в такую рань
ко мне, в такую даль?
Друзья разворовали Ваш хрусталь?
— О, нет, Будри. Всё цело!
— Очень жаль.
Ну, всё равно — однажды перебьют.
Зачем же, свой покинувши уют, явились Вы?
— Будри, душа болит.
— А в чём же дело? Личная обида?
— Да! Дело в том, что в мире есть Давид!
— Давид? О, да! Он очень даровит, но Вы-то
даровитее Давида!
Ну, что Давид? Он высоко взлетел, новейшего
сторонник механизма
Для извлеченья душ из бренных тел,
Но сколько б он в Конвенте ни потел, он не уйдёт
от ложно классицизма.
Он на словах сторонник крайних мер, а в творчестве
архаики пример
Он подаёт мятущейся отчизне.

Вот почему вдвойне, вдвойне мертва на полотне
любая голова.
А Вы, Элиза, воплощенье жизни!
Античность, строгость — это всё для вида, но сам
Давид напудрен и завит.
— Пусть так, Будри. По правде говоря, я верю: я
Давида даровитей,
Но дарованье пропадает зря, а он, Давид, тщеславием
горя, стал живописцем мировых событий.
А я, как Вам известно, с той поры покинула
мятежную отчизну,
Когда ещё мерцали топоры, новейшего не зная
механизма
Для извлеченья душ из бренных тел, когда ещё
в Париж не прилетел
Разумный гений ложно классицизма,
Но я-то понимаю: ложь не ложь, а все былое ждут —
и нож, и плаха.
— Не Вас, Элиза, этим прошибёшь! Вы
женщина великого размаха!
— О нет! Талант рождается в огне. Я ж от
огня осталась в стороне.
Я как во сне, одна в чужой стране — в свечной,
в печной и в шубной тишине,
Я заблудилась в этой старине, я в стороне, я от всего
отстала
Здесь эмигрантка раками на дне... Ведь только
мразь и тянется ко мне.
Будри! Я от спокойствия устала. Поймите Вы:
я умерла почти.
Скажите, где границу перейти, Вы знаете
все тайные пути!
Швейцарец призадумался. И, хмур,
Спросил:
— Вам мало петербургских тысяч?
Себя, как Теруань де Мерикур, парижским розгам
Вы дадите высечь.
Вас утомила северная глушь и песни вьюг звучат
Вам жалкой прозой?

Хотите быть Олимпией де Гуж или Лакомб
хотите стать Вы Розой?
Вас раздражает северный туман, Вам в соболях и душно
и неловко
И Вы хотите как мадам Ролан в корзиночку
спихнуть свою головку?
— Не издевайся! Толком говори!
— Чёрт побери, — побагровел Будри. — Я
деспотизму не слагаю гимны,
Но ты должна сознаться, что цари встречают нас
с тобой гостеприимно.
Не забывай об этом и учти: у санкюлотов дамы не в чести
На эшафот их отправляют сотней.
Здесь, в Петербурге, всё же им вольготней.
Но ты ко мне изволила прийти. Что ж. Дать
совет тебе я очень рад.
Я, как ты знаешь, не аристократ, я верю, что
отечества утрата ужасней всех ужаснейших утрат,
Но на Евангелье я здесь поклялся свято,
что не вернусь во Францию назад...
— Довольно!
Неужели это брат, родной единокровный
брат Марата!
Ты крикнула:
— Иуда! А Марат?
Ведь он твой брат. Ведь правду говорят: отца и брата
ты имел когда-то!
— Брат! А какое дело мне до брата.
Действительность прекраснее в стократ!
Действительность!
И он захохотал, да так, что весь хрусталь
затрепетал.
— Реальность! Вот она, — он крикнул пылко. — Вот
эта рюмка, этот вот бокал и эта вот гранёная бутылка!
Он уронил бутылку. Резкий треск
Раздался, словно смех в его гортани.
И тут-то ты увидела:
Он трезв!
Трезв, как треска, как говорят в Бретани!

4

Ты в ярости покинула Будри.
Руками, танцевавшими от дрожи, у кучера ты
выхватила возжи
И до вечерней сумрачной зари неслась
с разгорячённой головой,
Как будто разум, горе и помеха, над этой леденящею
Невой,
Размахивая муфтой меховой и отгрызая лисьи клочья
меха.
Так мчалась ты, и слился мир в одно густое снеговое
полотно.
Исчезли и Нева, и острова — и снова ясной стала
голова.
Ты поняла: была ты не права, рассматривая жизнь
как вечный праздник.
О, я живописала торжества, а вот теперь изображу я
казни.
Я буду суд творить на полотне и в творческом
холодном исступленье
Казню я всех, улики давших мне в своём кошмарном
чёрном преступленье.
Перед судом предстанет вся их шайка. Под лютой кистью
медленно умри
Де Траверсе, циничный попрошайка,
Умрёшь и ты, презренный плут Будри, в стеклянный грот
зарывшийся как крот,
Я всех вас возведу на эшафот, вы вспомните, что значит
гильотина —
Получится прекрасная картина, в веках эта картина
не умрёт.
Всё будет ясно на картине той, тем полотном эпоха
озарится,
И этою картиною простой да полюбуется
Императрица.

Она ж сказала: — Нянчишь эту голь, всю эту сволочь.
Вот тебе, изволь! Недаром я кормила эту шайку,
Да так же, как и, впрочем, и она, для каждого
бродяги, болтуна
Изображая добрую хозяйку, под соболями грея их зимой
и как дитять лелея на груди!
Ты крикнула:
— Иван, гони домой,
А завтра постучись и разбуди.
Ты понял? Рано утром, в час рассвета.
Ты понял? В мастерскую приходи,
Позировать мне будешь. Понял это?
Он дико гикнул, лошадей хлеща,
И, вслушиваясь в свист его бича, ты как бы
засыпала, лепеча
Наивно, и мечтательно, и сонно:
— Изображать ты будешь палача, парижского
казнителя Сансона.

5

И вот воздвигнут в недрах мастерской
Для лютой казни эшафот еловый.
Казни врагов уверенной рукой,
Иван, румян, Сансон златоголовый.
Палач готов, и жертва не уйдёт, но всё же не хватает
тут чего-то.
Ты вспомнила: отсутствует народ, толпящийся
у досок эшафота.
Конечно, ты б хотела парижан, женевцев, римлян,
варшавян, рижан и гамбуржцев, и мюнхенцев, и венцев,
Чтоб звали всех труба и барабан, чтоб матери несли
грудных младенцев
Смотреть, как в блеске северной зари и Траверсе
погибнет, и Будри —

Но без натуры это было б ложью, ты не могла
их всех собрать к подножью,
Ты не решалась на самообман, а правдой был
плечист, высок, румян,
Лишь потому, что он живой, Иван, Сансон Иван,
Сансон Иван, весёлый великан, он, чьи глаза
как васильки над рожью.
Конечно, хорошо бы заодно Европе всей мгновенно
отразить,
Чтоб вдруг слилась парча и полотно, овчины шуб
и соболя, и ситцы,
Чтоб видеть, как основы всех основ в стремительное
целое сольётся,
Но ты хотела правды, а не снов безумца Апахарико
Клоопса!

Так думала ты, пылкая,
А кисть
По полотну плясала неустанно.
Ты приказала ей: «Остановись», — и обернулась в сторону
Ивана.
— Мой друг Иван! С подмостков соскочи и запряги
коней своих могучих,
Помчись и где угодно отыщи мне мужиков
и девок самых лучших.

**6**

И вот оно толпится, мужичьё и женщины,
и красные девицы.
Не устаёшь ты вглядываться в лица. Чьё существо
угадываешь, чьё?
Вот этот, как ни странно он одет, а всё ж похож весьма
не отдалённо
На кровожадно дьявольский портрет по-бычьи
безобразного Дантона.

А этот, если шубную овчину по волшебству бы
заменить жабо —
Довольно представительный мужчина, — он стал бы
походить на Мирабо.
О, род людской, повсюду ты таков — на Сене, Темзе
и вот здесь, на Невке.
И, одарив улыбкой мужиков, глядишь на девок,
Боже, что за девки!
О, девки, девки! Дымный мир лучин!
Там, в чёрных избах что вам, девки, снится.
В коротеньких жакетках из овчин, в потёртых сарафанчиках
из ситца
Они стоят. Опущены ресницы.
О, девушки, пугаться нет причин.
Как звать тебя? Лукерья? А ты? Мария? Это имя мне
знакомо.
А ты Феклуша? Редкой красоты твои глаза. Ну, будьте
здесь как дома,
Не бойтесь. Ведь боится лишь злодей.
Вы видите, я здесь пишу картину, на ней изображаю
гильотину для казни непорядочных людей.
А вы изобразите мне народ, тот люд, что окружает
эшафот и палачу Сансону рукоплещет.
Вы видите, преступники трепещут, ручьями кровь
презренная течёт.
А вот уже и головы торчат на этом древке
и на этом древке.
Но почему томительно молчат все эти бабы,
мужики и девки.
Их лики неподвижны, как гранит.
Француженка. Кого она казнит.
Ивана в палача переодела,
Свирепствует, а нам-то что за дело.
И вдруг как будто злоба овладела, заговорил,
ноздрями шевеля,

Он, тот мужик ужасный, как земля, тот, чьё лицо
в бороздах, как поля,
Так странно на дантоново похоже:
— Во Франции казнили короля
И королеву. Ну, а эти кто же?
Ну вот, сейчас возьмёшь и объяснишь, кого казнишь ты
и за что казнишь.
Но поздно: точно очи василиска, мужичьи очи,
бешенством горя, у полотна мерцают близко-близко:
— Какого убиваешь ты царя?
И ломано по-русски говоря в толпу метнулась немка
камеристка,
И белыми губами шевеля, чтоб знала ты, чем это
угрожает,
Она бормочет, глазками сверля:
— Преступников, казнивших короля.
Вот чью здесь казнь мадам изображает!
И за сердце схватилась.
— О, умру.
Вы жуткую затеяли игру,
И не могу понять — с какою целью,
Но это страшно на чужом пиру иметь
такое тяжкое похмелье.

Ты поняла? Не зря вопит она.
И будто бы в мороз — узор окна
Вплывает через тяжкие гардины —
Холодное, как полная луна,
Огромное лицо Екатерины.
— Ты не шути! Ты у меня смотри,
Пиши, как я велела, де Барри, да не на плахе, дура, —
в Тюильри,
А этот бред немедленно сотри!
— Да, да, мадам! Тотчас же я сотру.
— А их я на конюшне задеру.

Несчастные! Но чем же им помочь.
И ты кричишь:
— Иван, гони их прочь!
Смешала краски, кисти побросала,
Холст сорвала. И живо, в ту же ночь
В Москву уехала. И что ты здесь писала,
Что чувствовала, думала о чём
Во дни незабываемые эти,
Я угадать не в силах целиком
На пламенном твоём автопортрете.

*10 февраля 1949 г.*

## КОММЕНТАРИЙ к поэме «Художница»

*Художница.* Лебрен, Елизабета Луиза (de Lebrun, 1755—1842, урожденная Виже) — французская портретистка, любимая портретистка Марии Антуанетты.

*Ведь ты до Революции ещё из Королевства выехать успела...* Первые признаки готовившейся вспыхнуть революции (Великая французская революция 1789—1804гг.) побудили Лебрен покинуть Францию. Летом 1795 г. прибыла в Петербург, В Петербурге провела 6 лет, отлучившись отсюда только однажды на полгода в Москву. Следами её пребывания в России остались многочисленные портреты. В 1800 г.она была принята в почётные вольные общники нашей академии, она принесла ей в дар свой портрет собственной работы, находящийся доныне в Эрмитаже. В 1801 г. возвратилась в Париж.

*Екатерина* — Екатерина II (1729—1796) — русская императрица с 1762 г.

*...клика Робеспьера казнила и монархиню твою.* Максимилиан Робеспьер (1758—1794) — выдающийся деятель Вел.французской революции, с 1792 г. вожак многочисленной партии монтаньяров в Конвенте; благодаря его влиянию королю был вынесен смертный приговор.

*Будри* — Давид Марат, будущий де Будри Давид Иванович (1756—1821) профессор французской словесности в Царскосельском лицее в 1811—1821 гг., родной брат Марата, родился в Швейцарии, в 1784 году после участия в женевском восстании начала 80-х годов 18 века бежал в Россию, в 1793 г. по «высочайшему дозволению» Екатерины II переименован в Будри.

*Давид Жак-Луи* (1748—1825) — французский живописец, глава классической школы, сторонник Марата и Робеспьера в Великую французскую революцию. В годы Великой французской революции организатор художественной жизни, создатель портретов, исторических картин, посвященным актуальным современным событиям («Смерть Марата», 1793).

*Теруань де Мерикур* (1762—1817) — собственно Анна Тервань из деревни Маркур — одна из деятельниц французской революции. 31 мая 1793 г., когда решался вопрос о судьбе жирондистов, появилась на площади вблизи конвента и горячо защищала партию жиронды. Много раз гневные крики прерывали её, но она не обращала внимания. Окончив свою речь, она ушла в тюильрийский сад, внезапно в саду появилось несколько женщин-якобинок, которые бросились на неё и подвергли мучительному сечению розгами.

*Олимпия де Гуж* — французская писательница, написала «Декларацию прав женщин и гражданки». В первые годы революции выступала в качестве феминистки. В 1793 г. была казнена на гильотине как роялистка, враг революции.

*Лакомб Роз* — актриса, участвовала в политической жизни как женщина революционная — республиканка.

*мадам Ролан Манон-Жанна* (1754—1793), жена Ролана Жан-Мари, французского государственного деятеля (1734—1793) [жирондиста, в 1793 г. бежавшего от преследований монтаньяров и кончившего жизнь самоубийством, узнав о казни своей жены], славилась умом и красотой, была душой жирондистской группы Конвента; заключенная в тюрьму монтаньярами, сама защищалась перед революционным трибуналом, была осуждена, несмотря на полное отсутствие улик, и гильотинирована.

*Санкюлоты.* Термин времён Великой французской революции. Аристократы называли санкюлотами представителей городской бедноты, носивших в отличие от дворян не короткие, а длинные штаны. В годы якобинской диктатуры санкюлоты стало самоназванием революционеров.

*Марат Жан-Поль* (1743—1793) — в период Великой французской революции один из вождей якобинцев. С сентября 1789 г. издавал газету «Друг народа», в которой разоблачал происки контрреволюции. Вместе с Робеспьером руководил подготовкой народного восстания 31 мая — 2 июня 1793 г., отнявшего власть у жирондистов. Убит в ванне Шарлоттой Корде.

*Сансон Шарль Анри* — палач города Парижа. Династия Сансонов существовала более 1,5 веков.

*...снов безумца Апахарико Клоопса.* Клоотс Жан-Батист, барон (Анахарсис-Клоотс) (1755—1794), объездил Европу, проповедуя демократическое устройство европейских народов по образцу древних греков; мечтал о всеобщем братстве народов, о всемирной республике; гильотинирован в Париже.

*Дантон Жорж Жак* (1759—1794) — деятель Великой французской революции, один из вождей якобинцев. Участвовал в подготовке восстания 10 августа 1792 г., свергнувшего монархию. После был министром юстиции. Пал на эшафоте по интригам Робеспьера.

*Мирабо Оноре Габриэль Рикети* (1749—1791) — граф, деятель Великой французской революции. Был избран депутатом в Генеральные штаты 1789 г. от 3-го сословия. Приобрёл популярность обличениями абсолютизма. По мере развития революции стал лидером крупной буржуазии. С 1790 г. тайный агент королевского двора.

*Во Франции казнили короля // И королеву.* Людовик XVI-й (1754—1793) — французский король в 1774—1792 гг. Свергнут народным восстанием 10 августа 1792 г. Осуждён Конвентом и казнён 21 января 1793 г., Мария-Антуанетта (1755—1793) — франц. королева, жена (с 1770 г.) Людовика XVI-го. С начала Великой французской революции вдохновительница контрреволюционных заговоров и интервенции. По решенению суда казнена на эшафоте 16 октября 1793 г.

*де Барри* — Жанна Вобенье, состоявшая в браке с графом де Барри, главная метресса Людовика XVI с 1768 г., славилась своей расточительностью, что способствовало падению авторитета монарха.

# Стоглав

## СТОГЛАВ

Не пишу ли я то, что пишу сейчас, то есть вот эти новеллы, для будущих времён? Раздумывая об этом, я вспоминаю о том, как году в пятьдесят четвёртом, летом в вечерний час мы шли по Каменному мосту к дому правительства с Марией Константиновной Тихоновой, и она говорила:

— Ну, такая уж Ваша судьба, Леонид, не огорчайтесь, но всё это сейчас не напечатают. Вы пишете для будущих времён.

Речь шла о тех моих стихах, которые я написал за предыдущее десятилетие и за несколько недель до данного разговора читал у Тихоновых. Я сидел за столом, Тихонов и Мария Константиновна в креслах, а Ниночка на диване вместе с Агнессой и Гидашем[1], которые и организовали это чтение моих стихов Тихоновым. Когда я прочёл стихотворений сорок, Николай Семёнович задумчиво сказал, что вопрос о печатании таких стихов может быть решён только на высшем уровне. Тем не менее, я оставил ему рукопись. Довольно вскоре, при встрече Николай Семёнович сказал, что-де вроде того, что мои стихи прекрасны для домашнего чтения. А ещё через несколько дней Мария Константиновна сказала мне то, что сказала.

Тихоновы мне сделали много хорошего, я не сомневался, что то, что они говорят, они говорят от души. Но, тем не менее, я знал, что независимо от их мнения книжка этих стихов, взятая у меня Сякиным[2], уже находится в производстве и должна вот-вот выйти в «Молодой Гвардии». Я ничего не сказал об этом Тихоновым, может быть, совершенно несправедливо считая, что не нужно так волновать

---

[1] Агнесса Кун и Антал Гадаш — венгерские литераторы, жившие в то время в Москве.

[2] Сякин Владимир Викторович — знакомый Л. Мартынова, редактор его книги «Стихи» (М., «Молодая гвардия»: 1955)

их, так и ставить под удар книжку. И в ответ на слова Марии Константиновны я лишь улыбнулся и сказал, что пусть всё будет так, как будет, и пусть я пишу для будущих времён.

И в конце года книжка вышла. Правда, по выходу её возникли сомнения, стоило ли её выпускать, но XX-ый съезд разрешил эти сомнения в мою пользу. И эта дружба с Тихоновыми ослабла отнюдь не из-за этой книжки, а как-то сама по себе. Но я не питаю никаких дурных чувств к Марии Константиновне и сейчас, через пятнадцать лет, вдумчиво вспоминая её слова насчёт будущих времён в связи с тем, что пишу сейчас, — вот эту прозу, эти новеллы из собственной жизни, этот комментарий к собственным стихам, написанным как раньше, так и позже достопамятных пятидесятых годов. Может быть на этот раз, в этом случае Мария Константиновна и ближе к истине, чем тогда.

Может быть, но не наверняка. Кто сейчас, сегодня напечатает хотя бы вот эти страницы? Но даже и не эти, а и многие другие, казалось бы и более нейтральные, говорящие о временах, гораздо более отдалённых.

Нет слов, к тому, что я пишу, существует интерес. Но тот же Сякин, с великим интересом принявшийся за чтение первых двадцати глав, быстро сбавил прыть: интересно, интересно, но, знаете, надо продумать, доработать. Конечно, он и прав, дорабатывать надо. Но что дорабатывать в предельно ясной главе «Зѣркалщикъ», которую мне, тем не менее, уже смущённо вернули из журнала «Смена»: «Прекрасно, но...» Но в ней идёт речь о том, как юный художник Уфимцев издавал сборник «Футуристы» на агитпароходе в начале двадцатых годов, писал более яркие полотна, чем став впоследствии заслуженным художником Узбекистана. И я, откровенно говоря, очень обрадовался, что журналисты вернули мне эту главу, обрадовался потому, что не знаю, как бы отнеслась к появлению этой главы в печати вдова Виктора Уфимцева. По этим же причинам я не спешу предъявить к печати новеллу «Зелёная рука» — действительно, как отнесётся к этому повествованию Женя Явельберг, вдова Александра Павловича Оленича-Гнененко. Всё это действи-

тельно надо выяснить, согласовать, как говорится. То, что я пишу правду и только правду, не меняет дела. Вот тут-то я и вспоминаю слова Марии Константиновны, — ошибаясь насчёт стихов, быть может, она абсолютно права насчёт прозы. И, раздумывая об этом, что делаю я, я пишу и пишу дальше. И вот уже написано семьдесят семь глав за эти два года, и набросано начерно ещё несколько, и в сознании моём вырисовывается облик книги, которую я должен был назвать, по крайней мере «Стоглав». Итак, возникло даже название, которого до сих пор не было: «Стоглав».

Кстати, что значит Стоглав. Это надо выяснить сейчас же. И вот в данный момент я отрываюсь от процесса письма и иду заглянуть в энциклопедии. Сейчас вернусь.

И вот я вернулся. В новом энциклопедическом словаре издания 1964 года, в словаре, где есть даже я, слова «стоглав» нет. Но в старом растрёпанном словаре Павленкова я нашёл. Вот он передо мной. Выписываю.

«Стоглавъ — сборник постановлений собора, созванного в 1551 году Иоанном Грозным, получил название оттого, что имел сто подразделений, глав», — это не подходит. Но дальше: «...постановления стоглава касались церковного благочиния...» Это тоже не подходит. Но вот дальше: «а также и всего строя жизни». Это подходит. Пусть мой «Стоглав», новый стоглав, не пишется стремглав, писанный для нынешнего ли дня, для будущих ли времён, преданных ли тиснению завтра или в более или менее далеком будущем, касается не только возникновенья того или другого моего стихотворенья, но, будучи правдив и ясен, по возможности — всего строя жизни.

## ПАДШИЕ АНГЕЛЫ

Некоторые из глав этой книги, скажет мне внимательный читатель, по праву должны были войти ещё в первое издание «Воздушных фрегатов». Это верно. А не вошли они по целому ряду причин, из коих, пожалуй, главнейшая тако-

ва: я стеснялся, не решался выдать в свет повествование о людях с так сказать подмоченной репутацией, напоминать о которых мне казалось неудобным ввиду того, что это может кинуть тень на их ни в чём не повинных родственников и близких знакомых, а в том числе в какой-то мере и на меня самого, безразлично — дружившего или враждовавшего с ними.

Но в конце концов я понял, что все эти фигуры умолчания тоже напрасны. К примеру: если я, чтоб не принести возможного огорчения потомкам Сергея Ауслендера, стеснялся рассказать о своей уличной встрече с ним в 1919 году в Омске, то всё равно мне же и приходится вносить хоть долю объективности в ту жесткую и одностороннюю оценку этого писателя, которую сделал более чем через полвека на страницах журнала «Простор» П. Косенко.

И в свете этого и многого ещё другого мне вспоминается очень морозный вечер зимнего дня, по-видимому, это было в январе 1920 года. Словом, это была первая советская зима после колчаковщины. С погружённого в студёные сумерки, отгрохотавшего, очнувшегося от прошлогодней белой горячки Любинского проспекта я шёл в ещё мерцающую от заката Крепость но когда миновал крепостные ворота, в ней всё погасло, потонув в специфическом зелёном тумане так, что, если б не моё отличное знание этой части города, я бы, конечно, не нашёл дороги к нужной мне Агитпропстудии свободных живописцев.

Данное учреждение, называвшееся так или приблизительно так, находилось, как мне было указано, в глубине огромного казарменного двора за старинной гауптвахтой. Я открыл в тумане калитку и без труда вступил во двор, загромождённый, как мне показалось, штабелями шпал, предоставленных, видимо, взамен дров в распоряжение военведа. Коридором между этими штабелями я и прошёл на свет окошка каменного домика, стоявшего в глубине двора. Я постучался, но так как никто мне не открывал, толкнул дверь и вошёл в слабо освещённое, почти пустое помещение.

В комнатке, где на нетопящейся железной печке стояло ведро с кистями, я увидел троих молодых людей в военной форме без знаков различия. Один из них, сидевший на корточках возле нетопившейся печки, был мне не знаком вовсе, двое же других, оба рыжеватокудрявые, показались мне теми самыми, которых я ищу. Во всяком случае, я сказал им, что мы встречались у Сорокина, и он теперь послал меня к ним на помощь — ведь как-никак я могу быть и художником, но не под своим именем, потому что под своим именем я буду выступать как поэт, — а под псевдонимом, хотя бы Аттик Тюрго.

— Но почему у вас так холодно? — спросил я. — Почему вы не топите печку, когда кругом дрова? — и показал пальцем во двор за окном.

И тогда один из них сказал другому:

— Ха! Ты слышишь, он говорит: дрова!

А другой, улыбнувшись во все зубы, сказал уже мне:

— Это не дрова, а мерзляки, колчаковские мертвяки-мерзляки. Понятно вам, товарищ Аттик Тюрго?.. А изостудия закрывается, Вы пришли слишком поздно, мы завтра разбредаемся кто куда…

— Мне кажется, что один из них был Игорь Славнин, — сказал я на следующий день Антону Сорокину, повествуя о своём визите в Крепость. — А второй, которого я тоже видел однажды у Вас, как будто бы Тронов. А кто третий, не знаю.

— Тронов — возможно! — ответил Антон Сорокин. — А Славнин — едва ли, скорее это мог быть Вощакин. Да, скорее он, а что до Славнина, то он, думаю, бежал стремглав на Восток. Несчастный! Едва успел выйти из тюрьмы, как напечатал перед самым крахом колчаковщины хвалебные стишки о дружинниках святого креста и зеленого полумесяца. А знаете ли, за что он сидел? За клептоманство. В раздевалке Коммерческого клуба получил по поддельному номеру наугад чужую доху, которая за ним волочилась как шлейф, потому что он маленького такого ростика!

Действительно, ни один из моих недавних собеседников не был такого ростика. И, выслушав Антона Семёновича, я склонился к мысли, что, должно быть, со мной беседовал скорее Вощакин, которого я не знал лично, но чьи стихи мне очень понравились. До сих пор помню наизусть строки из его стихотворения, помещённого в какой-то газетке:

Где памятник, как призрак Голиафа,
Закатная скрывает мгла,
Стальная мачта радьотелеграфа
Пронзает небо, как игла.

Это он написал о радиомачте, на самом деле поставленной Колчаку интервентами почти в центре Омска — на площади у товаро-пассажирских иртышских пристаней. Правда, никакого памятника, похожего на призрак Голиафа, там не было, это было только для рифмы, но всё остальное соответствовало действительности:

Внизу авто фырчат, рычат, как звери,
Кинематограф — лавочки феерий —
Цветные рассыпает огоньки.
О, радио, ты мировой глашатай!

Вот такие стихи писал Александр Вощакин, не зря объявивший себя в советском Омске, уже после краха колчаковщины, футуристом. Мне нравились и другие его, напечатанные при Колчаке, но явно иронические стихи о колчаковском Омске:

«Ex oriente-lux! — сказали. —
Здесь возрождение свершится!»
Вот реют флаги на вокзале
Над новою столицей.
Прикрыв лицо степного зверства
Культурной беженскою плёнкой,
Такою хрупкою и тонкой,

Возникли в Омске министерства.
Во всём подобие столицы,
В двенадцать пушка бухнет ровно,
А Любинский — Тверская словно, —
Мелькают экипажи, лица...

Словом, это была поэзия, а не акафисты Игоря Славнина, вроде того, что «Крест на вашей шинели алеет, как в божьем раю, о ранах на вашем теле ангелы в небе поют!», — стишки, кстати, напоминающие как две капли воды аллилуйи другого молодого поэта — Юрия Сопова: «Вставайте, рыцари нежности, противники злобы слепой, божьим мечом на мятежников, божьим бичом над толпой!» И помню, что когда я обратил на это сходство внимание Антона Семеновича, так он сказал, что и в жизни оба эти поэта несчастно похожи: один — клептоман, другой, Юрий Сопов, студент, в первый период советской власти в Сибири — сотрудник советской прессы, затем пошёл служить в личную охрану Колчака и по-дурацки подорвался на гранате.

— Дегенераты! — сказал Антон Сорокин.

И мы с ним, как помнится, сразу после этого разговора пошли на литературный вечер в здание бывшей женской гимназии, превращенное в училище ЧОН, в клуб — выступать перед курсантами целой компанией, в которую входил и Александр Вощакин (впрочем, скажу в скобках, он недолго сотрудничал с нами, исчезнув куда-то, да так, что толком узнать о его местопребывании я не мог даже у его брата — новосибирского художника Вощакина).

Футурист Вощакин исчез, но сладчайший Игорь Славнин, наоборот, объявился, и не где-нибудь, а в Иркутске. Помню, как Антон Сорокин с торжеством показал мне газетную вырезку со славнинским стихотворением «Поэма Алости»: «Отбросим сомнения скользкие, гранитной станем стеной, чёрные легионы польские молнией сожжём огневой. Батальоны двинем ударные, за Коммуну пойдём умирать». И ещё: «Голос Петрушки пулей катится, прыгает по канату дней!»

— Жив курилка! — возгласил Сорокин. — Я же говорил Вам, что вся его белогвардейщина — маскировка, и он притворялся клептоманом, вернее — вором, чтобы сесть в тюрьму и там войти в связь с политическими заключёнными!

А вскорости, в один студёный вечер в дверь ко мне постучался заиндевелый, закутанный в башлык человек.

— Леонид Мартынов, пустите переночевать, — сказал он, — я — Игорь Славнин, Вы должны меня знать!

Он почему-то не заночевал у Сорокина, который и сказал ему мой адрес. И я уложил его спать в уголке около печки и дал на сон грядущий ему в руки свежий номер журнала «Искусство», №2, где были напечатаны мои стихи «Мулен Руж».

Он похвалил стихи и заснул. А наутро, выпив чаю, он отбыл в Москву. А месяцев через шесть я получил от него покаянно-просительное письмо, в котором говорилось: «Вам всё равно, вы ещё не печатаетесь в центре, а для меня это вопрос жизни, откажитесь от авторства вашей строфы, которую я напечатал под своим именем в своём стихотворении, дебютируя в журнале “Красная новь”.

Он заимствовал у меня строфу:

И лес лилов, и снег был розов,
И розовая ночь была,
И с отступающих обозов
Валились мёртвые тела.

Пока я раздумывал, что ответить Славнину, пришло письмо от Вивиана Итина: «Ничего не предпринимай, дерзкий плагиатор уже изобличён нами».

Я послушал Вивиана. Конечно же ничего не надо писать! Подумаешь, четверостишие! И после никогда в жизни я не подымал в подобных случаях шума, — а меня ведь обворовывали ещё не раз! Пусть их!

Но вскоре всё же, приехав чуть ли не впервые в Москву и приняв приглашение неких сибиряков зайти в гости, я

надеялся втайне, что вдруг да заговорят об Игоре Славнине и о том, как я стал жертвой его легкомыслия. Однако ничего подобного не случилось. В гостях у Николая Шестакова я застал большое застолье и по расспросам понял, зачем я им нужен: этих людей глодало беспокойство, не помнит ли кто-нибудь о деятельности некоторых из них в колчаковской столице. Шёл разговор о короле писательском Антоне Сорокине, о Георгии Маслове, но об Игоре Славнине, равно, как и о покойном Юрии Сопове, никто даже и не упомянул. Это я говорю к тому, что за столом собрались тонкие любители литературы, которые отличали суету сует от истинно прекрасного, недаром за столом главенствовал известный искусствовед, профессор Борис Петрович Денике.

Итак, я не встретил в кругу московских сибиряков Игоря Славнина и даже упоминания о нём, и не встретил его вообще больше никогда в жизни, потому что он через некоторое время утонул, купаясь в одном из притоков Волги. И когда через много лет я прочёл в литературной иркутской антологии только то, что, не окончив университета, он вступил добровольцем в ряды Красной армии, служил на Дальнем Востоке, в Сибири и Монголии и умер на двадцать шестом году жизни в самом расцвете творческих сил, то подумал, что, конечно, прав был Антон Сорокин, когда говорил о нём как о храбром подпольщике. Сложны судьбы людей переходной эпохи! Ведь сказал же мне однажды, незадолго до своей смерти, Всеволод Иванов:

— Знали Вы Юрия Сопова? Жаль, что не знали лично! А то вот у меня есть сведения, что он проник в личную охрану Колчака, чтобы готовить на него покушение, но сам и подорвался на гранате! То есть он был наш!

И если уж говорить здесь о Всеволоде Иванове, то в данном контексте будет вполне уместно сказать и об его мрачноватом однофамильце Всеволоде Никаноровиче Иванове, который был колчаковцем, но стал нашим, вернувшись из харбинской эмиграции и написав ряд патриотических исторических романов, которые многими были оценены доволь-

но высоко. Но я-то, грешный, оценил его не за эти романы, а за стихи много раньше, еще в 1919 году, прочтя в какой-то газетке тех времён его стихотворение «Калита»:

Сибирь с огромными пространствами…
Прямой, решительный, неловкий,
Ты пешим образом пространствовал
С мешком, подсумком и винтовкой,
Ища под Пермью на позиции
Или в тайге зеленокудрой
Всё, что утеряно в Галиции
Предательствами суемудрых.
Ах, в распрях ложно государственных
Твоя душа всё обуяна
Заботою высокоцарственной
Скопца России, Иоанна.
Один скорбит душою мглистою,
Другой — ловец своих мгновений,
А ты один идёшь тернистою
Тропой сверхличных вождений,
Восстановляя, что разрушено,
Что мудростию предков дано,
И только мудрый голос слушая
Царей Петра и Иоанна.

Считаю уместным отметить, что немного позже, чем я, оценил творчество Всеволода Никаноровича Иванова и Николай Рерих: «Уж больно глубоко и правильно чуете Вы Россию», — писал Рерих в очерке «Россия», в основу которого легло письмо Рериха к писателю В.Н. Иванову, как говорится в примечании 29 в книге «Н.К. Рерих. Из литературного наследия». — (Москва, 1974.)

В этой же книге есть неплохая репродукция рериховского «Небесного боя», где над величественной русской землёй в грозовых облаках как будто бы мечутся падшие, но всё же вздымающие крылья свои, ангелы, не бесы, но падшие ангелы.

«ГАЛА-ЛИЯ»

У меня есть несколько незавершённых поэм, и об одной из них мне хочется рассказать, как она возникла и почему не закончена.

Мне было шестнадцать или семнадцать лет, то есть это было в 1921 или в 1922 году, а может быть, и несколько позже, когда однажды в Омске, идя по Железному мосту через Омь, я увидел на коричневых её водах стоящее у причала необычное судно. Это был моторно-парусный бот под названием «Гала-Лия». На палубе стоял, как мне показалось, старый и хилый человек в роскошной морской форме. Мундир и фуражка сияли позолотой галунов.

Всё это, естественно, взволновало меня. И через несколько минут я был уже на борту судна.

— Я сотрудник печати, — заявил я старику в галунах.

— Очень приятно, — ответил он слабым дрожащим голосом. — Я капитан Эльпорт.

И вслед за тем он поведал мне обо всём, что меня интересовало. Это суденышко, на котором некто Дей перешёл в своё время Атлантический океан, приобретено у Дея им, Эльпортом, и переименовано в честь его эльпортовских дочерей Галины и Лии в «Гала-Лию», а теперь он, Эльпорт, намерен отправиться на низовья Оби, чтобы выявить возможность прорытия канала через Ямал. Теплые воды Оби, пояснил Эльпорт, должны, хлынув в Байдарацкую губу Карского моря, освободить её ото льдов, что чрезвычайно важно для судоходства, ибо тогда кораблям, следующим из Европы в Сибирь и обратно, не придётся огибать Ямала. И такой удешевлённый сокращённый путь для сибирского леса, хлеба, масла грозит буржуазной Европе революцией цен. Так объяснил мне факт своего появления на Оми у Железного моста доброжелательный и словоохотливый капитан Эльпорт. Как он доставил свое судно в Омск, то ли привёз по железной дороге, то ли пригнал водой, я позабыл. Члены его команды, механик и матрос, слушали наш разговор молча и довольно угрюмо, и, когда я попытался затеять

беседу с ними, оба сошли с борта и направились в приречное кафе «Дима».

— Приходите на заседание географического общества, — сказал мне на прощанье Эльпорт, — я там буду делать обстоятельный доклад о своих намерениях.

Это заседание состоялось, чуть ли не на следующий день в помещении городской Сибаки, то есть в городском филиале Сибирской сельскохозяйственной академии на Тобольской улице, в доме, насколько я помню, принадлежавшем до революции Печокосу, неподалеку от начала Тарской улицы, где стояла другая бетонная твердыня — бывший склад фирмы сельскохозяйственных машин Эльворти. И, проходя мимо фирмы Эльворти, я подумал, что вот иду мимо Эльворти, размышляя об Эльпорте, что показалось мне довольно забавным. Затем по ассоциации я вспомнил о чёрте, вернее не о чёрте, а о Демоне Врубеля, родившегося как раз в этих местах на Тарской улице Омска. Но от всех этих рифмованных размышлений не осталось и следа, когда я вступил в зал заседаний, сразу попав в атмосферу ожесточённой дискуссии. Кроме географов на заседание явились моряки-полярники, гидрологи Убекосибири — управления по безопасности кораблевождения в устьях рек и у берегов Сибири. Эти моряки пришли скопом и, насколько я помню, во главе с рыжим капитаном Петранди. И все они дружно накинулись на капитана Эльпорта, высказывая сомнения в реальности его планов. Говорилось об отсутствии у Эльпорта каких бы то ни было точных данных, что всё это ничем не подкрепленное фантазёрство, прожектёрство. Эльпорт возражал горячо, но, как мне показалось, неубедительно и, когда заседание кое-как закончилось и мы вышли из Сибаки, сказал мне печально:

— Ну, что ж, я Галине и Лии перевёл причитающуюся часть сбережений, пусть дочери живут, как хотят, а меня не переубедит никто, я старик, я упрям и добьюсь своего, уверяю Вас, молодой человек.

И чуть ли не на следующее утро, проходя по Железному мосту, я убедился, что «Гала-Лия» исчезла.

Тут я делаю первую оговорку. Когда я пишу всё это, мне кажется, что всё было именно так: однажды, идя по мосту, увидел «Гала-Лию», познакомился с капитаном Эльпортом и чуть ли не на другой день пошёл на заседание географического общества, а на следующий день «Гала-Лия» исчезла. А может быть, всё это разворачивалось и не столь быстрым темпом. Не знаю. И хотя бы потому, что сейчас через полвека не уверен даже в этом, я не могу переписать начисто и предлагать для печати без этих комментариев написанную мной, но как бы недоконченную поэму. Даже поэтому. Но, кроме того, меня останавливают и соображения более веские, как читатель поймёт из того, что изложено ниже.

Итак, «Гала-Лия» исчезла.

Речники, моряки и географы сказали мне, что Эльпорт всё-таки ринулся в свою авантюру, ибо никак иначе нельзя было, по их мнению, назвать его затею. О нём самом говорили разное. Одни говорили, что он издавна интересуется Севером и даже издавал в Петербурге журнал, пропагандирующий идеи освоения Северного морского пути. Другие говорили, что эту роскошь, издание журнала, он позволял себе как шахтовладелец, вернее владелец наждачного рудника на юге России, и вообще он заядлый капиталист. Но в таком случае, спрашивали третьи, как он добился у советской власти водить свою «Гала-Лию» по рекам Сибири. Он пробивался к Ленину! — утверждали четвёртые. Он маньяк — поясняли пятые. Щуплый маньяк в опереточном капитанском мундире. А капитанский диплом, если он у него был, он купил на толкучке.

И, слушая всё это, я, в сущности подросток, начинающий поэт и неопытный журналист, предпринял единственное, что мог предпринять: я, оставив мысль писать на эту тему статью, попытался сделать стихотворный вывод из всех этих разнотолков. Я попытался не более не менее, как воплотиться в этого старика. Я представил себе, что я — он.

Я — Эльпорт, не учившийся в школе морской никогда.
Кораблём не умеющий править и не в силах
работать веслом,

Но прельстила меня океана седая звезда
И за деньги купил я себе капитанский диплом.

Так написал я однажды.

Да! Отличный диплом приобрёл я! Прошу извиненья,
Нерей,
Что в чертог твой стучусь я и старый, и хилый еврей.
И евреи бывают покорны призыву морей,
На земле забывают дома, рудники, дочерей.
Я Галине и Лии, обеим своим дочерям,
Половину всего капитала на гамбургский банк перевёл,
Пусть живут, как хотят! Я старик, я безумен, упрям,
Но полярных сияний я вижу во тьме ореол!

Пусть будет именно так, — решил я. Но вдруг это всё не точно. Вдруг что-нибудь не так. Однако, — подумал я, посмотрим, что из всего этого выйдет. Ведь я не знаю точно, на толкучке или не на толкучке приобретён этот диплом. Обойдя этот вопрос, пойду дальше.

Я диплом приобрёл и моторный тот парусный бот,
На котором из Бостона в Дувр перешёл некто Дей,
И решил, что я старость теперь проведу без забот,
Я, Эльпорт, я, мечтатель, но вовсе не вор, не злодей.
Это было в семнадцатом, если я помню, году,
И марксисты по-своему всё объяснят, и меня
Назовут человеком, который почуял беду,
Буржуазное прошлое в мутной воде хороня.
Нет! Вода не мутна была, вовсе была не мутна,
И свершился Октябрь, и ещё за весною весна,
И ещё за весною весна, и ясна
Перспектива была, но только лишь мне самому.
Капитан, флаг отплытья над ботом своим подыми! —
Мутным глазом глядел деревянный «Гигант» на Оми,
У кофейни «Дима» был мой порт. И, взойдя на корму,
Я стоял в галунах и мундире. Весь берег людьми

Полон был. Все гадали, зачем я стою,
куда я пойду и чего я ищу и найду.
Да! В далекий я путь снарядил «Гала-Лию» мою.
В заполярных снегах зимовать я задумал во льду.

Так написал я потому, что так писалось, и я думал, вернее — питал смутную надежду, что старик, пусть он фантаст, пусть он бывший шахтовладелец, восприняв телепатически мои заклинания, совершит, о чём он бормотал на заседании географического общества в городской Сибаке. Почему бы ему и не совершить всего этого, ведь пустился он в путь не тайно, а открыто, на глазах у властей. Словом, я, хотя меня и упрекали друзья мои, газетчики, за отсутствие революционной ненависти к Эльпорту, скорее сочувствовал, чем подозрительно относился к этому, безусловно, храброму старику. Другой бы такой сидел дома или своевременно удрал бы за границу, а этот безумствует где-то в мошкарной тундре у полярного круга!

Люди! Стар я и слаб, но поверьте — не глух и не слеп.
И для вас зазвучат голоса пароходных сирен.
Говорю я: сибирское масло, и бревна, и хлеб
Буржуазной Европе грозят революцией цен.
Но для этого надобно вырыть сначала канал,
Для того чтоб великая мощная Обь
Новый выход нашла, и остался бы хмурый Ямал
В стороне от пути. Оживёт и полярная топь,
И сибирские воды вольются почтичто в Гольфстрем,
И над тундрой, быть может, послышится свист соловья.
Нет, я вам не хочу предлагать никаких теорем —
Аксиома, поверьте, вся эта идея моя.

Как видно из этих строк, я был в достаточной мере ироничен.

— Капитан! — мне сказали. — Вы всё-таки оригинал!
И мечтатель, как видно, порядочный всё-таки Вы,

Но допустим, что так. А на что мы построим канал?
Ассигнуют ли нам эти средства сейчас из Москвы?
И откуда возьмём мы потребных на дело людей,
Дабы там обеспечить им в тундре условья труда?
Я сказал: «Вдохновите сторонников ваших идей
И немедленно тысячи их вы пошлёте туда!»

Вот как мне представлялись мечты капитана, то есть, вернее, как я привёл в ритмический стройный вид его довольно бессвязные речи на борту «Гала-Лии» у кафе «Дима» и городской Сибаки.

Однако на деле все вышло по-иному. Глубокой осенью я узнал, что «Гала-Лия» зазимовала где-то на низовьях Оби, а следующей осенью пришли известия, вернее возникли толки и более печальные: Эльпорта с его командой обличили вроде как в спекуляции, точнее — в незаконной скупке пушнины у туземцев, причём оказалось, что дробь в трюме его бота является не балластной дробью, но дробью, предназначенной для выменивания на неё мягкой рухляди, и эту дробь у него конфисковали. Это не были точные документальные данные, скорее это были толки и слухи, которые я не сумел проверить потому, что к тому времени был занят другими делами, поездками от журнала «Сибирские огни» и от газеты «Советская Сибирь» по другим районам Советской Азии. Правда, я, кажется, толковал время от времени об Эльпорте Вивиану Итину: ты, мол, занимаешься Севером, так не слышал ли чего о чудаке капитане, куда он девался. Но Итин, насколько мне помнится, тогда мне не мог сказать ничего по этому поводу. И я как бы забыл об Эльпорте и о незаконченной поэме о нём. Конечно, это было нехорошо с моей стороны, но юность есть юность, она легкомысленна и эгоистична.

И только во второй половине тридцатых годов я вспомнил о капитане. Кажется, даже именно в связи с Вивианом, который, канув в нети, по слухам, оказался где-то там, на дальнем Севере…

А я обитал тогда в Омске. Как-то под впечатлением всех развернувшихся событий, а может быть в предчувствии событий надвигающихся, в предчувствии войны, решил я разобраться в своих архивах и выписать наиболее ценное в одну тетрадку. Тут-то я и наткнулся на незаконченную поэму об Эльпорте. Боже мой, — подумал я, — ведь Эльпорт прошёл там, где оказался Вивиан и многие, многие другие…

И как-то само собой получилось, что, переписав в тетрадь все выше цитированные стихотворные строки, я написал продолжение:

Да! Сначала они посчитали, что я дуралей,
А потом объявили они, что команда моя
За балластную дробь покупает песцов, соболей,
От меня это всё, лицемерно скрывая, тая.
И из трюма изъята была вся балластная дробь.

Но что ж было дальше? Я не знал. Но задумчиво и осторожно я вывел вслед за этим — некий — не то чтобы возможный, — но и неневозможный вывод.

А меня повели расстрелять на широкую Обь.

И, начертав это, я понял, что окончательно обрёк эту свою поэму на ненапечатание. Мало того, что я излагал и выше не факты, а, в сущности, сплетни и разнотолки об этом, отнюдь не вымышленном, а существовавшем и, быть может, существующем человеке, — мало этого: теперь я написал, что его повели расстрелять. А вдруг он жив и выступит с опровержением? Или живы Галина или Лия и тоже возьмут да и вступятся за честь отца. Как быть? Ведь если я даже для отвода глаз изменю фамилию капитана, назову его не Эльпортом, а, скажем, Эльвортом или даже Эльфортом, то это не поможет делу.

И я написал:

А быть может, все это от страха внушил себе я,
Что на плоских прибрежных песках расстреляли меня,

А из яхты изъяли балластную мелкую дробь
И охотникам роздали. И до вчерашнего дня
Я в холодных песках неподвижно лежал, распростёрт,
И меня позабыли друзья, позабыли враги,
Будто не жил на свете я, вздорный мечтатель
Эльпорт,
И не видел ни зги. Но очнулся, услышав шаги,
И отчётливо вижу я целые толпы людей,
И по лицам я вижу, что каждый из них не злодей.
— Это кто же? — кричу я. — Сторонники ваших идей
Наконец появились затем, чтобы строить канал.
Так и знал я, — кричу, хохоча, — так и знал!
Не напрасно в песках тлел мой прах, в золотых
галунах мой мундир.
Но зачем же кругом конвоиры? И что мне кричит
командир:
— Это всё не сторонники ваших идей, а противники их,
как и ты.
Их пригнали мы строить на вечных пластах мерзлоты
Города, рудники. И совсем ни при чём твой канал.
А тебя, что воскрес ты, к ответу и вновь привлечём.
Отвести в трибунал!

Повторяю, я далёк от утверждения, что так случилось на самом деле. Может быть, все это только пригрезилось старику Эльпорту:

И когда они снова меня повели в трибунал,
То средь множества узников многих в лицо я узнал:
Эти узники с лицами цвета снегов и дождей,
Эти люди, которых, как я, не осталось в живых, —
Кто вы суть? Вы — сторонники наших идей,
Или, может быть, вправду вы злые противники их?

В конце концов во всём этом теперь наконец разобрались. И я надеюсь, что рано или поздно, порывшись в архивах, разберутся и в судьбе капитана Эльпорта, установят, что правда, что вымысел в этой моей незаконченной поэме, которая всё более и более выцветает в старой тетради. И чтоб она не выцвела до конца, я и включил её такой, какая она есть, в эту главу воспоминаний, вписав сюда целиком то, что не мог в своё время изложить прозой, и досказав прозой то, о чём не вышло в стихах.

Может быть, всё это послужит уроком для тех, кто берётся писать о том, чего достоверно и досконально не знает. А я ведь даже не знаю твердо, какой именно национальности был старик Эльпорт, может быть, мне только показалось, что он был евреем, капитан «Гала-Лии», потому что, не говоря уж об имени Галина, и Лия — не только еврейское имя. Сестра Виктора Уфимцева, впоследствии народного художника Узбекистана, тоже звалась Лией, а она-то уж была православной христианкой. Да и не это главное!

## ЗОЛОТЫЕ ЯБЛОКИ

Я не сомневаюсь, что Сергей Марков в новелле о нашей юности из самых лучших чувств рассказал о том, как в своё время, еще не зная меня лично, услышал обо мне увлекательные вещи от нашего общего знакомого, поэта и актёра «Синей блузы» Бориса Жезлова. Смысл этого жезловского повествования сводился к тому, что я «срезал нос» Колчаку.

Раз уж всё это появилось в печати, внесу для ясности некоторые дополнения в патетический рассказ Бориса Жезлова и в эпический пересказ этого рассказа Сергеем Марковым, да, кстати, упомяну и ещё о некоторых участниках всей этой истории и обстановке, в которой всё это происходило.

С Борисом Жезловым я познакомился ещё до революции, вероятно еще в 1916 году, когда его мать, Елена

Станиславовна, мамина сослуживица по переселенческому управлению, обитала ещё в полуподвале дома поблизости от Иртыша, и Борис, одинокий и беспризорный, отлеживался там после тифа. Мне сказали, что надо пойти и развлечь Бориса, коротавшего дни над книжками, и я пришёл.

Он, худой мальчик с обритою головой, лежал на кровати.

— Скучно тебе? — для начала спросил я.

— Нет, — ответил он, — ко мне приходит очень много посетителей.

— Кто?

— Да вот, например, Рокамболь, то и дело является и усаживается вон туда за стол!

И Борис показал на обеденный стол посредине комнатушки, заваленный горами книг из Казачьей библиотеки. Были тут и Дюма, и капитан Мариет, и Луи Буссенар, и в очень большом количестве действительно этот самый писатель, автор «Рокамболя» — Понсон дю Террайль, чьё двадцатитомное собрание сочинений нынче букинистами продаётся за две тысячи четыреста рублей!

— Да, — сказал я собеседнику «Рокамболя», — ты в приятном обществе проводишь время!

Но, в сущности, я не испытывал большой зависти к Борису. Меня мало интересовали Понсон дю Террайль, да и оба Дюма, как отец, так и сын. Читатели моих воспоминаний знают, в каком книжном окружении я выходил на рубеж Революции. Блок, Брюсов, Сологуб, Маяковский, Джек Лондон, Кнут Гамсун — вот что занимало моё, не по-детски пылкое, воображение, и мне кажется, что именно тогда в руки мои попала и эта книга, та самая, которой предстоит сыграть довольно значительную роль в данном рассказе.

Эта книга называлась «Золотые яблоки».

В этой книге, в «Золотых яблоках», я нашёл увлёкшие меня рассказы о жизни Франции накануне и во время Великой французской революции, о переживаниях французских аристократов, неких кавалеров и дам, чьи головы и головки полетели прочь с плеч, когда революция разразилась.

Десятилетний мальчик, живущий в глубоком сибирском тылу, но ясно ощущающий тяготы этой германской войны, я был смутно осведомлён и о возможности повторения революции: первая была в год моего рождения, о приближении новой всё настойчивей толковали кругом.

И вот она разразилась.

И выздоровевший к тому времени Борис Жезлов оповещал меня о том, как на новый лад надо петь «Марсельезу»:

Вставай, подымайся, рабочий народ,
Берите дубинки и бейте господ!

В эти дни, и вообще в семнадцатом — восемнадцатом году, слушая разговоры потрясенных событиями важных дам, залётных аристократок, торговавших на барахолке выцветшими шелками и облысевшими бархатами, я часто вспоминал о прелестных героинях «Золотых яблок».

И вот однажды мы с моим другом Колей Калмыковым купили в киоске книжонку, вернее — брошюру, с биографией адмирала.

Но прежде чем рассказать о том, как мы её прочли, я напомню читателю о Коле Калмыкове. Это был, пожалуй, единственный мой друг по гимназии.

Я помню, как в день вступительного экзамена на гимназическом дворе ко мне, полному и румяному, подскакал на одной ножке очень худенький мальчик со скрещенными на груди руками. Он подскакал, возможно, из любопытства — посмотреть, почему я такой румяный и толстый. Так он и остановился, созерцая со скрещенными руками и чуть склоненной головой. Казалось, эта встреча могла закончиться дракой, но она завершилась разговором о литературе. И отчетливо помню, как в конце концов он спросил:

— А ты читал «Флорентийские ночи» Гейне?

Оказалось, что я не читал.

Мы подружились с Колмыковым. Он познакомил меня со своими детскими стихами. Я его со своими. Мы, к ужа-

су его мамы, читали Уайльда, Ибсена и Йенсена, Теодора Амадея Гофмана и Гуго фон Гофмансталя.

И вот мы с Колей Калмыковым и купили ту брошюру, о которой я сказал выше.

Эта биография адмирала написана была, как мы сразу определили, ужасно льстиво и верноподданно. Не будучи поклонниками верховного правителя, мы наперебой отмечали пошлости и трюизмы этой агитки, и вдруг я понял, кто её написал. Разобрал и имя автора.

— Смотри! — сказал я. — Автор «Золотых яблок», неужели это он!

Калмыков тоже читал «Золотые яблоки».

— Как низко нужно пасть, чтоб после «Золотых яблок» написать такую книжонку!

Я сказал это, хотя мне не было и четырнадцати лет, сказал со знанием дела, с искренним убеждением, потому что понимал толк в литературе в каком-то смысле, может быть, даже и не хуже, а лучше, чем сейчас. Как свежи детские восприятия природы, так могут быть свежи и восприятия литературы, и не потому ли ученики младших классов как не любили прежде, так и не любят ныне всякой благочестивой чуши.

Калмыков, мне кажется, разделял мои чувства. Насколько мне помнится, уже в это время он написал свои стихи, заканчивающиеся словами:

Бокал мне с ядом кто-то дал,
Сказав небрежно: — «Это выпей!»
Едва ли бы всё оправдал
Такой мудрец, как мудрый Гиппий.

Итак, мы не разошлись во мнениях насчёт жалкой брошюрки, превозносившей верховного правителя.

Через несколько дней мы с Калмыковым решили покататься на лодке. Лодочная пристань была у мостков купален, как раз напротив особняка Батюшкина, резиденции адмирала. Мы взяли лодку и вышли на середину реки, на фарватер. В это время — откуда ни возьмись — на реке по-

явился глиссер, он пронёсся вдали от нас, но затем, развернувшись, пошёл нам навстречу.

— Давай срежем ему нос! — сказал я Калмыкову.

— Давай!

И мы пошли наперерез. Расчёт был точен. Я обладал достаточным глазомером, чтоб «срезать носы» пароходам. Глиссер, конечно, несся быстрее любой моторки, но мы проскочили как раз в самое время, причём я заметил на нём одного человека, стоявшего неподвижно в отличие от других, заругавшихся в рупор и грозивших нам кулаками. Мы, качнувшись на волне, пошли обратно к купальням, но и глиссер, сделав новый разворот, примчался туда же чуть раньше нас. Он причалил к мосткам, ближе к берегу, и когда мы, привязав лодку, пошли по этим мосткам, офицеры, спрыгнувшие с глиссера, почему-то вздумали помешать нам пройти. Но тогда человек, стоявший неподвижно, как и во время «срезания носа», вдруг усмехнулся и сказал:

— Пропустите господ гимназистов!

Я понял, что это был адмирал собственной персоной. Я узнал его по портрету на обложке той самой скверной брошюрки. И, внешне степенно, я прошёл мимо, внутренне ликуя, что теперь могу кой-кому рассказать о том, как «срезал нос» самому Колчаку.

А через некоторое время произошла и встреча с его биографом. Я шёл по улице с Георгием Владимировичем Масловым, вернее не шёл, а упирался, так как ему взбредилось затащить меня в редакцию «Сибирской речи», и я знал зачем. Для того чтобы продемонстрировать меня, гиперборейского вундеркинда, сочиняющего сонеты и баллады под северным сияньем. Я говорил, что всё равно стихов показывать не стану, и пока мы топтались у входа в редакцию, оттуда появились трое, один из которых, небольшого роста, желчный, в шинели, показался мне особенно несимпатичным.

— Познакомьтесь! — сказал Маслов.

Я не могу описать чувство неловкости, чуть ли не стыда, от той неприязни, которую я испытал. Должно быть, мой взгляд был настолько красноречив, что и Ауслендер — ав-

тор «Золотых яблок» — не смог скрыть своего ответного, порождённого моим, недоброжелательства. Так мы посмотрели друг на друга, как недруг на недруга.

— Что Вы окрысились? — спросил меня Маслов.

— «Золотые яблоки»! — ответил я злобно.

— Ну и что же?

— Биограф!

— Нет, Вы неисправимы! — сказал Маслов.

О Маслове я расскажу позднее. Что же касается Сергея Ауслендера, то недавно я прочёл в одном далеко не бездарном повествовании о прошлых днях: Ауслендер — придворный летописец адмирала Колчака — публиковал в газетных подвалах бульварные романы с лёгким налётом мистики. Придворный летописец — увы, да! А бульварные романы?! Повторяю: «Золотые яблоки» — пронзительная книга, чья ретроспекция была направлена в недалёкое смутно предрекаемое будущее. Пьеса Ауслендера «Ставка князя Матвея», поставленная у Незлобина, обошла затем всю Россию. И, между прочим, есть в этой пьесе как бы идущая от автора, как бы автобиографически-горькая реплика героя о том, что есть в человеке нечто, толкающее на низкие, неблаговидные поступки. Может быть, это сказано в предчувствии собственной льстивой брошюры о Колчаке. Словом, бог судья Сергею Абрамовичу Ауслендеру, петербуржанину, сыну сосланного в Сибирь народовольца, племяннику поэта Михаила Кузмина, писателю, выпустившему, кстати сказать, уже позже, при советской власти, ряд детских книг.

А что касается бульварных романов Ауслендера, я их не читал, не знаю. И знаю одно: нельзя бездоказательно и безапелляционно говорить о том, чего не знаешь досконально. В свете данного повествования это относится главным образом к рассказу фантастического собеседника «Рокамболя», приятеля моей юности Бориса Жезлова о том, что вслед за тем, как я «срезал нос» Колчаку, моя шлюпка была взята на абордаж адмиралом.

Нет, чего не было, того не было!

## ДОМИК НА КОЛЁСАХ

Не знаю, справлюсь ли я с этим нехитрым рассказом о некоторых событиях 1920 года, в котором как будто бы ничего особенного со мной и не случилось, но, тем не менее, были задуманы и начерно написаны те стихи, которые перепечатываются теперь, через пятьдесят лет, в моих сборниках.

Надо помнить, что мне шёл тогда только пятнадцатый год и все довольно грандиозные события минувшей осени — крах колчаковщины, эвакуацию человеческих толп, озаренную пламенем взрывающихся пороховых погребов на Московке, вступление 5-й армии — я воспринял всё-таки не вполне по-взрослому. Казалось бы, мне оставалось только радоваться, что война кончилась, что Омск перестал быть колчаковской столицей, что меня никто уж не заманивает в бойскауты и я могу себе спокойно ходить в свой четвертый класс гимназии, переименованной в советскую среднюю школу. Но, с другой стороны, отец лежал в тифе, мама работала с утра до вечера в Губздраве. Бабушке Баде было трудно управляться с мечущимся в бреду отцом, и я как-то естественно перестал посещать школу, помогая бабушке топить железную печку, кипятить на ней чайник, принося с водокачки воду. Между этими занятиями урывками я писал и рисовал, а главным образом читал газеты и книги, хлынувшие из Москвы. Я даже пытался писать в газеты заметки об этих книгах — о Есенине и Маяковском, надеясь соединить приятное с полезным и подработать малую толику денег, которых, естественно, в семье не хватало...

Так прошла весна, отец выздоровел, но был еще слаб от тифозных осложнений, и помню, мы с ним применили к делу мою страсть к рисованию. В огромном городе не оказалось флагов, которые было предложено вывесить к 1 Мая всем домовладельцам. Флагов не было, но кумач и золотая клеевая краска имелись, был сделан трафарет, я с увлечением работал кистью, и мы с отцом создали и продали порядоч-

ным людям что-то около сотни наших флагов, если не больше. Это не было спекуляцией, гешефтом — в городе не было флагов — и для меня изготовление флагов было эстетически оправданным творческим трудом. Конечно, было бы ещё приятнее получать гонорары за критико-библиографические статьи и заметки, но я ещё стеснялся часто приносить их в редакцию, не будучи уверен в своих силах. Это я хорошо помню. И сейчас, когда я пишу эти строки, я вспоминаю: на какие же средства я поехал в Красноярск, когда получил оттуда письмецо Евгения Иванова? На какие деньги я купил билет? Да ведь всё было очень просто: я не покупал билета. Проезд был ещё даровой, требовался только пропуск и, кажется, командировочное удостоверение. Точно не помню, но, видимо, я получил всё это через посредство Оленича-Гнененко. Словом, помню себя, едущим в Красноярск — зачем? Затем, чтоб выслушать от почти неизвестного мне чернявого грустного человека рассказ о том, как его друг Жора Маслов, с которым они вместе добежали до Красноярска, умирая там от тифа, дал ему мой адрес, прося написать, сообщить о его судьбе мне, Леониду Мартынову. Вот и всё. Я помню, как мы читали последние стихи Георгия Маслова, в том числе «Беженку» о несчастной эвакуантке, бредущей пешком по рельсовому пути на восток. Затем я распрощался с Евгением Филиппычем, уже советским журналистом, ушёл от него, потому что спать у него было негде, перекочевал за Енисей и переночевал там за Енисеем у старых железнодорожников, знакомых моего отца, а на следующий день, полюбовавшись на холодные Саяны, по склонам которых цвели ирисы, поехал обратно. Мне было пятнадцать! Все казалось в порядке вещей! Пропуска, удостоверения, запреты, кордоны не имели никакой власти надо мною, не мешая моей творческой натуре формироваться так, как она формировалась. То есть, конечно, я говорю вздор: именно всё это и формировало мою творческую судьбу так, как она затем и сложилась. И я думаю, что вполне закономерно произошла затем, когда я уже возвратился из Красноярска, моя встреча с Таней Соловьёвой.

Эта встреча произошла на шатких досках тротуара возле ряда китайских лавчонок, лепившихся к деревянному вокзальчику городской ветки. Таня была хрупка и миловидна. Годом раньше меня с Таней случайно познакомил на улице некто иной, как Георгий Владимирович, сказав ей, что я славный мальчик, а мне, что она — славная девушка, дочь директора гимназии минской или, уж я не помню, смоленской, беженка и бедняжка.

Беженка! Только что в Красноярске я читал предсмертное стихотворение Маслова «Беженка»: «Скорбно сдвинут ротик маленький, вы идёте, взор потупив, не к лицу вам эти валенки и неловки вы в тулупе». И вот теперь, подумал я, Георгия Маслова нет, а героиня его стихов, беженка, но теперь вовсе уж не в тулупе и валенках, а по летнему времени в легком кисейном платьице, улыбающаяся, встретилась со мной уже в другом мире, у прилавка китайской лавчонки. Таня сразу узнала меня и сказала, чтоб я проводил её домой, добавив, что это поблизости.

И действительно это было почти рядом, на подъездных путях к вокзальчику ветки. Дом оказался на колёсах, то есть теплушкой. В дверях стояла дама, как выяснилось, тетка Тани, Оксана. Почему они жили в теплушке? Потому ли, что собирались эвакуироваться, да так и остались в наследство Пятой армии, вместе с Омском, или же по какой другой причине, я так и не узнал. Во всяком случае, в теплушке было уютно, на столике лежали фунтики пайка, что свидетельствовало о принадлежности обитательниц теплушки к числу советских служащих. Выслушав моё сообщение о гибели нашего общего знакомого Георгия Владимировича, Таня опустила голову, помолчала, затем сказала: «Он презирал их всех, и на балу, на последнем балу, от презрения к их дамам, он танцевал с собакой и даже не со мной! И после этого вынула из кошелька вроде как бы аптекарский порошок. Это был кокаин, который, как оказалось, она и покупала у китайцев, когда мы встретились.

Если мои будущие читатели ожидают найти в нижеследующих строках рассказ о моём падении, то они ошибут-

ся. Кокаин на меня никак не подействовал, и разве что мне только понравился его едва ощутимый холодный запах. Да и случался этот порошок у моих знакомых нечасто — Таня с Оксаной отнюдь не были богачками, не имели, как я понимаю, фамильных ценностей или нетрудовых доходов. И однажды, когда я из чувства товарищества выменял у своего приятеля студента медика Серафима на нижнюю рубаху грамм кокаина, принёс его в теплушку, мне было сказано: «Не смей!» Мне напомнили, что я ещё мальчик, что денег у меня нет и что хоть я и хвастаюсь своими литературными заработками, но рубаха, которую я спустил с себя, в сущности, не моя, а родительская и что я должен не приносить подарки, а моё дело читать стихи, и только за это они меня и любят. И я действительно читал им наизусть Блока, Гумилёва, Ахматову, Кузмина, Сологуба, а также, несмотря на некоторое сопротивление моих слушательниц — и Есенина, и Маяковского, и Каменского, и Бурлюка. И, как я теперь понимаю, и меня привлекало в эту теплушку не что иное, как возможность иметь слушательниц для стихов. Я заменял им книги, которых им не хватало, заменял книги и не больше. Такие ситуации иногда возможны. Мне было пятнадцать, Тане — вроде как восемнадцать, Оксане не больше двадцати пяти, как мне кажется. И в общем, если бы не их привычка к перуанскому зелью, вся обстановка свидетельствовала об их порядочности и моей невинности.

И если говорить о моей невинности, то угроза ей появилась совсем с другой стороны. Как я уже упомянул, в число моих прямых должностных обязанностей входило таскать воду с водокачки на Новой улице. И вот, проходя однажды мимо одного из домов, я заметил устремленный на меня взгляд некоего черноглазого курчавого существа. Я сознавал, что выгляжу неплохо, во всяком случае — старше своего возраста и, пятнадцатилетний, похож, по крайней мере, на восемнадцатилетнего. И вскоре я познакомился с этой девушкой, вернее она со мной. Я выяснил, что её не интересует ни Блок, ни Маяковский, а ей просто нравится гулять со мной под руку по вечерам и, как она говорила, лучше всего

при лунном свете. Ей было лет семнадцать, я думаю. Когда я встретился с Таней, то стал видеться с этой черноглазой соседкой гораздо реже и, как выяснилось, она заходила и спрашивала, где же я пропадаю. Но потом случилось, что однажды вечером я пошёл в домик на колесах, а Тани не оказалось дома, а Оксана лежала с мигренью, а когда я пришёл в другой раз, то не застал ни той ни другой. И так случаться стало всё чаще и чаще. И однажды вечером, когда я возвращался с вокзальных путей, размышляя о том, что, должно быть, у Тани с Оксаной завелись новые знакомства, что этим беженкам, всё глубже входящим в новый советский быт, теперь не до меня, — возвращаясь в таком настроении, я заметил, что моя черноглазая знакомка сидит на крылечке, очевидно, ожидая моего появления, моего возвращенья.

Был поздний вечер. Поздний и очень тёплый, и очень тёмный из-за обилия громоздящихся на северо-западе грозовых туч. Доносились раскаты грома.

— А это не канонада? — сказала мне девушка. — Помнишь, как рвало пороховые погреба на Московке.

Конечно, я помнил. Как мне было не помнить? Разве не я написал эти строки:

И лес лилов, и снег был розов,
И розовая ночь была,
И с отступающих обозов
Валились мёртвые тела.
За взрывом взрыв на поле боя
Взлетал соперником луне...

Но я не стал читать девушке эти стихи, я знал, что стихи её не интересуют. Я только сказал ей:

— Нет, это гроза. А белые не возвратятся. Это всё ерунда! Разговоры! Ты должна понять: Революция победила…

И тут я произнёс целую речь. Я рассказал ей, как ещё совсем младенцем прочёл на гардеробе «Рассказ о семи повешенных» Леонида Андреева, как в фойе кино «Гигант» ад-

вокат Голуб рассказывал отцу об убийстве Распутина и как я радовался приближению революции, чтоб скинуть гимназический мундирчик! И уже более сбивчиво я рассказал о том, что было дальше, словом, я выкладывал ей всё то, о чём ни слова не говорил моим слушательницам в домике на колёсах, этим милым беженкам, которые любили Блока и Сологуба и которые сами знали, что такое Революция.

Но когда я начал объяснять, что такое Революция, я заметил, что моя черноглазая соседка откровенно скучает.

— Пойдём! — сказала она нетерпеливо. — Пойдём, погуляем на Казачье кладбище! — И подхватила меня под руку. — Пошли!

И мы пошли туда, где за неглубоким рвом в рощице под сенью берёз покоились казачьи атаманы, чиновники степного генерал-губернаторства, гуртоправы, фабриканты, купцы, интеллигенты и мещане старого Омска. На аллеях кладбища было пусто, и моя спутница, сказав, что на дорожках страшно, увлекла меня в заросли жимолости и бузины.

— Посидим на скамейке, вот у этой могилки! — сказала она. — И довольно болтать, помолчим.

И я понял, что всё то, что я ей так горячо рассказывал о себе и о Революции, ей совершенно чуждо. «Довольно болтать» — Я ей раскрываю суть, а она: — «Довольно болтать!».

И я рассердился. Хорошо же! — подумал я. — Раз тебе, мещанке, не дороги судьбы России, судьбы Революции, посмотрим, дорог ли тебе я, которого ты тянешь гулять под руку!

И, сев на скамейку, я сделал вид, что умираю, то есть я поник, откинул голову и замер неподвижно, ожидая, что будет дальше. Как и следовало ожидать, она спросила, что со мной, затормошила меня, кажется, даже заплакала, но то, что произошло вслед за этим, было превыше всех моих ожиданий. Она вскочила на ноги и, не глядя на меня, неподвижного и как бы бездыханного, побежала прочь. Она выбежала на аллею и устремилась к кладбищенским воротам. Вскочив, я последовал за ней, стараясь скрываться в тени кустов. Но она не забежала в сторожку, чтоб разбудить сторожа, а ринулась через ворота кладбища прямо на

свою Новую улицу. Я еле поспевал следом, чтоб убедиться, что она добежала до калитки своего дома. Дверца калитки хлопнула, затем хлопнула дверь дома.

Я тоже пошёл восвояси, взволнованный тем, что натворил. Ну, теперь начнётся! — думал я. — Сейчас прибегут, зашумят. Нет, я не войду в дом, встречу их на улице!

Но прошло пять, десять, пятнадцать минут, прошло полчаса, а никто не появился. Я пробрался домой и лёг в постель, но долго не спал в эту ночь. Никто не потревожил моего трепетного покоя, никто не разбудил моих родителей.

Никаких отзвуков ночного происшествия не прозвучало и наутро и вообще на следующий день, будто ничего и не случилось, и никто не побеспокоился о моей судьбе. И, естественно, уязвленный всем этим, под вечер я отправился в гости к Тане с Оксаной, надеясь, что там найду больше внимания к своей особе. Но, войдя в мир запасных путей за вокзалом городской ветки, я убедился, что домика на колёсах там больше нет. То есть в том тупике, где стояла гостеприимная теплушка, теперь было пусто. Вагончик был уведён. Куда? Я и не попытался узнавать об этом, мне всё-таки было всего-навсего пятнадцать лет. Потрясённый, озадаченный, пошёл я к Антону Сорокину и просидел у него целый вечер, будто слушая его разглагольствования о литературе, а на самом деле вновь и вновь вспоминая во всех подробностях всё, что со мной приключилось в тот день и накануне, и ещё раньше, и ещё-ещё раньше.

Едва ли я ошибусь, сказав, что именно в это время и возник у меня в сознании замысел первой моей поэмы…

В наше время, на шестидесятом году Революции, принято с величайшей почтительностью говорить о преемственности, о бережном отношении к наследию классиков, о следовании добрым, лучшим традициям старины. Но я, начинавший свой творческий путь чуть ли не с первых дней Революции, начинал его, как и полагается в революционные времена, не с подражания, а с возражения, лучшим свидетельством чего и является она, эта моя первая поэма «Арлекинада», поэма, кстати сказать, забытая мною настолько крепко, что не

вспомнилась бы и нынче, если б дружеская рука не возвратила мне более чем через полвека эти двенадцать пожелтевших листков продолговатой машинописи.

Воспоминаньем дорогая
Заплеванная панель.
Здесь я провёл, стихи слагая,
Четырнадцатый свой апрель…

Вот как начиналась эта поэма, завершённая в 1922 году, когда мне, семнадцатилетнему, события трехлетней давности казались уже далеким и глубоким прошлым. Так пятилетний ребёнок вспоминает: «Это было давным-давно, когда мне было ещё только четыре года!»

Да, разумеется, в этой поэме было очень много чисто детской непосредственности. Но зачем же при этом в «Арлекинаде» было столь много заведомой и легко видной со стороны — о нет, не неправды, но явной выдумки, выдумки, можно было бы сказать — нахальной, если бы она не была столь лирично и элегично детской!

Начать хотя бы с того, зачем мне понадобилось повествовать о том, как с заплеванной панели я якобы «по лестнице, насквозь пропрелой, в подвал спускался, пиво пил и пальцем по клеёнке белой карикатуры выводил?» Ведь в действительности я ни разу не побывал в этом артистическом подвальчике на 1 Взвозе, в «Берлоге», ни летом 1919 года, ни осенью «когда перед приходом красных в кромешной мгле метельных дней туда пришёл Георгий Маслов сказать о гибели своей». И никогда ни на кого я не выводил никаких карикатур — разве можно назвать карикатурой весьма реально нарисованный образ героини этой моей поэмы — милой девушки Тани: «Короткий умик гибче тела, она была такой, как все, и в Революции вертелась подобно белке в колесе» — эта несчастная беженка…

Но почему же тогда столь мирное с ней, с этой Таней, знакомство (читатель помнит, я говорил: Георгий Владимирович познакомил нас на улице, чуть ли не у лотка мороженщи-

ка), почему ж это мирное знакомство обернулось в моей поэме жуткой романтикой, повестью о том, будто я подобрал раненую и оглушённую Таню на булыжной мостовой после ужасного, действительно имевшего место в 1919 году, взрыва эшелона с артиллерийскими снарядами возле здания Сибопса (Сибирского округа путей сообщения)! Затем я будто бы повёз истекающую кровью девушку к себе? Куда к себе? Ведь я жил с родителями! Затем далее, весьма туманно, отнюдь не задевая её девической чести, я написал о каком-то нашем дальнейшем сближении, о каком-то охлаждении, разочаровании и, наконец, о нашем разрыве?!

А всё затем, что, сочиняя поэму эту, я захотел воплотиться в другого человека! Подобно тому, как я порешил прикинуться мёртвым, чтоб проверить истинное отношение к себе черноглазой девушки на Казачьем кладбище ночью, на этот раз, вспоминая об исчезнувшей с моего горизонта Тане, я решил воплотиться в того человека, действительно уже мёртвого, и как бы вернуть к жизни этого покойника, этого погибшего моего друга, который познакомил меня с Таней, сам познакомившись с ней так, как я приписал себе в поэме, о которой идёт речь.

Это он, а не я поднял Таню, оглушённую взрывом. Это он и рассказывал мне, как и о многом другом, о чём мы говорили то дружно, то спорили... Словом, в своей поэме я решил воплотиться в Георгия Маслова для того, чтобы как бы воскресить его и продолжить этот наш с ним неоконченный спор — спор четырнадцатилетнего с двадцатичетырехлетним.

Ведь это он, столь романтически познакомившийся с Таней, джентльменски отвезший на извозчике ее в больницу, в дальнейшем снисходительно ухаживавший за ней, думая, вероятно, о совсем других женщинах, — именно он, Георгий Маслов, симбирский гимназист, затем петроградский студент-филолог, обещающий пушкинист, молодой поэт, не поладивший с революционной действительностью и потому оказавшийся в стане Колчака, — он тут вообразил себя не кем иным, как сосланным в Сибирь декабристом! Да, именно декабристом! Ведь это он написал:

Помнишь, Лена, первый вальс на бале?
Мы кружились до потери сил.
И архивны юноши сказали,
Что тебя я, верно, покорил.
Но бокалы до краёв напенив,
Увели меня с собой друзья.
Александр Иванович Тургенев,
Улыбаясь, заменил меня…
Как же, Лена, ты, которой в мире
Чудились лишь балы и цветы,
Хочешь кончить в ледяной Сибири
Жизнь со мной средь горькой нищеты?
Отказать тебе я не сумею…

Как я издевался над ним по этому случаю. Сохраняя внешнее приличие, помню, я с ледяным спокойствием спросил его, не путает ли он двух Анненковых: декабриста и атамана? Не рискует ли он превратиться из Муравьёва, которого вешают, в Муравьёва, который вешает? Всё это я выкладывал ему с дерзостью подростка, знающего, что старшие, внешне хмурясь, тайно любуются его наглостью. Мне кажется, что я с моими познаниями в поэзии и с моей независимостью был единственным утешением ему и в какой-то мере его совестью. Я высказывал, например, прямо ему в глаза, что я думаю о его антикоммунистической поэмке «Кольцо»: печатаясь в заборном листке (так я называю фронтовую газету «Вперёд») легко угодить на фонарь, на самый вульгарный омский фонарь, вместо того чтоб благополучно очутиться где-нибудь в Иокогаме или, уехав на Филиппины, бродить по дорогам с босяками и продавать апельсины.

Разыщут ли Вас эти строки
В стране изгнанья и разлук,
В Чите или Владивостоке,
Мой нежный, мой прекрасный друг… —

писал он в посвящении к поэме «Аврора». Посвящённой кому? Об этом, пожалуй, мог знать лишь Юрий Тынянов, под чьей редакцией эта поэма всё-таки вышла через год-другой в петроградском издательстве «Картонный Домик». А в моём смутном сознании это посвящение обратилось не к кому-нибудь, а к нашей с Георгием Владимировичем общей знакомой Тане:

А может быть, и по Светланке,
Где рикш пугает звонкий трам,
Подобно знатной иностранке
Пройдёте Вы по вечерам.
И спросят Вас: — Откуда, леди,
Пожаловали Вы сюда?
— Я из Сибири. Там медведи
Бросаются на поезда.

Так и возникла эта поэма, которую можно было бы назвать поэмой-пародией, если бы она не была поэмой-элегией, поэмой, которая могла бы быть поэмой лирической, если бы не была поэмой исторической, и вообще бы могла быть очень цельной поэмой, если бы не была только лишь всего-навсего дерзко-мальчишеской пробой пера, — эта поэма «Арлекинада», в которой я видел, как через «омский пыльный май киргиз трясётся, жёлт и глянцев, его узорный малахай экзотика для иностранцев, а на уступах стен скорбят России жёны в пёстрых сарафанах»; а тем временем с кинематографической быстротой проносится безумное лето и наступает тот ноябрь, когда «неяркий снег лежал в равнинах, а в городе он был багров, и, путаясь в одеждах длинных, толпа крикливых арлекинов выматывалась из дворов», и среди этих арлекинов, увы, как самый исконнейший персонаж блоковского балаганчика, как самый глупый Пьеро — мой старший друг Георгий Маслов!

...Когда я привёз «Арлекинаду» в «Сибирские огни», друзья мои в редакции, читая поэму, изрядно потешались.

«Подумаешь, какой герой! Ведь ты пишешь о своём романе от первого лица. Чудак, кто тебе поверит?»

Вивиан же Итин сказал просто:

— Представь себе, я тоже знал Георгия Маслова. По Петрограду. Мы встретились у Рейснеров. Ну, Лариса Рейснер, её отец профессор Рейснер, их журнал «Рудин» и прочее! Что, ты разве не знаешь, как сходятся и расходятся пути. Но обо всём этом поговорим когда-нибудь после, — добавил он, — а что касается поэмы, так, по-моему, надо сделать её более гражданской, а всю эту лирическую фантастику убери, она может вызвать и недоумения и недоразумения! Да и вообще такое никто не напечатает!..

Я убрал фантастику, и поэма была напечатана в «Сибирских огнях» под названием «Адмиральский час». Но недоразумения, связанные не с «Адмиральским часом», а с первым вариантом поэмы, то есть с «Арлекинадой», всё-таки потом возникали: по моим следам похаживали слухи о какой-то ни с чем не сообразной поэме, составляя обо мне не совсем верное, если не совсем неверное представление, как о четырнадцатилетнем-двадцатичетырехлетнем герое-любовнике.

Однако всё это было уже гораздо позже, а в те дни, вернее, до тех пор, я в ожидании, когда напечатают «Адмиральский час», разгуливал по старому Омску.

## О ПАВЛЕ ВАСИЛЬЕВЕ

Предыдущую главу я закончил рассказом о том, как на Алтае меня чуть не застрелил бывший щетинкинский партизан, приняв за убийцу Лермонтова*. После Риддерских рудников на Алтае я, кажется, посетил город Каинск в Барабинской степи, изучая возможность соединения кана-

* См. новеллу «Какой-то змий» в Собрании сочинений в 3-х т. Т.3. С. 213 // М., «Художественная литература», 1977.

лом Оби с Иртышом. Вслед за этим ездил в тарские урманы выяснять причину лесных пожаров. Об этом я рассказал в очерках или новеллах, напечатанных впоследствии в журнале «Красная Новь». Но куда бы я ни ездил, а отдыхать и приводить в порядок записи возвращался тогда, в двадцатые годы, в родительский дом и в общество никогда не выезжавшего из Омска Антона Сорокина.

И вот однажды Антон Сорокин сообщил мне, что к нему накануне приходили два поэта, причём один из них его земляк павлодарец Павел Васильев. Сын почтенного педагога, учителя математики и, кажется, большой хулиган. «Он саморекламист не хуже меня! — одобрительно сказал Антон Сорокин. — Вот Вы услышите, как он роскошно самохвальствует!» Про другого поэта Антон Семёнович не мог сказать ничего определённого, он даже забыл, как его звать, но это был Коля Титов, колыванский жокей.

На следующий день Пашка и Колька явились ко мне.

— Не пойти ли нам ради первого знакомства в «Золотой Рог»? — сказал Васильев. — Я расскажу там о настоящем «Золотом Роге», ведь мы с Колькой только что из Владивостока.

И мы пошли в «Золотой Рог», подвальный кабачок возле пристаней, посещаемый главным образом иртышскими речниками и моряками Комсевернути и Убекосибири, то есть полярниками, чьи судёнышки поднимались на зимовку до Омска. Дело было летом, полярников в кабаке в тот день и час не было, за столиками сидели почтенные иртышские капитаны.

Павел Васильев быстро охмелел и начал громко читать стихи. Один из капитанов миролюбиво сказал ему: «Ну, чего ты орёшь, декламируй спокойней!» — и Васильев сразу же полез в драку. Мне стало нестерпимо стыдно, капитаны были хорошими, и, кажется, даже знакомыми мне людьми, как журналист я знал почти всех их, по крайней мере, в лицо. Я быстро прекратил распрю и с помощью миролюбивого Кольки Титова увёл Пашку из кабака. «Пойдёмте купаться,

кататься на лодке», — сказал я, чтоб отрезвить Пашку, и через десять минут мы оказались на речном берегу у домика бакенщика мадьяра Николая.

Это был добрый мой знакомый, из военнопленных, остеррайх-кригсгефаненеров германской войны, оставшийся в Омске, женившийся и осевший на берегу близ батюшкинского особняка, бывшей ставки адмирала Колчака, в котором в те времена обитали какие-то детские ясли. Николай обслуживал плёс, мастерил лодки тоболки и хорошо говорил по-русски. Был ли он действительно венгром или был словаком, я не знаю, но он славно пел венгерские песни и был известен на берегу под именем мадьяра Николая.

Он давал мне лодку без отказа и днём и ночью в любую погоду, знал, что я не подведу, не сломаю вёсла, не сцарапаю покраски. Одинаково охотно он предоставлял мне тоболки, когда я приходил с какими-нибудь девушками, чтоб ехать на острова в лунную ночь и когда я приходил один в ветреную погоду, чтоб побороться с волнами, встающими против течения. Тогда вместо пассажирки, чтоб загрузить корму, я брал с собой тяжеленный камень. И на этот раз при виде пьяных моих спутников мадьяр Николай не моргнул глазом. Я усадил Пашку с Колькой в лодку, погрёб на острова, заросшие талом. Мы купались, мои спутники протрезвились, потом возвратились обратно, и, помню, Пашка и Колька были в особенном восторге, когда мы проплывали мимо женского пляжа, и я сверхосторожно орудовал вёслами, чтоб невзначай не задеть купающихся девчонок.

Вот с этого-то и начался мой конфликт с Пашкой. То есть мы расстались и не виделись несколько дней. Но потом, когда я зашёл к мадьяру Николаю, он сказал мне:

— А те твои приятели ко мне повадились. Лодку берут и крутятся там, у женского пляжа за Яхт-клубом. А вчера я им лодку не дал, так они целый день торчали на берегу, знаешь, у дамбы, под тем большим домом. — И он указал пальцем на этот дом. — Видишь, и сейчас они там.

— Ты правильно сделал, что не дал им лодки, — сказал я, — и впредь не давай. Я за них не ручаюсь, ещё опрокинутся и

опустят твою лодку. — И пошёл посмотреть, там ли действительно Пашка и Колька. Мне захотелось поговорить с ними о литературе, о новосибирских делах, ведь оба, перед тем как объявиться в Омске, заезжали в Новосибирск, а в прошлый раз с ними пьяными я не успел потолковать ни о чём толком. Но, увидев их около дамбы, задирающими головы ввысь, я догадался, что они слоняются там не без цели и эта цель, я понял, довольно гнусна. Они выманивали из дома над обрывом двух маленьких девочек, лет одиннадцати-двенадцати.

— Эй, вы, — закричал я, — проваливайте отсюда! Только этого ещё не хватало!

— А тебе какое дело? — спросил Пашка. — Ты что, сам на них облизываешься, что ли?

Но, тем не менее, они ушли.

Как, я думаю, понятно из всех предыдущих глав этого повествования, я всегда был нервным, если не мнительным мальчиком, подростком, юношей, молодым человеком. И в данном случае самые мрачные мысли охватили меня. К тому же я был уже смутно наслышан о характере Пашки. Да и из его отрывочных фраз, жестов и даже телодвижений было ясно, что он плохой товарищ одиннадцатилетним девочкам. Словом, я совершенно сознательно взял на себя роль блюстителя нравственности и решил во что бы то ни стало воспрепятствовать знакомству моих соратников по перу с малолетними обитательницами дома над Иртышом. Я понял, что это вроде как безнадзорные девочки, родители их, видимо занятые днём на работе, не присматривали за ними. Это я выяснил, устроив чуть ли не постоянное наблюдение за домом, благо это не составляло для меня большого труда, я в эти жаркие дни часами валялся на соседнем пляже, если можно было назвать пляжем довольно захламлённый участок берега между Волковской и Перевозными улицами. И вот вскоре я выследил то, чего опасался. К дамбе пристала лодка с Пашкой и Колькой. Они сделали знак и девчонки, спустившись с обрыва, сели в их лодку. Значит-таки сговорились!

Не теряя ни минуты, я бросился к мадьяру Николаю.

— Ты дал моим знакомым лодку?

— Нет, я не давал.

— Значит, взяли не у тебя. Давай лодку.

И вскочив в тоболку, я устремился в погоню за Пашкиной лодкой, уходящей к островам. Я быстро нагнал эту лодку, в ней было как-никак четверо, а я один, да и грёб я как следует, лодка моя прямо летела.

— Куда вы везёте девчонок, — закричал я, нагоняя их лодку.

— Куда хотим, туда и везём! — с диким смехом ответил Пашка.

— Поворачивайте, ссадите девчонок откуда взяли. Покатались, и хватит, — закричал я.

— Отстань, не то протараню, — ответил Павел. Колька склонился над кормовым веслом, а девчонки, раскрыв рты и держась руками за борта лодки, растерянно слушали наши крики.

Я не знаю, чем бы это кончилось, если бы вдруг я не заметил приближающейся к нам лодки. Это нагонял нас мадьяр Николай. Он, как потом он мне рассказывал, сразу сообразил, что случилось, и решил как бакенщик, то есть владелец плёса, на всякий случай последовать за мной. Мадьяр Николай молча, но внушительно показал, на чьей он стороне в этой речной битве, грозящей кончиться абордажем.

— Девочки, домой! — воскликнул я.

— Домой, домой, девочки, — закричал и мадьяр Николай. — Вот я папе и маме скажу, я их знаю.

И Пашка нехотя погнал лодку к городскому берегу.

И когда уже Пашка хмуро высадил девочек около их дома, помню, у нас произошёл такой разговор.

— Ты дурак, Лёня, — сказал Павел.

— Дурак не дурак, но если ты ещё будешь к ним приставать, я усажу тебя в сумасшедший дом, — ответил я.

— Знаешь, Лёня, прежде чем ты засадишь меня в сумасшедший дом, я засажу тебя кой-куда подальше, — возразил Пашка.

На этом мы и расстались, потому что я не видел их больше до их отъезда, а уехали они в Новосибирск через не-

сколько дней. И через некоторое время до меня дошёл слух о грандиозном их дебоше, учинённом в тамошнем театре или каком-то клубе. Будто бы когда буфетчик отказался подавать им ещё, они стали крушить всё вокруг, и, когда Кольку уже выволакивали с лестницы, он вопил ещё бушующему в буфете Пашке:

— Паша, успевай доламывать кактусы!

Рассказывающие добавляли при этом, что никаких кактусов там не было, а разве только обыкновенные цветы либо традиционные фикусы в кадушках. Но Антон Сорокин разъяснил, в чём тут дело, почему — кактусы. Оказывается, перед отъездом поэты зашли к нему и стали жаловаться на меня, говоря, что я взял на себя роль ментора, помешал их знакомству с девушками и так далее. А при этом присутствовал старик Сорокин, вообще часто заходивший к любимому своему сыну Антоше. Старик хорошо знал меня, да, видимо, неплохо понял и сущность Пашки и поэтому, не желая, чтобы при разговоре присутствовала жена Антона Сорокина Валентина Михайловна, завёл Пашку и Кольку в свои покои и там начал отчитывать их со всей яростью, свойственной ему как толстовцу. «Вот вы хулиганите, безобразничаете, пьёте, — вопил он, наступая на Пашку и Кольку и брызжа на них слюной, — пьёте, развратничаете! Свинья и та абортов не делает, а человек делает! — кричал он любимое своё изречение. Пашка и Колька, пятясь, отступали от старика, причём Колька накололся на кактусы, именно на кактусы, которые имелись в покоях старика в громадном количестве, загромождая подоконники и столы, — он был коллекционером и любителем кактусов.

— Вот, — говорил Антон Сорокин, — почему поэт Николай Титов кричал: «Паша, успевай доламывать кактусы!» Это всё мой отец со своим непротивлением злу! А поэт Титов — юноша впечатлительный и нежный.

И действительно, Коля Титов, бывший жокей, тихий мальчик из Колывани, стал спутником Пашки скорее по своей доброте и слабохарактерности, чем из любви к приключениям. Коля Титов скоро отстал от Пашки, женился, осел в Новосибирске. Правда, он кончил печально, застрелившись

из охотничьего ружья в Алма-Ате, но это было много позже гибели Пашки, и я не знаю, по каким причинам.

А Павла Васильева я встретил уже в самом конце двадцатых годов в Москве. Когда именно, я не помню, но наверно знаю, что это было ещё до тех пор, пока он получил широкое признание. Потому что я помню, что он ещё жил в подвале большого дома между Мясницкими и Сретенскими воротами и тоже хвастался, что живёт одновременно с хозяйкой и её дочерьми. И помню наш, относящийся к этому времени, второй серьёзный и даже, можно сказать, знаменательный разговор. Мы шли по Никольской, я, Пашка и кто-то ещё, чуть ли не Сережа Марков, но я не утверждаю, что он именно. Пашка разглагольствовал, что ему надоело жить с кем попало и что через год, а самое большее через два, он наконец добьётся настоящей известности и денег, не случайных гонораров, а настоящих денег.

— Ещё не поздно поступить в комсомол, — кричал он.

— Тебя не примут, а примут, так выгонят! — заметил я.

— Женюсь, — закричал он в ответ. — На такой, которая со связями!

— Несчастной будет та, кто решится выйти за тебя замуж! — возразил я.

— Я знаю твоё мнение обо мне. И не забыл я твоей угрозы засадить меня в сумасшедший дом. Но помяни моё слово, через год-другой я буду знаменит, а ты, как бы талантлив ты, Лёня, ни был, ты…

— Что я?

Но он не ответил. В это время мы уж выходили с Никольской на Лубянскую площадь, откуда разошлись в разные стороны — он, кажется, пошёл в свой подвал на Сретенском бульваре, а я на Солянку в газету «Труд», где работал заместителем редактора симпатизирующий мне Матвей Гиндин.

Мне хорошо запомнился этот второй разговор с Пашкой. Не потому, что я был уязвлён им. Не произвело на меня особенного впечатления и это его: «Я буду знаменит, а ты…» Я понимал так: он пробьётся, а я не пробьюсь. Нет, как это

не глупо, меня волновало другое: судьбы его будущих жён. Неужели, думал я, найдутся такие простушки, которые свяжут свою судьбу с таким пакостником и циником, как Пашка. Этот разговор, эта встреча, смешно сказать, дико взволновали меня. Негодяй! Он ищет жену со связями! Мне просто не хотелось на него глядеть, и я старался избежать новых встреч с ним, где бы то ни было. Мне казалось, что если встречусь с ним в какой-нибудь редакции, то он обязательно ляпнет при женщинах какую-нибудь сальность, и ответственность за это ляжет как бы и на меня: сибиряки! Я старался уйти оттуда, где он появлялся. И он, замечая это, понимая это и как бы на зло, хохоча, лез на глаза. Так, я не мог избежать с ним встреч в столовой при Доме Герцена, куда обедать сходились все, или в редакции «Красной Нови», где работал секретарём Анов. Или у Бессонова. Галя Шебалина, которую прятали на заимке, о чём я рассказывал выше, вышла в Томске замуж за этого Юрия Бессонова, и они переехали жить в Москву. Он — сын иркутского доктора, студент-юрист, затем прапорщик, перешедший на сторону советской власти, красный командир, кавалер ордена Красного Знамени за боевые заслуги, кажется против Унгерна, затем писатель, — получил в Москве квартиру в новых корпусах на Малых Кочках. И мы, познакомившись с ним через Галину, я и Серёжа Марков, стали частыми гостями у них, а вслед за нами появились там и Анов, тоже перекочевавший в Москву из Новосибирска, а вслед за Ановым и его дружок Феоктистов. И, конечно, появился там и Пашка…

Галя почему-то, то есть тогда мне было вполне не ясно почему, вскоре ушла от Юрия Бессонова. Потом я понял, почему от него уходили и другие женщины, с которыми он сходился. Ничего ещё толком не понимая, я всё-таки понял, что Юрий Бессонов плохой писатель и едва ли хороший экономист, работник того стеклянно-бетонного наркомата, который помещался на Мясницкой в доме, выстроенном Корбюзье. И я интуитивно понял, что он является не чем иным, как кариатидой, то есть декоративной фигурой, украшающей, но не поддерживающей какие-то своды. И я напи-

сал об этом стихи, в которых говорилось и о том, что возле домашней резиденции кариатиды, то есть возле казарм на Малых Кочках, ржёт жеребец Пашка.

Там ржал он особенно весело и оглушительно. И как будто бы именно там, у Бессонова, под ржание Пашки однажды, возвратившись в Москву из какой-то журналистской поездки, я узнал о том, что в моё отсутствие я вошёл полноправным членом литературной группы «Памир». Вот о чём весело ржал жеребец Пашка.

Конечно, теперь, через сорок лет, я понимаю, что мне не следовало бы соглашаться со своим заочным зачислением в литературную группу, членом которой состояли и очень малоталантливые Юрий Бессонов, и Феоктистов, и Забелин, сочинитель звонко-ортодоксальных стихов, а главное — жеребец Пашка. Но, с другой стороны, в этой группе был и несомненно даровитый Анов, и Сережа Марков, зачисленный туда вроде как тоже заочно, находясь в какой-то командировке. Я чего-то поартачился, сказал, что как же это так, зачислить меня в литературную группу без моего согласия, и всё равно я не буду выступать, потому что не люблю и не умею читать стихи с эстрады.

— Я за тебя прочту, Лёня, я за тебя прочту, — захохотал Пашка, — хочешь, прочту свои за твои или твои за свои! Разрешаешь?

Я как-то не задумался над смыслом этого пашкиного предложения. Понял его двусмысленность уже гораздо поздней.

А тогда, уехав в какую-то очередную поездку, кажется от «Наших достижений», я как-то и забыл думать о том, что состою в одной литературной группе с жеребцом Пашкой.

## БЕЗУМНЫЕ КОРРЕСПОНДЕНТЫ

Вчера прочёл предыдущие главы Владимиру Сякину. Он говорит, что всё это интересно, живо написано, только надо по возможности проверить, документировать, хроно-

логически уточнить. Легко сказать! Да и есть ли мне время зарываться в источники. Нет уж, положусь на память, хотя, конечно, трудно восстановить во всей последовательности события полувековой давности, например, тот день, когда ко мне явился Вивиан Итин. Зато я прекрасно помню, почему он явился ко мне и что сказал.

Дело в том, что в году двадцать первом, футуриствуя и хулиганствуя, я всё же не мог висеть на шее родителей и старался заработать хоть сколько-нибудь таким способом, какой мне был доступен. Я сотрудничал, например, в железнодорожной газете «Сигнал», которую редактировал отец Александра Павловича Оленича-Гнененко Пал Палыч. Эта газета помещалась в одной из пятисот или шестисот комнат здания Сибопса — Сибирского округа путей сообщения, и я ходил из этой комнаты в другую, где собирал ту или иную ведомственную информацию и приносил её в редакцию. Выезжал, конечно, и на узел, в депо, на товарную станцию и раздобывал кое-какой материал. Но вскоре Пал Палыч, большой чудак и сам поэт неудачник, разочаровался в журналистике и потребовал от своего сына Александра, тогда председателя губисполкома, назначения в начальники уголовного розыска, что и было исполнено. Пал Палыч принялся за борьбу с преступностью, местные жулики не особенно его боялись и даже однажды заманили его вместе с лошадью в какую-то волчью яму, но, что бы ни творил Пал Палыч, я остался без работы и перешёл из железнодорожной газеты в газету водницкую, где под псевдонимом Александр Гинч публиковал стихи и малюсенькие очерки из быта пристаней и затонов. Редактором там был милый человек Смородинников, большой любитель иртышской экзотики и романтики. Помню, с каким счастливым хохотом протянул он мне однажды для обработки письмо какого-то шкипера с Норзайсана, с Чёрного Иртыша, то есть с китайской границы. Там было написано каракулями, что некий капитан получает заграничный табак без акциза и надо с него взять за акциз. Но и эта газетка вроде как скоро закрылась или сменился редактор, я не помню, помню только, что я пере-

шёл на критику и библиографию для «Рабочего пути», беря книги на просмотр из магазина Сибкрайиздата. И кажется, директор этого магазина, книголюб макушинской томской выучки Никонов, и показал мне однажды замечательную книжку, отпечатанную на обёрточной бумаге в обложке из бумаги синей и твёрдой, той, в которую упаковывались до революции сахарные головы. Эта книжка, фантастическая повесть о полёте героя из колчаковской тюрьмы в иные миры, называлась «Страна Гонгури». «А может быть наш несовершенный грешный мир лишь атом, лишь клеточка мозга какого-нибудь трагического, в духе Достоевского, космического мыслителя», — спрашивал устами героя автор этой, изданной в глухом городе Каинске, книжки, Вивиан Итин.

— Я его знаю, — сказал Никонов. — Мы его в Красноярске женили. Он юрист по образованию и работает, кажется, по линии Наркомюста.

Но Вивиан Итин работал уж не по линии Наркомюста, а по литературной линии, в Новониколаевске, создавая вместе с Зазубриным и Басовым журнал «Сибирские огни». И прослышав, то ли от Никонова, то ли от Кондратия Урманова, уехавшего тоже тогда в Новониколаевск, что есть на свете я, который пишет стихи и расхваливает его книгу, Итин, однажды приехав в Омск, явился ко мне.

Он был старше меня лет на десять. Под дубленым сибирским полушубком он носил приличный, вполне европейский костюм. Был медлителен и застенчив. Молча выпил чашку чая, предложенную мамой, вежливо поблагодарил, а мне сказал:

— Я знаю, что тебе понравилась «Страна Гонгури». Читал твои стихи в «Искусстве». Мне нравится. Покажи, что пишешь.

У меня к тому времени было уже немало. В том числе лирические стихи, напечатанные только четверть века позже, и баллада «Золотой легион» о том, как чешские легионеры, обманувшие и оставившие своих сибирских жён, были наказаны настигнувшей их в Тихом океане ледяною горой, айсбергом, потопившим их пароход, — стихотворе-

ние, не напечатанное до сих пор, потому что потеряно... Вивиан отобрал несколько стихотворений, в том числе «Провинциальный бульвар».

И уехал.

Через некоторое время он прислал мне письмо о том, что «Провинциальный бульвар» идёт в «Сибирских огнях». Ещё через некоторое время прислал этот номер журнала, в котором я не нашёл стихотворения, хотя в оглавлении оно было и обозначено. И почти одновременно пришло письмо Итина, повествующее о том, что член редакционной коллегии Феоктист Березовский забил в набат и добился изъятия моих стихов из значительной части тиража, но в оглавлении моё имя и название стихотворения осталось всюду.

— Я знаю этого Феоктиста Березовского, — сказал мне Антон Сорокин. — Вреднейшая бездарь, он мне много испортил в своё время.

— Я отомщу ему! — сказал я. И послал в адрес «Сибирских огней» письмо или телеграмму, скорей всего, письмо, потому что такую телеграмму едва ли бы приняли, — «Фита вы этакая!». Напоминаю, что имя Феоктист по старой орфографии писалось через фиту.

Вскоре пришло письмо не от Березовского, а от Вивиана Итина. Оно было коротко: «Недоразумения улажены, приезжай как можно скорей, привези стихи».

И я поехал.

Помню, приехал я рано утром, часов в шесть. Идти будить Вивиана такую рань я постеснялся и пошёл по главной улице Новониколаевска — Красному проспекту, представлявшему собой хилый бульвар, обсаженный по обе его стороны невысокими кирпичными, а то и деревянными домами. И, сев на скамейку этого бульвара и оглядевшись, поглядев на редкие афишные тумбы и на дремлющих кое-где извозчиков, я понял, что этот самый провинциальный бульвар со всеми его атрибутами я и описал в стихотворении, вырезанном из «Сибирских огней». Не зная его ещё, не имея конкретного представления о нём именно — в Омске таких бульваров не было, — я как бы предвидел его, попал прямо в

точку, вот поэтому-то моё стихотворение и не понравилось Березовскому.

Вот с чем я и появился часов в восемь утра к Вивиану. Он, бреясь перед маленьким зеркалом, выслушал мой рассказ и сказал:

— Ладно. Сейчас Груша, моя жена, даст нам позавтракать, а потом пойдём в редакцию, познакомишься с Зазубриным и остальными. А послание твоё Березовскому я перехватил. Ну его к чёрту!

Так началось моё знакомство с Новониколаевском, будущим Новосибирском, в лице бородатого ироничного Зазубрина, розовощёкого Басова, сократо-верленовского Вегмана с серебряной трубкой под бородой в горле, следом попытки самоубийства ещё в царской тюрьме. Были тут и старые мои знакомые по Омску — Александр Павлович Оленич-Гнененко и Георгий Вяткин; уже шмыгал репортёром «Советской Сибири» Серёжка Марков, словом, оказалась масса старых и новых знакомых и друзей. Я быстро договорился о сотрудничестве в журнале и газете, из Новониколаевска я ездил впоследствии в интереснейшие командировки в Томск, в тайгу, в урман, на Алтай — на рудники Риддера, в Казахстан — на строительство Турксиба, на Балхаш — все эти поездки я делал из Новониколаевска, Новосибирска. Но, тем не менее, я не прижился в этом городе и, как меня ни соблазняли, не переехал в него, предпочитая жить сначала в Омске, а потом всё чаще и чаще наведываясь в Москву, чтоб стать фактически москвичом ещё с конца двадцатых годов. А в Новосибирске с самого начала я не чувствовал себя как дома, и теперь я, пожалуй, понимаю — почему это было так. То есть я ничего не имел против этого молодого многообещающего города, сибирского Чикаго, как его называли газетчики, и даже написал о нём очерк для журнала «Наши достижения». Однако. Но, во-первых, я понимал, что Новосибирск ничем не был похож и не будет похож на Чикаго, потому что всё это глупость, он не может походить на него, а во-вторых, и в главных, дело было вовсе не в самом даже городе и не в его населении в целом, а суть заключалась в тех людях, с

которыми я был близок. Все они играли в городе большую роль, все они были значительными и интересными людьми, в большинстве своём хорошими и, как говорится, добрыми, но жизнь их показалась мне таким хитросплетением противоречий, впутываться в которые я никак не хотел. Объединители литературно-художественных сил Зауралья, зачинатели «Сибирских огней» Зазубрин и Итин часто препирались между собой, в то же время дружно клялись своей «сибирскостью», но они, по существу, были глубоко чужды и сибирякам вроде простоватого Кондратия Урманова или хитроватого Коптелова, либо хитровато-простоватого Мухачёва и наезжему партийному руководству. Они были загадочны и для тех, и для других своей высокой культурностью, своей талантливостью, часто не укладывающейся в местные культурно-просветительные и административные рамки. В свою очередь более чем в стороне от «сибогневцев» держался редактор «Советской Сибири» Шацкий, сам по себе прекрасный человек, талантливый журналист, о котором я надеюсь рассказать особо. Нечего и говорить, что впоследствии все они вошли в резкое противоречие с леваком Курсом, но, в силу ряда обстоятельств, должны были составить одну редколлегию журнала «Настоящее». И Серёжа Марков написал очень верную эпиграмму, в которой говорилось:

Редактор: Басов и Зазубрин,
А Курс и Шацкий… Не беда!

Беда это была или не беда, но ещё задолго до известной истории с журналом «Настоящее» я понял, что мне, свободному художнику, не ужиться в этой атмосфере не столько споров, сколько склок, и объявил Итину, что стать новосибирцем я не желаю, а предпочитаю бывать там только наездом. И эта независимость, пожалуй, и помогла мне и сохранить дружбу с Зазубриным, и напечатать у Шацкого стихи «Безумный корреспондент», где я говорил о том же самом, о независимости, и уберечься в дальнейшем от многих неприятностей.

Но это всё скупые, с оговоркой, слова о литературе, вернее о литературной политике, в которой я не очень-то и разбирался, а она просто мне претила.

На деле было так.

Вот я приезжаю в очередной раз в Новосибирск и подхожу к деревянному дому, где обитал Вивиан. Вхожу во двор, стучусь, а летом, если окно открыто, то прямо в окно. Приезжал как-то больше ночью, когда Вивиан обычно работал, Вивиан что-то мычит, я, чтоб не мешать ему, ложусь на медвежью шкуру в углу. Вивиан всё же идёт, приносит мне подушку, простыню, одеяло. Мы с ним объяснились однажды раз и навсегда. «Почему ты не останавливаешься в гостинице, Лёнька?» — спросил он. — «Потому, что я предпочитаю твоё общество гостиничным стенам и девкам», — ответил я. Вопрос был исчерпан. Итак, если это ночью, я ложусь и засыпаю. Впрочем, Вивиан иногда меня будит и предупреждает сразу: «Погоди, я тебе кое-что почитаю».

Утром, вернее днем (потому что после ночных бдений Вивиан спал долго и даже таким образом избавился от должности цензора: назначили и потом уволили, потому что приходил на службу не вовремя) мы идём в редакцию «Сибирских огней», где я показываю, что привёз, или сговариваюсь о новых поездках. Вивиану со мной весело. В редакции его, в общем, недолюбливают. Сонный принц! Но он осуществляет большое дело, он не только заведует стихами, но держит связь с научными учреждениями, с Сибпланом, с Комитетом Северного морского пути. Он тянет журнал с не меньшим упорством, чем Зазубрин.

Однажды, помню, в году 1927-м, Вивиан сказал мне, что следует съездить в Ленинград. Я охотно согласился, сказав, что там у меня найдётся два дела: искупаться в Неве и попытаться поступить в Университет на географический факультет к Тану-Богоразу. Эта мысль у меня возникла внезапно. «Дурак! — сказал Вивиан, — кто же тебя примет. Ведь у тебя нет среднего образования. Впрочем, попробуй!

И мы поехали. В Ленинграде я поселился на Миллионной у Сейфуллиной. Там было беспорядочно. Правдухин поче-

му-то невзлюбил меня, обвинял, что я утащил у него какие-то газеты, но я не обращал на него внимания.

Вивиан повёл меня в «Вечернюю Красную газету» к Чагину, где я познакомился еще с весёлыми людьми Кугелем и Маком. Увидел там живого Потапенко, известного мне по старым комплектам «Нивы». Чагин напечатал в «Красной вечёрке» несколько моих корреспонденций, Тихонов взял для «Звезды» «Безумного корреспондента». Тан-Богораз не принял меня в университет, выслушав мои стихи, он сказал, что могу заниматься и самообразованием, впрочем, наш разговор с Таном я подробно пересказал в стихах. У Вивиана в Ленинграде выходила книжка «Высокий путь», к нему все относились очень хорошо, он показал мне Ленинград, вспоминая годы студенчества, и, помню, я, охваченный внезапно каким-то сомнением, сказал Вивиану:

— Слушай. У тебя выходит здесь книга. Все так хорошо к тебе относятся. Почему бы тебе ни перебраться сюда?

Вивиан посмотрел на меня странно и сказал.

— Ты думаешь, что здесь будет чем-нибудь лучше?

После я не однажды вспоминал этот наш бессвязный разговор, который в рассуждении тридцать седьмого года, пожалуй, был более связен, чем нам казалось самим.

Вивиан, уфимец родом, мне кажется, что в его смуглости и было что-то башкирское, — сын, кажется, адвоката, студенческие годы провёл в Петербурге. В Петрограде же он, собственно, и начал свой литературный путь. «Открытие Риэля» — первый вариант «Страны Гонгури» — взял у него ещё в «Летопись» Горький. А потом революционным циклоном Вивиан был занесён в Сибирь. И там, в Сибири, помогла Вивиану занять и долго удерживать руководящую высоту, я думаю, поддержка Горького, как Зазубрину поддержка Ленина, одобрительно отозвавшегося о «Двух мирах».

Мне кажется, что Вивиан не хотел перебираться в Ленинград не только потому, что не хотел оказаться вторым в Риме, при наличии многих первых, но потому, что его действительно увлекала деятельность в «Сибирских огнях», тесная связь с моряками Комсеверпути, путешествия

в Арктику, возможность написать неповторимые книги об этом, что он и сделал.

Как бы то ни было, он не перебрался в Ленинград. Я помню, как мы в тот раз расстались в Москве, — я остался там, он вернулся в Новосибирск. И когда я осенью снова появился в Новосибирске, я убедился, что к Вивиану относятся там ещё холоднее, и Новосибирск показался мне ещё неуютнее. Но тут я не могу сказать ничего связного. У памяти есть хорошее свойство: она изменяет в тех случаях, когда воспоминания неприятны. Даже не активно неприятны, о, нет, тогда память, наоборот, их хранит и даже скорбно лелеет и пестует, а так, когда они нудны, склочны. И я, право, не знаю, как случилось, что Зазубрин всё-таки покинул «Сибирские огни» и уехал к Горькому редактировать «Колхозник», а Итин так-таки и остался в Новосибирске, и не помню не только подробностей, но и сути разных печальных склок, всевозможных постановлений о работе «Сибирских огней» и разных организационных выводов, и не припомню, почему Вивиан писал что-то нехорошее о Серёже Маркове. Всё это ушло из поля моего внимания, во второй половине двадцатых годов я предпочитал не появляться часто в Новосибирске, а делил свои дни между Омском и Москвой, отдавая предпочтение Москве, вернее, тогдашнему Кунцеву, где бежавший из Сибири Сергей Марков поселился в Почтово-Голубином тупике квартирантом у старика со старушкой.

Но речь в этой главе идёт всё-таки о Новосибирске, то есть о Вивиане, человеке, сыгравшем большую роль в моей жизни. Как-никак, а нас объединяли многие творческие и, я бы сказал, политические, государственные интересы. Как-никак, он печатал в «Сибирских огнях» мои очерки о строительстве совхозов Зернотреста, и о строительстве Турксиба, и о рудниках Риддера, и о быте сибирских земледельческих коммун, и борьбе (моей) за раскрепощение казахских женщин, словом, всё то, что вошло в книгу «Грубый корм», выпущенную в 1930 году издательством «Федерация». Как-никак, а именно в Вивиане я находил терпеливого слушателя

моих рассказов о подземных морях Сибири и Казахстана, — проблема, за которую более или менее реально взялись только теперь, через 40 лет. Только с Вивианом я мог толково поговорить о гипотезе Вегенера насчет плавучести материков. И о солнечных пятнах, и об их влиянии на климат, на психику. Эта тема была вообще в те времена почти запретная — влияние отрицалось, как, впрочем, некоторыми и позже. И, наконец, не кто иной, как Вивиан печатал, преодолевая все препятствия, мои стихи и поэмы. Так, даже в 1932 году он напечатал-таки моего «Патрика», присланного в Новосибирск из Вологды, а в 1936 году напечатал «Увенькая» и немного позже «Тобольского летописца», которые и послужили началом моей настоящей, широкой литературной известности.

Я помню одну из наших последних встреч с Вивианом, чуть ли не самую последнюю. Это было в Омске. Я помню Центральный базар, охваченный ветреным мраком среди белого дня под пламенеющим небом. Шарахались лошади и ревели верблюды. Вокруг нас с Вивианом шумела забывшая о рыночных делах толпа. Это был час солнечного затмения в день смерти Максима Горького. Вивиан зачем-то приехал в этот день в Омск, где мы с Ниночкой тогда были…

…И помню ещё, кажется, в начале 1938 года, однажды, проснувшись в закутке, где мы обитали, я сказал Ниночке:

— Скверно видел во сне Вивиана. То есть даже не Вивиана, а Груню его, жену, будто она пришла в комнату Вивиана и снимает со стен картины, с окон занавески.

Через неделю кто-то, приехавший из Новосибирска, рассказал мне, что Вивиана постигла та же участь, какая и многих.

Мой сон не был вещим сном, но сном, приснившимся в результате строго логических рассуждений…

В 1939 году ко мне пришла литературная известность. В сороковом, три или четыре года отвергавшаяся Гослитиздатом, вышла в издательстве «Советский писатель» книга моих поэм. Всё пошло своим чередом. Новосибирск окончательно мне постыл после исчезновения Вивиана, я

побывал в нём только раз во время войны, да и то не столько в качестве писателя, сколько в качестве солдата. И меня не тянет в Новосибирск. Я сержусь на них, на новосибирцев, по ряду причин, хотя бы, например, потому, что в 1948 году они сделали из меня жупела, проявив на мне свою «бдительность» и объявив моё стихотворение «Наяды» (о необходимости заботиться о малых реках Сибири) — политически неверным и формалистическим. И долго потом ещё, чуть ли не целых пять лет подряд, повторяли это обвинение, пока не пришло время хвалить в печати и эти стихи. Но самая моя большая обида на новосибирцев — это их невнимание к литературному наследству Вивиана Итина, нежелание их переиздать всё, что он написал и напечатал, то есть не только его стихи, но и «Страну Гонгури», и повесть «Высокий путь» из жизни сибирских осоавиахимовцев двадцатых годов, и очерки о деятельности моряков Комсеверпути, и критические его статьи о поэтах-сибиряках.

Его дочь Лариса, превратившаяся из маленькой девочки в почтенного минского профессора биологии, бывает у нас на Ломоносовском проспекте не только потому, что поблизости на Ленинском проспекте, напротив «Синтетики», наискосок «Изотопов», живут какие-то её родственники. Она бывает у нас потому, что рассказывает, насколько тщетны её попытки издать сочинения её отца. То, что от издания пока что отказывается «Советский писатель», — более или менее понятно: много своих первоочередных. Но что Новосибирское издательство не издало полного собрания сочинений Вивиана Итина, так много сделавшего для Сибири, это — стыд и срам.

Впрочем, что-то из неизданного должно оставаться и для будущих поколений. И не это, так другое поколение норильцев прочтёт, я думаю, не без интереса, такие, например, стихи:

Нансен. Норвежцы. Норильские горы.
Берег волнами холодными вспенен.
Мы не разбойники конквистадоры,
Мы — моряки с ледокола «Ленин».

— Это, — скажет какой-нибудь будущий читатель норилец или таймырец, — написал поэт, который погиб когда-то где-то тут поблизости.

Сердце стучало. Моторы работали,
Ветер наваливался, как медведь…
Снова, как в дни Себастьяна Кабота,
Можно воскреснуть и умереть.

## ПОТЕРЯННАЯ РУКОПИСЬ

Я жалею об одной пропавшей, канувшей в Лету книге. Не могу забыть о ней. И думаю, что она не принадлежит к вещам, достойным забвенья. Многое неплохо было бы позабыть, выбросить из памяти, если не с отвращением или презрением, то, во всяком случае, деликатно и вежливо. Но, как известно, ничего не исчезает бесследно и поэтому выбросившему надо найти, где это выброшенное было бы на своём месте, как, например, нечистоты, на свалке превращаясь в добрый старый навоз для удобрения полей, служат лучше многих плохо проверенных сомнительных химикалий. Или, говоря поэтически, пусть дурные воспоминания истлевают как останки врагов, захороненные на поле мысленного боя, где рано или поздно должны расцвести цветы мира.

О чём же я хочу рассказать после такого витиеватого предисловия, как бы пытающегося навести порядок в этом хаотическом мироздании. Так о чём же я хочу не забыть, а хочу незабыть? Об очень многом, конечно. А в том числе и об этой потерянной книге. Я хочу рассказать, как я её написал, чем она, по-моему, была ценна и как она исчезла, навсегда ли, или её все-таки однажды отыщут — не знаю.

Начать хотя бы с того, что ещё в Новосибирске на несколько лет ранее мой друг Вивиан со смехом показал мне заметку, напечатанную в почтовом ящике журнала

«Сибирь». Там высмеивались стихи, посланные в журнал из Москвы. Для убедительности они были процитированы и эти цитаты мне очень понравились. Не помню её целиком, но помню такие слова:

> ...только плавно выплясывают па
> Черепахи, землечерпалки и черепа.

Я сказал, что это — о Туркестане, очень здорово и глупо высмеивать такие стихи. Тем дело и кончилось.

И вот однажды, собираясь в командировку из Москвы в Омск, я встретил в приёмной редакции «Наших достижений» автора, вернее авторшу этих стихов. Вернее она меня остановила там, сказав, что знает и ценит моё творчество, особенно книгу очерков «Грубый корм», а я могу знать её творчество по неприятной для неё заметке в почтовом ящике журнала «Сибирь». Я сказал, что действительно знаю эти стихи, и они мне нравятся, это — о Туркестане. Она была рада, что я всё понял, и её ужасно некрасивое лицо, которое, как выяснилось в дальнейшем, её поклонник Валерий Брюсов считал египетским, озарилось улыбкой, обнаружившей преждевременное отсутствие нескольких передних зубов. Она была не то что бедна — тогда почти все носили что попало — но как-то неряшливо одета, истощена и несколько истерична, но Володька, ребёночек, который вертелся вокруг неё, показался мне очень привлекательным херувимчиком. И вышло как-то само собой, что, услышав, что Володька замерзает, ибо у них нет дров, я проявил желание прийти на помощь.

Может быть, в чьих-нибудь ещё воспоминаниях всё будет истолковано по-иному, но мне вспоминается именно так: я шёл, чтоб помочь в беде женщине, автору понравившихся мне стихов, восторженной читательнице моих очерков, напечатанных в книге под названием «Грубый корм». Причём я имел в портфеле ещё несколько очерков, которые, по-моему, были ещё гораздо интереснее тех, что ей понравились. То есть я шёл к ней не с пустыми руками. И этими

руками я хотел натаскать дров с известного мне дровяного склада на Остоженке, а если не удастся добыть топлива там, то я решил, что наломаю досок от заборов, которых столь много было в Москве до второй Отечественной войны.

И отчетливо помню, как морозной ночью я с Володькиной нянькой мегерой, женщиной дикой, наглой и странной, но любившей Володьку, ломал в переулке заборы и таскал доски. А в следующие дни, вернее вечера и ночи, продолжал делать то же самое. Я даже помню, что украл несколько полен у Скосарева, жившего во флигеле дома Герцена. Эти дрова лежали в коридоре, и я, случайно проходя мимо, взял под мышку несколько берёзовых чурок. Я помню, как жарко топились они и как жарко восхищалась Володькина мать моими новыми очерками. Я читал уже написанное и рассказывал о том, о чём ещё должен был написать. Это были повествования о разных моих и чужих приключениях в степях и лесах Зауралья, новеллы о любви и ненависти на фоне социалистического переустройства Сибири и Казахстана. Я читал и рассказывал о таких вещах и ситуациях, которые были мало известны редакторам тех времён. И мои слушательницы сказали, что мне надо немедля писать новую книгу, её обязательно издаст издательство «Молодая гвардия».

— Идём заключать договор завтра же, — сказала она. — У меня там знакомые, всё будет в порядке.

— Но чтоб дописать книгу, мне надобны ещё дополнительные материалы, — сказал я. — Затем я и еду сейчас в Сибирь месяца на три.

— Поезжай, но прежде заключи договор, — возразила она.

И договор был заключён, и после этого я отправился на восток, сперва приехал в Новосибирск, затем явился в Омск к родителям, где и засел в закутке, отгородившись старым книгообильным гардеробом, дописывать новую книгу. Я работал так, что не только почти не ходил к Антону Сорокину, на которого, кстати, сердился за его преследования Всеволода Иванова, но даже совсем разочаровал своих

омских поклонниц. А их было немало. Так, например, я очень огорчил Варю, милую умную студентку Ветеринарного института, искренне увлечённую мной. Наш платонический роман длился чуть не пять лет, я забыл рассказать об этом раньше. Когда я начал бродяжную жизнь журналиста, Варя успела выйти замуж за животновода Мишу, но когда я вернулся в этот раз, она сказала, что уйдет от Миши, если я захочу быть с ней. Но я как-то сумел очень мягко убедить её в ненадобности связывать наши судьбы. Я писал книгу. Дни и ночи я писал книгу и, завершив её, ринулся обратно в Москву. И сдал в издательство эту книгу, сдал поспешно, даже не перепечатав некоторых новелл на машинке — пусть перепечатают в издательстве, — сдал оригинал, не имея для себя копии.

Редакторши, которым я сдал эту книгу, молодогвардейские дамы, из которых мне запомнилась только одна, Живова, кажется тётя Юли Живовой, — ахали от восторга. И действительно это была прекрасная книга. Во всяком случае, казалось так не только мне самому, а также и им. Однако они не поторопились сдавать книгу в набор. Насколько я помню, пылкий восторг был при более внимательном чтении книги умерен кой-какими сомнениями. Сомнениями не в художественном достоинстве новелл, а в каких-то частностях идеологического, что ли, порядка. Вроде того, что показалось, будто некоторые черты и чёрточки новелл действуют и чувствуют не вполне согласно политическим установкам, принятым в те дни руководством ЦК комсомола. Словом, вышло так, как это часто бывало с понравившимися рукописями: «Всё хорошо, но только следовало бы вот тут и тут кое-что доделать, чтоб не было сомнений».

Я написал о сомнениях. И тогда у меня, видимо по ассоциации, возникает сомнение в том, что, не именно ли в это время я воровал дрова для Володьки. Может быть, я это делал как до поездки, так и после поездки в Сибирь, когда книга была уже сдана и когда возникали сомнения.... Да, скорее всего я занимался кражей дров и до и после. Важно,

что вообще это было и, так или иначе, совпадало и с первыми сомнениями не только в книге, но и в моей ортодоксальности вообще. Они возникали по разному поводу, то по поводу новелл, то даже по поводу стихов. Некоторые мои стихи стали казаться их восторженным слушательницам странными. И я коротко расскажу, в чём тут было дело.

Вернувшись в Москву, я всё более и более разочаровывался в приятеле своём Юрочке Бессонове-Кариатиде. Не нравилось, что он писал, а писал уж он тогда историю какого-то завода и писал плохо. Ещё более мне не нравилась толкотня у него на Малых Кочках всех этих памирцев, с которыми мне всё более и более не хотелось иметь ничего общего, но меня всё-таки привлекли эти Малые Кочки, потому что в квартире Юрия-Кариатиды всё чаще и чаще стала появляться его сестра Анна, которая мне нравилась. Она была женой какого-то неизвестного мне человека по фамилии Левит. И вот в моём воображении возникла смутная и романтическая ситуация. Сестра солдата — а Юрий прежде чем стать Кариатидой, был, как известно, солдатом, человеком военным — сестра солдата — ландскнехта — потому что в поведении Юрия я почуял что-то авантюристическое, в какой-то мере ландскнехтское. Итак, сестра ландскнехта белокурая Анна, жена какого-то таинственного Левита, нравится мне. И я сочинил дикие стихи, в которых, беседуя с женой таинственного Левита, я говорил, намекая на её брата:

Я сказал: В ландскнехты мы играли,
Многие немного проиграли.

То есть я хотел выразить мысль, что Юрочка-Кариатида, играя в какую-то игру, может быть в литературу, неминуемо проиграет.

Мать же Володьки, когда я прочёл ей эти стихи о какой-то Анне, астрологах, ландскнехтах насторожилась и сказала, что редакторши «Молодой гвардии» недаром говорят, что в моём творчестве есть что-то дикое и неясное и что я

ставлю иногда вопросы как-то не совсем по-современному и что надо быть ещё ближе к жизни и повышать своё политическое самосознание. Я же ответил ей, что и её плавно выплясывающие на черепахе землечерпалки и черепа не отличаются большой политической ясностью, а я только и делаю, что повышаю своё политическое самосознание и вообще намерен принять предложение друга своего Матвея Гиндина, замредактора газеты «Труд», поехать на Балхаш, на строительство Коунрада, чтоб дать портреты ударников производства.

И действительно, в начале лета я поехал в центральный Казахстан.

То, что я увидел там, было поразительно.

Из Акмолинска на попутном грузовике я помчался вдоль линии строящейся железной дороги и мимо величественно торчавшей над степями одинокой горы Бек-Тау-Аты — дед князь гор — к балхашскому берегу. Укладка железнодорожного пути оборвалась раньше, чем я предполагал. В Коунраде, в рабочем посёлке возле медного рудника и завода, было пыльно, многолюдно и как-то беспокойно. Какой-то хмурый заместитель, или заместитель заместителя начальника строительства, которому я представился — начальника почему-то не было, — неопределенно сказал, что об ударниках производства поговорим несколько позже, а пока он предлагает мне принять участие в плаваньи на катере по Балхашу, где в камышах может быть, можно будет поохотиться и на тигров-джульбарсов. Присутствовавший при разговоре болезненный человек серой наружности вышел со мной вместе и сказал мне, что он возглавляет профсоюзную организацию, хочет мне кое-что рассказать и, чтоб было спокойней беседовать, мне лучше всего и заночевать у него дома.

Он привёл меня в глинобитную хибару, согрел чаю и сказал:

— После и побеседуем, расскажу многое, спать не захочется, да и всё равно спать не дадут наши клопы.

И он начал свой рассказ.

— Ты приехал писать литературные портреты ударников производства, — сказал он. — Нет сомнения, эти ударники имеются. И ты должен правдиво описать их героический труд. И как их премировали, знаешь чем, вставными зубами, потому что от цинги у некоторых вывалились зубы. И как повезли их для вставления зубов в Алма-Ату, водой, Балхашем. И как не довезли, а бросили на необитаемом острове, подержали там и привезли за здорово живёшь обратно. Вот ты обо всём этом и побеседуй и о том, что дороги не достроены и сводки о выполнении плана фиктивны. И не езди охотиться на джульбарсов, а скачи как можно скорее обратно в Москву. И бей в набат. Сделай это за меня, пожалуйста, дорогой товарищ, потому что отчёты мои или не доходят, или не помогают, а сам я уж до центра не доскачу по разным причинам, а главное, у меня чахотка.

И многое мне ещё рассказывал он до рассвета, потому что раньше всё равно помешали бы спать клопы, действительно мощно активизировавшиеся с наступлением ночной темноты. А утром я побывал, конечно, и на шахтах, и на строительстве, повидал немало озлобленных или устрашённых людей, но всё равно большего толка ни от кого не добился. По молодости своей я не сумел превратиться в опытного ревизора и следователя, изобличающего ложь цифр и явь просчётов, но общее впечатление было таково, что я дня через три почувствовал острую необходимость мчаться обратно в Москву и действительно бить в набат — живут плохо, кормят плохо, строят плохо: нужно вмешательство, помощь.

Помню ещё вот что: идя к автобусу, чтоб справиться о том, когда мне уехать, я пошёл не в ту сторону и упёрся в увитый колючей проволокой частокол, за которым в вечерних сумерках разглядел ещё более тощие и истомлённые, чем в рабочем поселке, людские лица. Это был лагерь.

Уехал я в кузове грузовика, гружённого какими-то пустыми бочками. Профсоюзник, ревниво провожавший меня до базы, будто бы боялся, что кто-нибудь и что-нибудь помешает мне уехать и достигнуть Москвы, помахал

мне вслед рукой. Я до сих пор помню его влажное болезненное рукопожатие.

Может быть, какой-нибудь дотошный читатель спросит, а как была фамилия этого профсоюзника, и как звали всех этих поселковых людей, и в каких числах я был на этом строительстве. Увы, не помню. Знаю, что следовало бы помнить, следовало бы задокументировать всё вышеизложенное. Но этого не вышло. Я, заехав в Омск, поспешно написал тревожные очерки-сигналы, отправляя первые из них по почте, а последние повёз в Москву сам. Ни одна из моих корреспонденций напечатана не была, и редакция мне предложила вернуть аванс. Озадаченный, я явился к Гиндину. Помню, секретарша не пускала к нему, говоря, что он занят, но я ворвался. Действительно, Матвей был в кабинете не один, в кресле у его письменного стола сидел смуглый брюнет. «Как же так, Матвей, — закричал я, — Они требуют с меня назад деньги!» Гиндин, встав со своего места, подошёл ко мне и сказал:

— Погоди, погоди, Лёня, мы выясним все это, конечно. А сейчас, видишь, я занят. И показав глазами на сидящего в кресле, добавил: — Это Вайян-Кутюрье[3].

Помню, что я вскоре после этого пытался заинтересовать своими материалами «Известия», и тоже у меня как-то ничего не вышло. Что же касается Володиной матери, то на неё вся эта история произвела более чем неприятное впечатление. Она говорила, что, может быть, я сгустил краски в этих своих корреспонденциях, видимо, как она думала, доверившись больному и раздражённому профсоюзнику, и материалы не подтвердились, посему редакция и отказалась печатать статьи.

С молодогвардейской книгой тоже что-то не ладилось — в ней не было ничего такого, за что бы могли потребовать

---

[3] Вайян-Кутюрье Поль (1892—1937) — франц. писатель и деятель коммунистического движения. Один из основателей Французской коммунистической партии, главный редактор гозеты «Юманите» (с 1926 г.).

назад аванс, но всё-таки и разговоры о ней замолкли, как будто бы её потеряли.

И когда вслед за этим у меня случилась крупная неприятность, я подумал, что дело именно в этих очерках о премировании ударников искусственными зубами и вообще о неполадках на Коунраде. Но мне сказали, что ко мне как к журналисту не имеется никаких претензий, а суть дела заключается в моей принадлежности к незаконной нелегальной группе Памир. «Как, — сказал я, — нелегальной? О ней даже печаталось в газетах!» «Да, но она не была официально зарегистрирована», — сказали мне. «Я даже не знал этого, они без меня записали меня в группу», — сказал я. «Но Вы не могли не знать, что член этой группы Павел Васильев занимался контрреволюционными хулиганствами — стрелял в портрет!» Я мог на это сказать только одно: я не знал. Я пытался защитить Пашку, говоря, что если он что-нибудь даже и делал, то делал по необразованности, хамству, по пьяной лавочке. «Вы не могли не знать, что, собираясь у Бессонова, члены этой группы занимались антисоветчиной». — «Я не принимал участия в таких сборищах, чтоб при мне занимались антисоветчиной». — «Как? Вы даже не слышали мерзких анекдотов Феоктистова?» — Вот на это уж точно я не мог возразить ничего: слышал.

Словом, мы загремели. Загремели на Север[4]. Я, Серёжа Марков, Анов и глупый бакенбардист Забелин. Но главные виновники происшествия усач Феоктистов, Юрочка-Кариатида и Пашка остались целы и невредимы и ходили как ни в чём не бывало. Только Пашка, роскошно одетый в клетчатый костюм, встретив меня перед отъездом моим в Архангельск (мне сказали, что обвинения с меня сняты, но потом предложили выехать на север за свой счёт), жеребец Пашка, встретив меня на улице, заржал:

---

[4] Л.Н. Мартынов по делу «Сибирской бригады» в 1932 году был репрессирован по статье 58-10 УК РСФСР и выслан на 3 года в Северный край. Реабилитирован Прокуратурой СССР 17 апреля 1989 года посмертно.

— Знаю, Лёня, как ты меня защищал-выручал. Говорил, что если что и сделал, так по хамству и необразованности. Ну что? Больше не хочешь засадить меня в сумасшедший дом?

Юрий же сказал, многозначительно улыбаясь:

— Вот тебе, Лёня, и кариатида, которая может лишь украшать, а не поддерживать и неизвестно что беречь.

Впрочем, язвительнее всех оказалась Володина мама. Печально улыбнувшись, она сказала:

— Вот тебе

В ландскнехты мы играли,
Многие немного проиграли.

Это уж действительно было обидно. Ландскнехт пока что выигрывал, он нагло толковал о важности своей кариатидской роли, а эти женщины считали ландскнехтом меня.

— Пойду в издательство, отберу свою книгу, — сказал я. Но не пошёл, мне было стыдно. Книга так и пропала. Куда она девалась, не знаю.

...Почти четверть века спустя Фадеев сказал однажды Гидашу: ты, мол, не знаешь, что такое твой Мартынов, а я знаю — он хотел отделить Сибирь от России.

Фадеев не добавил ещё, что при этом я хотел якобы и присоединить Индию к Советскому Союзу. Из рассказа Гидаша этого не следовало, но я всё равно понял, какими источниками информации пользовался Александр Александрович и почему он всегда посматривал на меня как-то косо.

Но я думаю, что он не поверил бы всему этому жеребячье-сиво-кобыльному вздору, если бы ему своевременно попалась на глаза та прекрасная книга, потерянная книга моих новелл о любви и ненависти в годы начала социалистической перестройки.

А может быть, эта моя юношеская книга пропала всё-таки не бесследно, может быть, она всё равно когда-нибудь обнаружится в недрах издательских!

## ДРУГ С ПОЛЯРНОГО КРУГА

...Это было в 1932 году, когда я в очень невесёлом настроении, отнюдь не по своему желанию, прибыл в Архангельск. Меня не могли утешить ни великолепная Северная Двина, через фиолетовые всплески которой плыл к славному городу паром-пароход, ни медовое солнце над белокаменными фасадами Архангел-города.

Мрачно вошёл я в то казённое здание, куда я должен был явиться, чтоб провозгласить о своём далеко не триумфальном прибытии. В комендатуре мне сухо указали этаж и комнату, в которую предстояло войти. Я постучался и, услышав из-за двери: «Войдите!» — вошёл.

За столом сидел коротко остриженный, небольшого роста, худощавый молодой человек в гимнастёрке. Когда я назвал себя, он улыбнулся доброжелательно, сказав что-то вроде: «Не унывай! С кем этого не бывало!» И затем попросил меня присесть и не волноваться. Вслед за этим, сделав несколько шутливых замечаний, кажется о погоде, он вдруг процитировал мне отрывок из моего «Безумного корреспондента» и сказал, что, к сожалению, в деле моём текст этого стихотворения приведен не полностью, и он очень просит меня послать ему этот стих целиком, когда я приеду в Вологду.

— Ты правильно выбрал Вологду, — сказал он, — и отправляйся туда утром завтра, а переночуешь сегодня в гостинице, — и добавил: — А стих пришли обязательно... «Ведь ГЕПЕУ, наш вдумчивый биограф, и тот не в силах уследить за всем...» Так я познакомился с работником Архангельского отдела ГПУ чекистом Константином Ивановичем Коничевым.

После этой неожиданной для меня, я бы сказал — сердечной, встречи я вышел из казённого дома уже не в том настроении, в каком туда входил.

Я уже почти любовался Архангельском с его каменной стариной, с потемневшими циклопическими брёвнами его трясинных переулков...

В дощатой новенькой павильонообразной гостинице меня приняли не как изгоя, а как нормального гостя: вероятно, туда сразу же после моего ухода позвонил Коничев. Но, засыпая в довольно комфортабельной постели, я всё же подумал об оставшихся на вольной воле моих недоброжелателях, из-за которых я очутился теперь в Северном крае (я намеренно не называю имён этих литературных и окололитературных типов — жизнь достаточно наказала их): неужели им так всё и сойдёт? Вряд ли. Недаром об этих фруктах, уже без улыбки, осведомился, я забыл об этом сказать, и, явно ко мне доброжелательный, здешний вершитель моих судеб Коничев. С этими мыслями я и уснул.

Наутро, поглядев на корабельные пристани и даже сочинив стих: «Заморский корабль в ожидании брёвен качался в Архангел-порту. Был судохозяин угрюм, полнокровен, клычки золотые во рту», я переехал Двину и сел в поезд.

Беломорье, подступающее к Архангел-городу, опьянённая необычайно жарким июльским зноем тундра, подступающая к Архангел-городу, — всё это осталось позади, потянулись болота и перелески, впереди меня ожидала Вологда, та белая Вологда, на которую я не раз смотрел с её вокзальной площади проездом из Сибири в Москву.

Я и сам, конечно, не понимал, чем она, Вологда, меня привлекала с двадцать первого года: запахом ли ржаного хлеба, зеленью ли палисадников, золотом ли куполов? Но мне кажется, что, ступив на её деревянные тротуары тем летним утром, когда я сошёл с архангельского поезда, я, ещё не дойдя до Духова монастыря (где помещался местный отдел Костиного ведомства), сочинил строки: «Сладок запах ржаных краюх, словно ягодным соком полных, и у Севера есть свой Юг, стережёт границу подсолнух».

Это мне сейчас представляется ясным, — во всяком случае, гораздо более ясно, чем опять-таки окошечко комендатуры и дальнейшее выполнение регистрационных формальностей, впрочем, недолгое и, в общем-то, достаточно доброжелательное: видимо, опять-таки позвонил Коничев.

Ещё яснее мне вспоминается и последующее: купанье в медлительной Вологде, чтоб освежиться, и после этого решительное появление в редакции «Красного Севера», где меня встретили без восторга, но как нечто хотя и любопытное, но само собой разумеющееся, — видимо и опять-таки позвонил Коничев.

Вопрос о моём внештатном, конечно, сотрудничестве в газете разрешился будто бы сам собой, а также было решено и то, что я до подыскания жилища буду ночевать у одного из редакционных сотрудников, и тут же выяснено было, у кого именно.

Дальнейшее лучше всего рассказано в стихотворении «Подсолнух». Иными словами — на следующий день я встретился с Ниночкой. Конечно же это было предопределено судьбой!

Я понял, почему я, много раз проезжая через Вологду, вглядывался в этот город, как будто меня влекло под его золотые купола. Кажется, чуть не из первого разговора с Ниночкой выяснилось и то, что наши дороги чуть было уж не сошлись десятилетием раньше на подъездных путях омской городской ветки, между вокзалом и городом, когда однажды с запада пришёл туда состав ВОХР — из бригады войск внутренней охраны путей сообщения, где Ниночка, семнадцатилетняя вологжанка, работала секретарём-машинисткой в штабном вагоне, а я тем временем слонялся у другого домика на колёсах. Затем я уехал в Новониколаевск, будущий Новосибирск, а состав ВОХР увёз Ниночку в Петропавловск. Затем я оказался в Москве, а Ниночка вернулась в Вологду; затем, когда я не однажды проездом заглядывался на Вологду, Ниночка обитала там, а затем, когда я уже, как это описано вначале, появился в Архангельске, Ниночка была там же по своим делам, а когда я из Архангельска явился в Вологду, на следующий день туда вернулась и Ниночка, и так мы после долгих и сложных житейских эволюций встретились наконец в назначенный судьбой день и час. И в свете всего этого немудрено, что мы сразу же узнали друг друга. Узнали в лицо. Познали вну-

тренне, как обо всём этом рассказано в поэме «Подсолнух». Только там не упомянуто о том, как я рассказал Ниночке обо всём главнейшем, что произошло после первой возможной встречи в Сибири за время, пока мы искали друг друга ещё целое десятилетие.

Это случилось так: со второго же дня моего появления в Вологде я, ринувшись осваивать этот город как репортёр, переусердствовал, натёр ногу, да так, что потребовалась хирургическая консультация. И Ниночка повезла меня на извозчике в центральную поликлинику, и во время этой поездки я прочёл ей самые главные по тем временам свои стихи: «Реку Тишину», «Дьяволёнка», «Сестру солдата» и ещё многое.

Не рассказано в «Подсолнухе» и о том, как Ниночка, прежде чем я поселился квартирантом в углу за перегородкой у чахоточного инвалида в домике около мрачного дома, в котором жил когда-то в ссылке Сталин, устраивала мне ночёвки на буксирном пароходике, которым командовал её двоюродный братец, беспутный Николай Кнох, и мы всю ночь пили с капитаном Кнохом водку, и я читал ему стихи — свои, Маяковского и Василия Каменского, а капитан пел мне «Ничего, родная, успокойся, это только тягостная бредь» на мотив «По морям, по волнам, нынче здесь, завтра там». Капитан был порядочным меланхоликом. Помню, как он завёл меня в своё береговое обиталище, где лежала его больная бабушка и стоял книжный шкаф. Капитан раскрыл шкаф и начал охапками вываливать книги и журналы, которыми шкаф был набит до отказа. Мы порылись — Николай попросил меня указать на более интересные книги... Там были, как водится, приложения к «Ниве» и «Родине»... Затем Николай, вздохнув, также охапками запихал книги назад на полки, и мы пошли обратно на пароход. Этот пароходик стоял на ремонте, вечерами единственный матрос торжественно увольнялся капитаном на берег до рассвета, и на судёнышке, кроме нас, не оставалось никого. Я ночевал там несколько ночей, в течение которых мы беззаветно предавались поэзии и, по мере финансовых возможностей,

бражничанью. А с утра я, как ни в чём не бывало, погружался в газетную работу, и едва ли кто осведомлял моего шефа Костю Коничева о моём образе жизни, в целом довольно естественном и разумном.

Как выяснилось, Коничев не выпускал меня из виду. О том, что Костя помнил обо мне и заботился, свидетельствует хотя бы даже такой факт.

Редакционная братия смотрела на моё сближение с Ниночкой по-разному. Некоторые, как, например, Ниночкина подруга машинистка Гнеся Львовна и добродушный гигант из отдела партийной жизни Иринарх Колотилов, сомневались, что я, залётный москвич, буду верным спутником в жизни Ниночке. И они говорили ей об этом, и она сердилась. В самом деле: мы были вместе, но жили ещё не вместе, ища, но не находя обиталища, достойного нас. Я ночевал за перегородкой у чахоточно-кашляющего инвалида, Ниночка — у своей бабушки, а вообще мы бродили по осенней и зимней Вологде, и я мучил Ниночку, возглашая ей стихи, вроде следующих:

— Есть люди, с которыми я не могу не считаться!
— Ну, что же! Считайся!
— Но слушай. Ночами с тобою должна я скитаться!
— Прекрасно! Скитайся!
— С тобою должна я как будто бы скоро расстаться.
— Я верю. Расстанься!
— Неправда! С тобой суждено мне навеки остаться!
— Я знаю. Останься!

Или такие:

От Каменного моста до Ледяного плаца —
Везде ночами пусто, есть время объясняться.
Сознанье цепенеет от снега и от хруста,
И позабыто спорить горячее искусство.

Или еще:

— Кто вы, ночные странники, по тротуарам шаталы?
Шапки на лоб надвинуты, руки в карманы спрятаны...
Сада ограда чёрная тянется, тянется, тянется.
Вдоль я иду, и следует
Рядом
Ночная странница.

И вот тут-то, чтобы разрядить атмосферу, Ниночка и поехала в Свердловск, чтоб навестить свою маму и успокоить, кстати, и её, до которой тоже дошли Гнесины опасения. Словом, Ниночка уехала, и почти сразу же по приезде в Столицу Самоцветов послала мне с оказией посылку — две дюжины конских котлет, на что я отреагировал отчаянными стихами, в которых говорилось, что суть вопроса вовсе не в котлетах, так как меня, одичавшего без неё и бессмысленно блуждающего вечерами по вологодским столовкам, кормят там и так отлично:

Одет я не роскошно, но пристойно,
Похож на авиатора в отставке,
И порцию котлет для прикрепленных
Дают мне не из жалости ко мне.

Однако всё это весьма опасно,
И, дорогая, если скорый поезд
В блестящую Столицу Самоцветов
Тебя унёс под хохот февраля,
Запомни: я объемся конским мясом,
Тушёной свеклой, кислою капустой,
И бурым кофе я залью желудок
До заворота верного кишок.
Когда умру бесславно от обжорства,
Закормленный толпой официанток,
Упитанных воспитанниц Нарпита
В злом умысле, прошу я, не вини!

И, потрясённая этим посланием, Ниночка поспешила вернуться из Свердловска, а, вернувшись, рассказала мне, что ещё в день отъезда из Вологды в Свердловск на вокзале она встретила Костю Коничева, который и сказал ей без обиняков: «Ты не бросай Леонида, он хороший парень, а что в таком положении оказался, так с кем этого не бывало… Только напомни ему, пожалуйста, чтоб он прислал мне своего “Безумного корреспондента”».

— Значит, он действительно любит стихи! — сказал я.

— Так он же сам литератор, — ответила Ниночка, — разве ты не знаешь, что он рапповец? Сам он из кубинозерских крестьян, отец у него был сапожником, а он до совпартшколы, кажется, был пастухом... Вот я тебе покажу фотоснимок, где все вологодские рапповцы из группы «Борьба» вместе с приезжими: Уткиным, Молчановым, Жаровым и Гроссманом!

Так я узнал, что Костя Коничев не только мой шеф, но и мой собрат по перу. Может быть, я слышал что-то о его причастности если не к литературе, то к прессе, и раньше, но как-то пропускал это мимо ушей, такое со мной случалось и случается, но, во всяком случае, отчётливо уяснил я это именно тогда из разговора с Ниночкой, вернувшейся из Свердловска.

«Так вот, в чём суть — подумал я. — Коничеву действительно нравятся мои стихи: безотносительно к делу, сами по себе». И не он ли надоумил архангельцев прислать мне приглашение дать стихи в «Звезду Севера»?

И если я до тех пор сомневался, колебался: давать или не давать (вообще решил после всех обстоятельств 1932 года на время отстраниться и даже не пошёл к Эренбургу, который проездом через Вологду выразил желание меня видеть и со мной познакомиться), то после разговора с Ниночкой о бывшем пастухе, литераторе Косте Коничеве я однажды вечером сконструировал небольшую поэму «Ярмарка в Архангельске» и туда же её и послал. Речь шла о ярмарке, которая действительно прошла в Архангельске и о которой много писали газеты. Поэма начиналась стихами «Сладок

запах ржаных краюх», а кончалась тем, что «Заморский корабль в ожидании брёвен качался в Архангел-порту, а судохозяин угрюм, полнокровен, клычки золотые во рту, и так уж на берег взирая сурово, теперь застучал кулаком, услышав про новое русское слово, звучащее: “Ярмарком”.

Так появилась в «Звезде Севера» новая моя поэма, объявившая всему миру о том, что я продолжаю существовать в литературе. Это вдохновило меня и на дальнейшее: появился «Подсолнух», появились «МИСС ОБВ» и «Патрик». И одновременно с этим я не менее вдохновенно предавался газетной работе, и если сотрудник «Красного Севера» Володя Ситов впоследствии хвастался, что он-де сделал из меня отличного газетчика, то я думаю, что наоборот: это я научил его кое-чему и показал им всем пример и класс.

Рано утром, проводив Ниночку до пригородного совхоза Осаново, где она стала работать секретарём-машинисткой, я уходил дальше на зелёные увалы в пригородные сельсоветы, собирая информацию о колхозных новостях, а, возвратившись к полудню в редакцию и продиктовав эту информацию Гнесе Львовне, я шёл по городским учреждениям и предприятиям собирать хронику с тем, чтобы сдать её к часам четырём. Кроме того, вечерами я иногда посещал те или иные заседания или представления — я имею в виду театральные.

Конечно, из меня выжимали порой семь потов, но трещал не я, а редакционный бюджет, потому что, как ни старалась экономить бухгалтерия, а разметка говорила своё, и порой добрая половина гонорара за номер оставалась за мной. Беда-то была в том, что гонорар был очень небольшой. Но всё равно мне, двадцатисемилетнему и полному энергии, просто нравилось утирать всем остальным нос.

И если я интервьюировал едущих в Арктику профессоров Визе и Самойловича, ещё будучи в дырявых штанах, то к прибывшему в Вологду Михаилу Пришвину я явился в такой великолепной голубой ватной стёганой кофте «под колхозника», что Пришвин выдал мне всё, что надо, как загипнотизированный.

Нечего и говорить о том, что я стал своим человеком и в краевом музее, и в кружевном союзе, и в городской библиотеке, а к моей критике прислушивались и в промкооперации и в леспромхозе, а происшествия мне поверял сам начальник угрозыска. Но всё-таки я не ожидал, что мне однажды предложат войти в состав бригады по проверке хода социалистического соревнования Вологды с Ярославлем.

— Как же я поеду в Ярославль? — спросил я редактора недоумённо.

— А так и поедешь! — ответил он.

— Но удобно ли это, имею ли я на это право?

— Без всяких «но», — возразил он, — мы знаем, что делаем?

Я думаю, что в число этих «мы», знающих, что они делают, входил и Костя Коничев.

Мы с Ниночкой жили уже на Власьевской, у милых стариков-хозяев: он был бывшим приказчиком, она — не то медичкой, не то колдуньей. Она принимала пациентов, чтоб массажировать их на сундуке в передней. Но некоторым больным она предписывала не массаж, а, например, потереться больным местом на утренней заре об оглоблю, покрытую росой. Вместе с тем, она называла по-латыни названия некоторых болезней и лекарств. Когда же она, услышав кваканье лягушек на огороде, сообщила нам французский способ приготовления лягушек в пищу, то мы с Ниночкой решительно спросили её, откуда она всё это знает; и оказалось, что она, девчонкой ещё попав из деревни в Питер, работала сначала поломойкой, затем санитаркой в лечебнице французского доктора. Помимо всего прочего, она пекла прекрасные пироги и шаньги и пела чудные песни, которыми угощала нас по праздникам. Но кормила нас повседневно и по-настоящему истово и самоотверженно Ниночкина тетя Шура, жена ниночкиного по отцу дяди Аркаши. Тетя Шура, жившая в доме рядом, была хрупкой, изящной женщиной, любившей поэзию Никитина и Надсона, но уже давно потерявшая томик стихов последнего. Я-таки

уже потом, из Москвы, послал ей приобретенного у букинистов Надсона, и это была та малость, которой мы вознаградили её за огромные, оказанные нам, услуги.

Но вот однажды, когда период моего вынужденного пребывания в Вологде уже кончился и я остался поработать в «Красном Севере» ещё лето по просьбе редакции, достаточно высоко оценившей моё вдохновенное сотрудничество, однажды в летний день явился к нам на Власьевскую приехавший из Архангельска Сергей Марков, попавший по вине тех же лиц в подобную же переделку. Он, со свойственной ему экспрессией, рассказал нам о своих переживаниях за последних три года. Поначалу ему пришлось выехать не куда-нибудь, а в Мезень. Сперва тут ничего не мог поделать, кроме как сказать одобрительные и утешительные напутствия, даже и Костя Коничев. Но затем Сергею, то ли вследствие симпатии к нему Максима Горького, то ли ещё как, удалось переместиться в Архангельск, чтоб развернуть там все свои журналистские таланты. И этот рассказ Сергея Маркова об архангельском житье-бытье сопровождался массой высоко-доброжелательных воспоминаний о Константине Ивановиче. Затем мы с Ниночкой уехали из Вологды в Омск, затем были годы войны, затем мы перебрались в Москву, и не помню уж что случилось прежде, что позже: то ли сперва мы получили книжку военных очерков Константина Коничева, то ли сам автор с сыном своим появился на нашем московском горизонте. Помню одно: книжка была очень хорошей, а сам Костя, уже ушедший из органов, живший уже в Ленинграде, несколько отяжелевший, но по-прежнему с весёлой настороженностью глядящий нестареющим взглядом из-под круглых очков на весь белый свет, был по-прежнему грубовато-шутлив и доброжелателен. Мы не говорили много о прошлом, вернее мы почти не вспоминали о нём, а, я думаю, просто радовались, что мы живы-здоровы.

Затем я был просто счастлив дать Косте рекомендацию в Союз писателей не только потому, что я знал его как порядочного человека, но и потому, что, при зрелом моём раз-

мышлении, скромная, в простой белой обложке, книжка его военных очерков всё больше и больше казалась мне одной из наиболее талантливых книг о войне.

Он очень скромно попросил у меня рекомендацию: «Если ты найдёшь возможным её дать, будь уверен, что я оправдаю твоё доверие!» — писал он. И не сомневаюсь, что писал он это от всей души, как и всё, что он писал, а написал он за свою жизнь немало — и о своей деревенской юности, и о северной стороне, и о северной старине с их людьми, богами, чертями и ангелами. Да и не только о Севере.

Из написанного им одно мне нравилось больше, другое меньше, но, сказать по правде, особенно запечатлелась из Костиных книг повесть о том, как он, мой добрый друг с Полярного круга, оказался за экватором в тропической Африке в гостях у известного гуманиста, борца за мир во всём мире, у доктора Альберта Швейцера...

«Передайте господину Коничеву, что я тронут приветствием, которое он мне послал и на которое я отвечаю искренним приветствием. Мы сохранили добрые воспоминания о нём, — писал впоследствии Альберт Швейцер одному из своих корреспондентов в Советском Союзе». Поистине добряк добряка видит издалека.

Вот, в сущности, и всё то главное, что я хотел сказать о моём друге Косте Коничеве, для одних — товарище Коничеве, для других — господине Коничеве, чекисте, литераторе, члене Союза писателей СССР, умершем от сердечной недостаточности в Ленинграде весной 1971 года.

## ВОЛОГДА

— Пиши только правду, чистую правду, ничего не придумывай, — говорит мне Ниночка. И я стараюсь быть как можно более точным и писать только правду, сколь бы она не казалась неправдоподобной даже и мне самому.

Теперь я, человек с незаконченным низшим образованием, если не мудр, то начитан, имею представление о за-

конах политики и экономики, и политической экономии, и экономической политике, а также имею понятие о различных философских системах, и меня даже провозгласили поэтом-философом — недавно один молодой венгерский литературовед написал, что ко мне, как к философу, прислушиваются в Европе. А тогда, тридцать восемь лет назад, когда я после описанных выше неприятностей поехал на север, я был только двадцатисемилетним автором нескольких десятков хороших, но диких стихотворений и двух книжек очерков, одна из которых «Грубый корм» была быстро, но почти незаметно распродана, а другая, неизданная, канула куда-то в бездну издательских архивов.

Плохо одетый и почти без копейки в кармане я появился однажды утром в Архангельске. Было тепло и туманно. В учреждении, в которое я должен был явиться для определения дальнейшей моей судьбы, меня встретил доброжелательно улыбающийся молодой человек. Он сказал:

— Выбирай, может быть, захочешь остаться здесь, но настоятельно советую тебе воспользоваться возможностью обосноваться в Вологде. И к Москве ближе и вообще городок хороший.

И я воспользовался советом Кости Коничева, я видел его искреннее доброжелательство ко мне, было ясно, что ему нравятся мои стихи, которые он знал то ли по ленинградскому журналу «Звезда», где был напечатан «Безумный корреспондент», то ли из моего дела. К тому же я вспомнил, как когда-то на первом своём пути в Москву я, выйдя с вологодского вокзала на площадь, чуть ли не сорок пять минут любовался этим старинным городом. Словом, я поехал именно в Вологду.

И теперь, пользуясь своей философической репутацией, я позволю себе слегка пофилософствовать о том, что называется детерминизмом, предопределённой закономерностью. Случайно ли я пытливо вглядывался в Вологду с вокзальной площади в 1921 году. Ведь Ниночки не было тогда там. Но она за несколько дней раньше, да и за год раньше, была от меня гораздо ближе, чем в Вологде. То

есть, когда я уезжал из Омска в Москву, Ниночка была в Петропавловске. А в двадцатом году мы были, как позже выяснилось, совсем рядом. Та часть внутренней охраны, в которой Ниночка работала машинисткой, располагалась в вагонах на путях городской ветки, соединяющей Омск-город с Омском-вокзалом, где стоял и вагон, в котором обитали мои знакомые дамы. Это было случайное, мимолётное знакомство, но факт тот, что и ещё в 20-м году судьба чуть-чуть было не свела меня с Ниночкой, мы ходили по одному и тому же железнодорожному полотну, чтоб до времени ещё не встретиться. Затем Ниночка со своими родителями — отец её служил тоже в той части внутренней охраны — уехала в Петропавловск, это когда я проездом в Москву глядел на Вологду с вокзальной площади, потом, когда я вернулся в Сибирь, вернулась в Вологду она с тем, чтоб через десять лет я, явившись из Архангельска, встретиться в Вологде с ней.

Как это случилось, рассказано в моём стихотворении «Подсолнух». И всё это, конечно, тоже чистая правда. Правда по своему существу, может быть, без некоторых житейских прозаических деталей. Они же сводятся к тому, что, объявившись в Вологде, я сразу же пошёл в редакцию газеты «Красный Север», заявив, кто я и почему. Мне кажется, что люди уже предполагали моё появление, может быть осведомлённые тем же Костей. Во всяком случае, я в первый же день приступил к работе, продемонстрировав свои способности репортёра и хроникёра. Правда, потом Володя Ситов хвастался, что это он научил меня работать. Но, мне кажется, что это я научил работать их всех. Но об этом ниже. Суть же дела заключалась в том, что к часу моего появления в Вологде туда из Архангельска возвратилась и Ниночка, мы, наконец, встретились, взглянули в глаза друг другу, и всё было решено. Мой внутренний мир ясно открылся Ниночке, когда весь день, шатаясь в поисках квартиры, а также и в поисках хроники для газеты, я стёр себе ногу, она воспалилась, и когда Ниночка повезла меня на извозчике в поликлинику, я прочёл «Реку Тишину».

Нога зажила, я нашёл себе комнатку, вернее угол за перегородкой в жилище чахоточного сапожника, почти рядом с тем домом, в котором жил во дни своей вологодской ссылки Сталин. Тем временем Ниночка, порвав с негостеприимным домом художника, поехала в Свердловск к своей маме, которая жила там с сыном Борисом, техником свердловской телефонной сети. Я же ночью в редакции «Красного Севера» написал «Подсолнух», который стал со временем хорошо известен, и ещё другую поэму, не напечатанную до сих пор. Она называется «Случай в кофейне».

Дело в том, что Ниночка сразу же прислала мне из Свердловска посылку с котлетами. Это было зимой. Я оценил котлеты, они пришлись очень кстати, но чтоб показать, что суть вещей не в котлетах, я описал в белых стихах такой случай, и случай не выдуманный, а действительный, что нарпитовские девушки в одной из кофеен стали кормить меня котлетами для прикреплённых.

Одет я не роскошно, но пристойно,
Похож на авиатора в отставке,
И порцию котлет для прикреплённых
Дают мне не из жалости ко мне

писал я.

Но, дорогая, если скорый поезд
В уральскую столицу самоцветов
Тебя умчал под хохот февраля —
Запомни: я объемся конским мясом,
Тушёной свеклой, кислою капустой,
Когда умру бесславно от обжорства,
Упитанных воспитанниц Нарпита
В злом умысле прошу я, не вини!

Ниночка поняла мой сарказм, быстро вернулась в Вологду и мы, наконец, поселились вместе, найдя квартиру на Власьевской улице. Хозяином домика был тихий стари-

чок-вологжанин из бывших приказчиков, хозяйка же была симпатичнейшая старая знахарка, не знахарка, но старая массажистка, лечившая тех, кто хотел у неё лечиться от разных недугов. Где она получила свои познания, выяснилось позже. Однажды у меня заболело плечо.

— Продуло тебя, — сказала хозяйка, — я тебе сделаю массаж, но сначала пойди и потрись об оглоблю.

Она имела в виду оглоблю, которой закрывались ворота. Об эту оглоблю, — как сказала она, — надо потереться на утренней заре, когда оглобля покрыта росой.

— Пойдём, я тебе покажу, как надо потереться, — предложила она, — и мы пошли. На огороде квакали лягушки.

Едала я их! — сказала хозяйка.

И тут слово за словом выяснилось всё — откуда у неё и массажистский опыт, и вообще недюжинные невиданные медицинские познания. Оказывается, в молодости она проработала несколько лет сиделкой, а потом и вроде как экономкой в лечебнице какого-то петербургского профессора француза, познакомившего её не только с началами медицины, но и с тонкостями французской кухни.

Так пошла наша с Ниночкой жизнь в Вологде, где я кроме столь любопытной фигуры, как наша хозяйка, увидел множество интересных неожиданных разнообразных лиц. Благодаря Ниночке я познакомился с её родственником, весьма уважаемым старым большевиком, участником Октябрьской революции в Петрограде, бывшим портным Сергеем Сергеевичем Никуличевым, имевшим памятный револьвер и кожаную куртку от Ворошилова. Наряду с ним помню и скромного сотрудника одного из вологодских учреждений, кажется бухгалтера, носившего громкую фамилию Барклай-де-Толли. Я сталкиваю в воспоминаниях столь контрастные фигуры, чтоб показать приметы времени, облик города, в котором я появился среди советских учрежденцев, кружевниц, музейных работников, краеведов, древообделочников, леспромхозцев и откуда возвращался к нам на Власьевскую, куда нам в судке приносили обед от тёти Шуры милейшие ребята Сергея Сергеевича Никуличева Леся или Радий.

Тётя Шура, сестра жены Сергея Сергеевича Никуличева, жена Ниночкиного дяди Аркаши была нашей усердной и верной кормилицей. Она в то довольно нелёгкое время очень помогала нам. Конечно, мои стихи о том, что упитанные воспитанницы Нарпита заставят меня умереть от обжорства, были бравадой, без тети Шуры нам бы пришлось туго. Ни я, ни Ниночка не были житейскими практиками и не умели делать большие деньги. Я работал, конечно, очень много, я без труда научился давать в номер газеты не только колонку городской хроники, но и какой-нибудь перл из семейной жизни. Но не дремал и газетный бухгалтер — сколько бы я ни давал материала, существовал гонорарный предел. Ниночка, поступив машинисткой-секретарём в пригородный совхоз, тоже зарабатывала немного. И, в общем, наш день слагался так. Рано утром Ниночка шла на работу в совхоз в поле за вологодским вокзалом, я шёл с ней, доводил её до этого совхоза, а сам шёл дальше по сельсоветам. Я заходил в колхозы или в артели, я уж не помню, как они назывались, и брал там материал о новостях колхозной жизни. Все председатели колхозов и сельсоветов стали моими добрыми знакомцами, я научился даже ладить с буйным председателем Бизовым, которого не однажды изобличал в газете за его пьянство, но при случае и похваливал за деловитость. Часам к одиннадцати я возвращался в редакцию, быстро сдавал сельскохозяйственную информацию, а с полдня до двух-трех занимался городской хроникой, которую и сдавал секретарю Смурову к концу рабочего дня. Иногда, конечно, меня втравляли ещё в какое-нибудь неожиданное дело, например, обслужить заседанье, но чаще всего к вечеру я шёл встречать Ниночку, и мы возвращались домой обедать, хваля кулинарный талант тёти Шуры, а после обеда брались за книги, радуясь, что никто нас не потревожит и мне не надо скакать куда-то по срочному поводу. Из наших срочных поводов запомнилось мне, например, интервью с Пришвиным. Он приехал в Вологду, чтоб отправиться на охоту и остановился в гостинице «Золотой Якорь». Сначала Пришвин встретил меня неласково, стал ругать газетчиков

вообще, но при этом разговорился, и у меня получилась неплохая статья. Другой раз редактор Николай Третьяков объявил мне, что именно я должен срочно отправиться на вокзал и проинтервьюировать во время стоянки поезда академика Визе, едущего в Арктику. А у меня, как на грех, в это утро лопнули сзади штаны, они проносились как-то неожиданно, незамеченные ни мной, ни Ниночкой. Я повернулся спиной к редактору и показал свой изъян. «Никаких возражений, — закричал Третьяков, — ты постарайся быть с ним лицом к лицу, а не задницей.» Через четверть часа ты должен быть на вокзале. Нельзя медлить ни минуты!

И я помчался на вокзал. Я сообразил, что делать. Я знал, где замедляет свой ход поезд у семафора. Там я и вскочил на ходу в состав и ринулся по вагонам, спрашивая проводников, где Визе. Так я ещё до остановки поезда оказался в дверях его купе. Заглянув в двери, я представился, и Визе по счастью тотчас же предложил мне сесть напротив него на диван. Я благополучно провёл интервью, и элегантно попятившись, чтоб академику не бросился в глаза изъян моей одежды, покинул купе.

Но от третьей встречи с приезжими из Москвы я решительно отказался, хотя брюки к тому времени у меня были в полном порядке, и вообще я был одет капитально: в новую, но дико-голубую ватную кофту, вызывающую зависть всех колхозников вологодского рынка. Тем не менее, когда мне сказали, что приехал Эренбург и, кстати, он хочет, чтоб зашёл к нему именно я — я отказался. Я очень любил Эренбурга, с детства ценил его прекрасные переводы, много раз перечитывал «Хулио Хуренито». Лично я Эренбурга тогда не знал и то, что он сам выразил желание меня видеть, только усилило моё нежелание пойти к нему. Я не сомневался, что он хотел сделать мне что-то приятное, либо хотел помочь, я предполагал, что он слышал обо мне, знал о тех обстоятельствах, которые привели меня в Вологду. И это тем более заставило меня не пойти к нему. Мне не хотелось говорить с ним, в каких я дураках оказался со всей этой памирской историей, горечь которой как-то начала уже сгла-

живаться. Вот почему я не пошёл к Илье Григорьевичу в «Золотой Якорь». И вот почему я ещё с большей яростью набросился на газетную работу и на писание всё новых и новых стихов, первой слушательницей и ценительницей которых была Ниночка.

Оглядываясь на это, я могу сказать, что сделано было немало. Ведь тогда были написаны, кроме многих лирических стихотворений, и «Подсолнух», и «Рассвет», и «У севера есть свой юг», то есть поэма «Ярмарка в Архангельске» и начат и завершён «Патрик», явившийся, по существу, началом целого цикла моих исторических поэм. В «Патрике» не было ещё формальной новизны будущих этих поэм, но были уже сюжетность и драматичность. Короче говоря, истинный драматизм недавнего моего собственного положения явно отразился и на моём творчестве. Это, несомненно. Я писал много и писал безо всякой оглядки на редакторов, так как думал, что стихи мои не будут печатать. Чёрт с ними, с теми редакторами, которые сейчас печатают торжествующего жеребца Пашку, думал я. И я не знаю, что бы получилось, если бы я послал стихи, хотя бы тот же самый «Подсолнух» в Москву, а я и не посылал его туда, но к радости моей у меня попросили стихи и напечатали их архангельцы из «Звезды Севера», а потом, когда я установил связь с Вивианом, попросил стихов он, и я послал «Патрика», который и был напечатан в «Сибирских огнях». Словом, всё шло нормально, и я говорил Ниночке, что когда выйдут стихи, мы сначала отправимся пожить куда-нибудь на черноморский берег, а потом посмотрим — увидим. Однако вышло по иному. Через три года, за которые меня как журналиста Леонидова узнали чуть не все колхозницы и кружевницы, чуть не все учрежденцы, кооператоры и администраторы Вологды, когда вышли все сроки, и пришло время сменить некое удостовереньице на нормальный паспорт, начальник административного отдела с удивлением сказал мне: «Так вот, значит, на каких правах ты чуть не каждый день заявлялся к нам для сбора происшествий!» А в редакции мне сказали: «Не будь свиньёй, не бросай нас сразу, поработай хоть ещё до осени». И я согласился.

В сущности, мне не в чем винить было Вологду. В ней я нашёл Ниночку, то есть своё счастье, свою судьбу. В Вологде я оторвался от мерзкой толчеи жеребцов, сивых меринов и кариатид с Малых кочек. В Вологде я много рылся в старой библиотеке, много прочёл и не только о русском севере; и набрался сведений и сил для дальнейшей своей творческой работы. И надо же знать, что, побывав сразу же весной 1935 года в Москве, где меня вполне хорошо встретили, я каким-то чутьём понял, что возвращаться сюда мне ещё преждевременно. Мне сказали, чтоб оставался, но я тогда раздумал. Меня отвратили даже не преуспевающие Пашка, гнусный усач Феоктистов или Юрочка-кариатида. (Помню, Юрочка сказал при встрече в метро: «Вот видишь, что мы тут без тебя выстроили!») Меня отвратили не равнодушно соболезнующие лица знакомых редакционных работников, которые уже полузабыли меня — ведь за эти три года произошло так много событий: и разгон РАППа, и создание Союза писателей, не говоря уж о всяких других событиях, о некоторых нет нужды упоминать в этом повествовании, так как они памятны всем живущим. Нет, не чувство оторванности от жизни застивило меня тогда не вернуться сразу в Москву. Кроме каких-то очень смутных опасений, тут было ещё и нечто другое, как мне кажется, желание сосредоточиться, сделать что-то такое большое и несомненное, что дало бы мне возможность и право занять своё место в литературе. И как потом выяснилось с очевидностью, это были уже задумываемые, но ещё неосуществлённые поэмы.

Я вернулся в Вологду, съездил в Омск, где пробыл недолго и проработал в газете ещё несколько месяцев. А потом мы с Ниночкой, распрощавшись с добрыми вологжанами, поехали в Омск.

На вокзале нас встретил мой отец. Помню, чтоб не ждать очереди в автобус или в трамвай, который к этому времени был уже построен, но ходил редко, я потащил Ниночку пешком с вокзала на улицу Красных Зорь, бывший Никольский проспект. Ниночка, с трудом шагая по этой глубокой пыли, разглядывала те места, где когда-то стояли вагоны их эше-

лона внутренней охраны, там, на путях городской ветки, где нам по каким-то особым расчётам судьбы не привелось встретиться на пятнадцать лет раньше.

## ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПОЭМ

Итак, мы приехали в 1935 году в Омск и поселились там, в комнатке без окон и дверей, наскоро переоборудованной из бывшей передней в квартире моих родителей. Точнее — мы отгородились занавеской от всех проходящих мимо через эту переднюю на кухню или на террасу. В закутке умещались кровать и стол, освещаемый для работы и днём электрической лампой. Можно было бы и нанять комнату где-нибудь, например, у Игнатовых, они предлагали, но не хотелось обижать маму, что вот отделились, не захотели жить вместе, в тесноте, да не в обиде. В закутке было темно и душно, но думалось, что всё это ненадолго — потом, мол, всё образуется. Тем более что летом можно было обитать рядом на террасе.

Ниночка почти сразу же устроилась на работу секретарём-машинисткой в контору Главкондитера, сравнительно недалеко от дома, у Казачьего сада, напротив костёла. Я же вошёл в контакт с недавно организованным Омским издательством, директор которого — Тихонов — с самого начала сказал, что он издаст книжку моих стихов — сибиряки меня чтили.

Не теряя времени, мы собрали эту книжку. В неё входили многие из тех стихов, которые перепечатываются и до сих пор в моих сборниках, а некоторые и в хрестоматиях. Тут как раз приехала из Москвы инструктор или ревизор, я не знаю, но фамилию её запомнил — Титова, славная и доброжелательная дама из Орликова переулка, там тогда помещался Главиздат. Она весьма одобрила мою книжку и увезла на утверждение с собой в центр. Но очень скоро из Орликова переулка пришла зубодробительная рецензия, утверждающая, что я антисоциален, бездарен и вообще

не умею писать стихи. Такой разбор «Подсолнуха», «Реки Тишины», «Рассвета» и многих других моих впоследствии высоко оценённых нашей критикой стихотворений сделал внутренний рецензент Главиздата…

Огорчённый дурным отзывом обо мне, директор издательства Тихонов сказал: «Ну, ничего, подождём, а пока поработайте в нашем журнале "Омская область" и порецензируйте рукописи для издательства. Люди у нас в издательстве приличные».

Люди были действительно приличные и даже интересные. Редакторствовал там бывший матрос, сын местного партийного работника, добряк, молодой поэт Ян Озолин. Работал в издательстве молодой редактор Костя Бежицкий, образованнейший комсомолец, отличавшийся начитанностью и знанием философии Канта, Гегеля и Фейербаха.

…Я получил заманчивое предложение писать автобиографии орденоносцев сельского хозяйства Омской области. Эта работа показалась мне, поднаторевшему в газетном деле, ничуть не хуже другой, она подразделялась на правку и дополнение оригиналов автобиографий, а порой и на интервьюирование орденоносцев, чтобы написать от их имени всё самому.

Так я создал нехитрые жизнеописания доярок, пастухов и комбайнёров, то принимая их в издательстве, то выезжая сам на поля и луга Прииртышья.

Кажется, как раз в это время и появился в издательстве ещё один орденоносец, но не новый орденоносец сельского хозяйства, а старый орденоносец гражданской войны, кавалер ордена Красного Знамени Россомахин, не старый, но достаточно пожилой большевик, директор краеведческого музея. Россомахин был смуглым, монголоидного облика человеком, кажется, тюменцем. Он участвовал в гражданской войне в Сибири и на Приполярном Урале…

Россомахин предъявил издательству толстейшую папку не столько воспоминаний, сколько документов, докладов, справок, приказов, относящихся к раннему периоду восстановления Советской власти, к борьбе с колчаковцами в

Тюменской области, Берёзове — на Обском севере, в горном Саранпауле, в глухих экзотических краях между Обью и Печорой, известных мне ещё по замечательной книге путешественника 17-го века, почти что однофамильца, Пьера Мартина де ля Мартиньера.

Россомахин честно сказал, что он не в силах справиться со своим архивом и написать книгу воспоминаний так, чтобы её можно было предлагать для издания. Он бы хотел, чтобы кто-нибудь выправил всё это литературно. Литературно подработал и обработал, как выразился он. Ясное дело, что обратились ко мне, и я согласился, потому что документы и скупые россомахинские записи о белогвардейских бесчинствах на Приполярном Урале или о классовой борьбе в деревнях тюменских татар показались мне очень интересными. Расспрашивая Россомахина о подробностях, я без труда создавал ему сюжеты для новелл и рассказов и даже придумал сюжет для небольшой повести, и даже всё это набросал начерно и, показав всё это Россомахину, я вверг его в глубокую задумчивость, которая разрешилась возгласом: «Это наша книга! Так вместе и подпишем».

Я пробовал убедить его, что так делать не надо, но он настаивал.

И в те дни, когда мы препирались насчёт права авторства на его книгу — это было, видимо, в 1936 году, — случилось следующее.

Приближалось столетие со дня смерти Пушкина, я меж других своих журналистских дел, конечно, уделял внимание и этой юбилейной дате, рылся в старых сибирских газетах, в книгах музейной библиотеки географического общества и в архиве, собирая сибирские отклики на смерть Пушкина и вообще материалы о тех временах. Так я нашёл кое-что о первой омской типографии, возникшей как раз в 1837 году для печатания указов и приказов, нашёл кое-что о деятельности местных доносчиков на ссыльных декабристов, о школе толмачей, помещавшейся на старой Почтовой улице, о работорговле на невольничьем рынке возле Елисаветинского маяка на Иртыше, близ Омска.

И тут у меня зародилась идея написать поэму о людях тех времён и о том, как эти люди отреагировали на смерть Пушкина. Охваченный внезапным желанием это сделать, я взялся за перо и написал две страницы стихотворного текста. Это было вечером на террасе. Мне казалось, что я сказал на этих двух страницах очень много, но наутро я понял, что не сказал почти ничего. Смутный ход событий остался в воображении, тогда я схватил перо снова и заполнил уже четыре страницы, и на следующий день снова понял, что надо браться заново и сначала. Я писал на террасе и в закутке, при электрической лампочке день и ночь, и так через две недели возникло то, что после стало известно читателям как «Правдивая история об Увенькае, воспитаннике азиатской школы толмачей в городе Омске». Это была поэма, непохожая на все мои прежние поэмы, непохожая на «Золотую лихорадку», на «Адмиральский час», на «Зверуху», на «Патрика» — на всё, что я писал раньше. Непохожая по стилю и непохожая даже графически. Взглянув на законченное произведение, я с удивлением заметил, что для достойного типографского воспроизведения потребовались бы лучше всего не продолговатые, а квадратные страницы бумаги. А если бы разбить текст на обыкновенные одинарные ямбические строки, то произведение бы вытянулось в немыслимую колбасу, потеряв всё своё очарование.

Переписав поэму начисто, я отправил её Вивиану Итину для «Сибирских огней». Я был страшно рад, я понял, что нашёл ключ к новому, по крайней мере для себя, жанру. И сразу же взялся за другую поэму, кажется за «Тобольского летописца», тоже по материалам, почерпнутым мной из архивов. И дело сразу пошло на лад. Я был в восторге.

Достаточно сказать, что я в течение нескольких месяцев написал начерно и «Тобольского летописца», и «Русского инженера», и «Рассказ о Василии Тюменце», и «Искателя рая». Это был дикий взрыв творческой деятельности. Я уходил с головой в творчество. Я работал день и ночь и не только над поэмами, но и над книгой милейшего Россомахина, которую я обещал помочь ему сделать. И мы подготовили её к изданию.

Но из этого ничего не вышло…

…А летом 1938 года в Омск неожиданно явился представитель Союза писателей… и меж других важных дел занялся и открытием меня. Он дал очень хороший отзыв о забракованной ранее рукописи моей книги. Словом, в 1939 году в Омском издательстве вышла моя первая книга стихов «Стихи и поэмы». Вообще-то это была вторая книга, первая, конечно, тоже поэтическая по своему существу, книга очерков «Грубый корм» вышла в 1930 году в Москве в издательстве «Федерация».

Дальше всё пошло как по писаному. Моей поэмой об «Увенькае», напечатанной в «Сибирских огнях» в 1937 году, я удивил и заинтересовал на каком-то собрании писателей Семёна Кирсанова, но об этом я узнал после. Мы с Ниночкой оставались ещё в Омске. Я занимался литературными и издательскими делами и, кажется, именно тогда (но, впрочем, может быть, и пораньше) принимал участие в организации совещания писателей, а затем мы — я, Ниночка и Виктор Утков — поехали в Тобольск, я — чтобы побывать в этом городе, о котором я заранее написал поэмы «Тобольский летописец», Виктор — чтобы собрать материал о Ершове, а Ниночка в командировку. Мы поехали в Тобольск ничтоже сумняшеся, даже не представляя себе, насколько оригинальна наша поездка в город Тобольск тех времён. Мы не думали вовсе об этом. На пароходе, который шёл почти пустым за новобранцами, мы встретились с такими же, как и мы, командированными, получившими билеты по броне пассажирами — с украинскими литераторами, едущими в Тобольск отмечать юбилей Грабовского… В Тобольске нас приняли очень хорошо, показывали Кремль, воздвигнутый пленными шведами в петровские времена, могилы декабристов и могилу Грабовского, деревянный театр…

Мы ходили по бревенчатым тобольским мостовым, а в тобольском ресторане ели пельмени, подаваемые прелестными официантками… Мы ели пельмени сотнями, чем очень удивили какого-то командированного ленинградца,

который, глядя на нас, робко заказал пять штук. Но кой-чему удивляться случилось и нам, когда один местный журналист повёл нас в такое заведение, где подают живую стерлядь. Её на наших глазах, выловив из бочки с водой, подали нам на тарелочках живой и сырой, пояснив, что это единственная в мире рыба без паразитов.

Покинуть Тобольск нам пришлось преждевременно: я получил телеграмму из Омска — "Вечерней Москве" читайте дебют поэта». В Тобольске «Вечерней Москвы» мы не нашли. Как выяснилось впоследствии, это была статья об «Увенькае». Не достав билет на самолёт и не попав на пароход, поехали в битком набитом автобусе, помчались по тюменскому тракту... Мы мчались без остановок ночью, и шофёр, чтоб не заснуть, посадил рядом с собой девушку и заставил её петь песни. Так мы примчались в Тюмень, откуда на скором поезде доехали до Омска, где меня ждали приятные известия из Москвы. Но это уже связано с историей следующей моей книги, изданной в 1940 году, — синей квадратной книги под названием «Поэмы».

## ЯН ОЗОЛИН

Дошёл черёд рассказать и о Яне.

Старший редактор рижского журнала «Даугава» Роальд Добровенский прислал письмо, что они надеются подготовить публикацию о жизни и творчестве поэта-сибиряка, латыша по происхождению, Яна Озолина: не найдётся ли у меня несколько слов о нём?

Я ответил, что он был славным человеком, но, увы, у меня нет ни его стихов, ни книжки, кажется единственной.

Когда уже бросил открытку в почтовый ящик, смутно припомнилось: да ведь в черновиках у меня есть наброски довольно бесконечной, незаконченной поэмы о некоем юном балтийце Ионе, в чертах которого, несомненно, присутствовало что-то и от Яна.

Вернувшись домой, я заглянул в тот ящик стола, где лежит кое-что из неосуществлённого, но не нашёл того, что искал, а зато в альбоме с чужими рисунками нашёл силуэт чёрного суденышка, несомненный подарок Яна. Он говорил, что на этой моторно-парусной шхуне он плавал по Обской губе и даже выходил в бурное Карское море.

Вот и всё.

А познакомились мы с Яном в 1935 году, когда мы с женой приехали в Омск и я, с легкой руки Макса Гарбера, напечатал под прозрачным псевдонимом Мартын Леонидов свою поэму «Подсолнух» в «Омской правде», которую редактировал тогда редактор с фамилией, тоже похожей на романтический псевдоним: товарищ Шпайер или Шпаер.

Тогда-то и явился к нам юный широкоплечий, голубоглазый и светловолосый Ян Озолин с трубкой в зубах, причём не столько куря, сколько красуясь, и объявил, что он поэт, полярный моряк, в данное время сотрудничает в комсомольской газете «Молодой большевик», которая очень рада будет меня печатать.

И действительно, когда мы с Яном однажды поднялись на второй этаж кирпичного дома на Мокринском форштадте, то редакторы-комсомольцы приняли меня как желанного гостя. А что касается Яна, то я до сих пор не знаю, был ли он штатным работником редакции, каким-нибудь завотделом, либо, не будучи штатным сотрудником, пользовался в редакции авторитетом как моряк, поэт и сын одного из руководящих работников области.

Впрочем, я не помню, в обкоме или где работал его отец, я не встретился с ним ни разу. Но зато, придя однажды к Яну на квартиру его родителей в дом на улицу Декабристов, я, заглянув в почему-то приоткрытую входную дверь, увидел в по-парадному нарядной передней, как бы теперь сказали — в холле, миловидную женщину, мывшую пол.

— Войдите, войдите! — громко сказала она.— Ах вы к Яну! Я-а-ан! — крикнула она. Тут вышел Ян. — Зачем ты опять взялась за полы? Почему ты мне не сказала? — Женщина, выпрямившись, величественно замахнулась на

него тряпкой и скрылась в соседнюю дверь. Минут через десять она появилась, переодетая весьма элегантно, по моде общественных деятельниц тридцатых годов.

— Познакомьтесь, это моя мама! — сказал Ян.

По виду её скорее можно было принять за его сестру, чем за мать. Как я узнал, эта жизнерадостная блондинка была крупной общественной деятельницей, если не ошибаюсь, руководительницей общества Красного креста Омской области. Впрочем, может быть, я и ошибаюсь в её чине и звании, но никак уж не ошибаюсь в том, что она радовалась нашему знакомству с Яном, радовалась по тем же причинам, что и Дебора, жена Яна.

Мы с Ниночкой казались им более умудрёнными жизнью людьми, чем все прочие знакомцы Яна, его сверстники, бывшие школьные соученики, а также полярные моряки и юные стихотворцы, почти все по традиции питухи и забияки.

Кроме того, мать Яна не без интереса однажды, а может быть дважды или трижды, слушала мои рассказы о всяких других, известных мне, сибирских уроженцах или оказавшихся в Сибири прибалтийцах: о товарище моём по детским играм озорном мальчике Вальдыше и его тихой сестрёнке Лизе; о Вальсе, бывшем нашем домохозяине; об Альберте Вальдесе, муже вальсовской дочки Марии; о нашем бывшем соседе финском пасторе Гране, разъезжавшем зимой по огромному своему приходу в громоздкой санной карете; о знакомом мне не лично, но по рисункам, художнике Прибе, заброшенном в Сибирь германской войной; о хмуром сотруднике местной печати латыше Нугисе, не обращавшем на меня ни малейшего внимания; об экстравагантном латыше-морже, фамилии которого я не знал, но с которым я почтительно раскланивался, а он мне величественно отвечал на поклон, вылезая в двадцатиградусный мороз из иртышской проруби: говорили, что он лечится зимними купаниями от нервного заболевания, но на вид он был вполне нервно-уравновешенным здоровяком. Может быть, этого товарища, да и некоторых других, мама Яна знала и сама, но она с таким интересом расспрашивала меня о всяких подробностях, будто слышала об этих людях первый раз.

Я так рассказывал о всяких знакомых мне латышах, эстонцах, финнах и литовцах, что Янова мама, смеясь, сказала, что я так интересуюсь балтийцами, будто и сам балтиец.

— Да и верно,— вы обликом очень похожи, если не на латыша, то на литовца, литвина,— заметила она.

Я жалею, конечно, что, вместо того, чтоб болтать самому, я не выспросил у неё, откуда они сами, она и её муж, отец Яна.

Но, впрочем, тогда расспрашивать было некогда, у нас с Яном было много неотложных дел. Например, мы оба, чуть ли не с первого года нашего знакомства, с 1935 года, вели деятельную подготовку областного совещания писателей, на которое мечтали пригласить, кроме омских поэтов и писателей, таких, например, как профессор Драверт и Антон Сорокин, ещё сказителей, певцов, словом, творческих людей с Ямала, из Ханты-Мансийска, с верховьев Иртыша, то есть с Алтая, и акынов из близких к нам казахских степей. Это писательское совещание прошло уже без Яна, гораздо позднее...

Я не буду писать тут общих фраз о том, как осложнилось положение в мире, что атмосфера всё сгущалась и сгущалась. Это касалось и нас. И если можно употреблять такого рода барометрические иносказания, то походило на то, как если б среди безмятежного зноя вдруг возникали какие-то предгрозовые порывы не только в переносном, но и в прямом смысле слова.

Пожалуй, это началось вот с чего, для нас по крайней мере. Однажды в очень солнечный ясный июльский полдень мы — я, моя жена и Ян — катались на лодке. Идя вверх по течению Иртыша, мы прошли меж двумя островами и подгребли к левобережной отмели близ железнодорожного моста напротив привокзальной части Омска, называемой Ленинском. И вдруг мы заметили, что небо над Ново-Омском, то есть над левобережными куломзинскими элеваторами, приобретает медно-красный оттенок.

Это пыль где-то за Иртышом над степью,— сказал я.

— Да, похоже! — согласился Ян. — Плывём обратно к городскому берегу! — подвела итог Ниночка.— Это ураган! Мы столкнули лодку с отмели, но не успели выйти на фарватер, как увидели, что не только левый берег, но и железнодорожный мост справа и силуэт города слева скрылись в хвостообразной смерчевидной мгле, и налетевший шквал, несущий нас к правому берегу, превращается в пенообразную массу и за нашей спиной, и по сторонам, и впереди нас. И, мчась с невероятной быстротой на гребне вала, мы с Яном так ловко работали вёслами, что оказались плавно выброшенными на правый берег в тот самый момент, когда шлепнули нам на спину первые капли тяжёлого, крупного, будто бы ртутного, если не серебросвинцового, дождя. Мы еле-еле успели перевернуть лодку, чтоб укрыться под нею от этого дождя, забарабанившего по днищу, но всё же не могли укрыться от ехидной пены волн, которая с шипением заползала под корму.

Этот вихрь промчался и утих. Помнится, я тогда ещё посмеялся, сказав Яну, что таких шквалов он не видывал ни на Обской губе, ни в Карском море, но тогда мне и в голову не пришли мысли морализировать в том смысле, что-де самые большие опасности подстерегают храбрых моряков не в море, а на суше, и, как правильно сказал в одном английском стихотворении боцман Снасть матросу Билли: в бурю бывает опаснее всего в городах! Тогда, к случаю, я не вспомнил этого, переведённого мною, хрестоматийного английского стишка, а между тем, это было бы весьма кстати, дело шло именно к этому.

Как я сказал, смерч пролетел и растаял. Но новые вихри налетали на нас всё чаще и чаще, принимая то один, то другой облик. По известному народному поверью, если в несущийся смерч метнуть ножик, то он останется на дороге окровавленным, потому что можно таким образом ранить крутящегося в смерче беса. Но иногда эти бесы стали появляться без видимого наличия смерчей.

Так, однажды, сидя на террасе, я понял, что бесы предпринимают наступление на Яна: к воротам приближалась извозчичья пролётка, на запятках которой стоял улыбаю-

щийся председатель общества туристов, бывший чапаевец Ренц, добродушный, со следами не прошедшей бесследно контузии на лице; в пролётке, обнимая какую-то неизвестную мне даму, восседает собственной персоной Павел Васильев, а на козлах, спиной к лошадиному хвосту, а лицом к прочим описанным, примостившись рядом с кучером, сидит не кто иной, как Ян Озолин.

...На следующий день Ян пришёл, чтоб поведать, как он показывал Павлу матросские кабачки и как тот звал его с собой в Тобольск, куда едет то ли корреспондентом от «Известий», то ли для сбора сведений о последних годах жизни царской семьи и изучения карьеры Распутина.

Когда Ян выложил мне всё это, я сказал ему, что ни в коем случае не следует связываться с этим злостным скандалистом, который хотя и поэт, известный всесоюзно, но человек ненадежный. Я рассказал ему, как в прошлое посещение Омска Павел безобразничал у Антона Сорокина, что, впрочем, только рассмешило Яна, так как действительно история увещеваний Васильева стариком Сорокиным, отцом короля писательского, была забавна: после увещеваний в комнате, полной кактусами, и уколовшись об них, когда пятились от гневного старца, Павел с приятелем бежал в Новосибирск, где они немедленно учинили разгром буфета в городском театре, и когда Пашкиного приятеля выволакивали прочь, он кричал ещё бушующему Павлу: «Паша, успевай доламывать кактусы!», — хотя в буфете не было никаких кактусов, а были только фикусы да искусственные пальмы.

Ян слушал и похохатывал, а когда я напрямик сказал ему, что якшания с Павлом Васильевым кончаются для людей плохо, хотя сам он выходит сухим из воды, Ян сказал, что он ровно ничего не боится.

— Знаешь что,— сказал он мне,— ты не обо мне заботься, а лучше займемся нашим другом Костей!

Костя, комсомолец, журналист по профессии, прибывший откуда-то, кажется из Белоруссии, поэт и мыслитель по призванию, был лучшим по всему Омску знатоком философии Канта, Гегеля, Фейербаха и, конечно, Маркса и

Энгельса: он мог цитировать наизусть целыми страницами. Цитировать чужие произведения он мог, но вот писать как прозу, так и стихи он был крайне ленив. Будучи мечтателен и беден, Костя как-то оказался без призора, без ухода, без жилища, чем и воспользовался некий хитрец, назовём его Лирниковым. Этот Лирников, переводчик по ремеслу, оказавшись в Сибири, быстро обзавёлся жилищем, женился и решил: раз он очутился в Омске, написать роман о Колчаке. Но так как писать ему было некогда, да и нужно было бы прежде собрать материал, много прочесть, да и не такой он был мастак, чтобы писать романы, он, Лирников, обольстив Костю гарантией ночлега и пропитания, заставил его перед сном писать роман, о чём Костя, кручинясь, поведал Яну, а Ян — мне.

— Давай спасём Костю, — сказал Ян, — нагрянем к Лирникову ночью, и застигнем его на месте преступления, как он заставляет Костю писать романы из жизни адмирала Колчака.

— Ну, пойдём,— согласился я. Мне действительно захотелось посмотреть на то, что называется творчеством с помощью «негра» и как это делается.

И, помню, темным, поздним, безлунным вечером мы с Яном приблизились по скрипучему деревянному тротуару к маленькому домику на одной из уличек Казачьего форштадта и решительно постучались в тускло освещённое и плотно занавешенное оконце. Очень быстро, хотя как будто и нехотя, Костя открыл нам дверь, видимо, заранее предупреждённый Яном, он молча вернулся впереди нас в комнату и уселся за письменный стол. На этом столе горела неяркая лампочка, и, освоившись с полутьмой остального пространства, я увидел в алькове Лирникова и услышал тревожное дыхание его подруги.

— Поздние гости,— сказал Лирников недовольно, — в чём дело?

Вместо ответа мы подошли к столу и заглянули в рукопись, перед которой сидел Костя. Действительно, это была та рукопись.

— О Костя, поздравляем, ты пишешь роман или повесть, но, во всяком случае, что-то большое, если не великое! Что именно ты пишешь?

— Он пишет свой роман о Колчаке! — хмуро, напирая на «он» и «свой», сказал Лирников.

— Что и требовалось рассказать! Он! Ну, пожелаем тебе, Костя, успеха!

— Только боюсь, что без моей помощи он ничего не напишет,— сердито сказал Лирников.

— Ну, даст бог, справится сам. И мы ушли.

Костя (мы помогли ему) вскоре переехал, нашёл жилище. Но, увы, он ни романа о Колчаке, ни другой задуманной повести не написал — к великой потехе Яна, который и сам в те дни был порядочным лодырем, за что его горячо и журила его мама.

Разоблачение Лирникова было, пожалуй, наиболее светлым и идиллическим эпизодом нашего знакомства с Яном.

Дальше пошла уж совсем тревожная полоса.

Помню страшноватый час затмения солнца в день смерти Максима Горького, когда мы с Яном и приехавший из Новосибирска Вивиан Итин наблюдали влияние затмения солнца на людей, лошадей, быков, верблюдов и собак на омском Центральном базаре.

Я думаю, смерть Горького в значительной степени решила и судьбу Павла Васильева, что в свою очередь отозвалось и на судьбе многих его собутыльников...

Во всяком случае, я помню бледность Яна. Сначала как будто бы ничего не случилось: Ян не говорил мне, что кто-нибудь попрекнул его в близости к Павлу Васильеву. А затем он исчез вместе со своей семьёй, отцом и матерью...

А позднее говорили, что Ян пережил своих родителей и писал с Севера, выйдя уже на свободу, писал, что скоро вернётся, до времени ходит рулевым на рыболовном судне по Охотскому морю... Может быть, тогда-то он и написал очень много стихов или прозы, то есть воспоминания, которые дадут представление о том, что было дальше, и послужат основой для биографии этого незабвенного, но очень мало известного поэта тридцатых годов.

## ЧАРА-ЛЮСТР

Я закончил предыдущую главу на том, что всё-таки не считаю себя чёрствым эгоистом, и если люди помогали мне, то и я помогал им чем мог*. Помогал казахским красавицам освободиться от деспотизма их феодалов мужей, помогал государству бороться с лесными пожарами, помогал омским библиотекарям спасать гибнувший фонд национализированных книг, сваленный в сырые подвалы, помогал восстанавливать риддерские рудники, помогал строить совхозы Зернотреста и Туркестано-Сибирскую железную дорогу. Да мало ли что ещё.

Но я хочу рассказать о том, чему я помочь был не в силах. Это случилось как раз тогда, когда я помогал орденоносцам сельского хозяйства писать автобиографии, а Россомахину — книгу о борьбе с белогвардейцами в Приуралье. Тогда я имел дело с омским издательством, почему мне и попалась в руки та рукопись, о которой я хочу рассказать.

С великим сомнением берусь я за этот рассказ. Речь пойдет о том, о чём у нас как-то не принято распространяться, как о досадных деталях, не имеющих ничего общего с целым, словом, о явлениях, лежащих как бы вне литературной и общественной жизни — явлениях негативных. Что такое явления негативные? Ну, ясно — отрицательные явления. Негатив, как сказано в энциклопедическом словаре, это фотографическое изображение, противоположное в отношении передачи светотени изображаемому объекту, светлые части на негативе получаются тёмными и наоборот. Негативизм — синоним некоторых психических заболеваний — сказано там же. Значит, я правильно употребил это слово, относя эту рукопись к негативным явлениям, ибо я убедился, что она написана безумцем, для которого всё светлое превратилось в тёмное, а всё темное озарилось зловещим белёсым светом.

---

* Смотри новеллу «Круглая звезда Айналайн» в собрании сочинений в 3-х т. Т.3. С. 235// М., «Художественная литература», 1977.

Эта рукопись, примерно на пять-шесть печатных листов, была столь чётко и красиво переписана от руки, что её было совершенно легко читать. Просмотрев первые страницы, я понял, что повествуется о местах довольно хорошо мне знакомых, как, в сущности, и мало известных — о степях между железнодорожной линией Омск — Петропавловск и границею Казахстана. Я не однажды объезжал эти плодородные чернозёмы и целину пастбищ, районы строительства совхозов Зернотреста, усадьбы которых проектировал мой отец, а постройку описывал я в своих очерках. Эти края были заселены в начале века переселенцами, главным образом с Украины. Я не однажды проезжал всякие там Полтавки и Таврические, бывал в их белых мазанках с печами, на которых красовались незамысловатые рисунки с петухами и солнцами. Такие узоры на печах, да ещё на полотенцах были единственными украшениями убогих жилищ, не осенённых даже древесной листвой и не обрамлённых зеленью огородов. Хлеб и мясо — вот что было целью жизни переселенцев. Ни моркови, ни помидоров, ни огурцов, а тем более ни картинок, ни книжек, разве только иконы да гармонии. Глухие, степные края.

И вот я углубился в чтение повести, явно автобиографической, о жизни мальчишки, растущего именно в этих краях. Автор умело вводил меня в круг своих товарищей, мальчиков и девочек из степного переселенческого села. Рассказ этот показался мне необычным и странным. Было ясно, что автор именно тот, за кого он себя выдаёт, что он не много читал, не имеет никаких литературных навыков, не знает, например, как выделять живую речь, диалоги, какие при этом требуется ставить знаки препинания. Он, повторяю, писал красиво и чётко, но всё в одну строку. Более того, он был попросту малограмотен, допускал грубейшие грамматические ошибки и, как я заметил, без малейшего волнения и смущения вычерчивал отвратительную матерную ругань, извергаемую действующими лицами. Впрочем, он делал это без смущения, но и без удовольствия, с беспристрастностью фольклориста, записывающего похабную сказку. Однако он не рассказывал сказок, а фиксировал несомненную явь. Его

повесть дала мне ёмкое представление о том, как росли и воспитывались дети в краях, где зимние бураны заметают жилище по крышу и приходится вылезать не свет божий через печную трубу. А летнее солнце безжалостно жжёт и мучит подобно огненному змию. Приблизительно так он и писал, я помню, меня поразило это сологубовское уподобление солнца дракону. Но он не ограничивался описанием картин природы, а писал о переживаниях своих маленьких героев так, что, читая, я говорил самому себе: «Вот ты поэт, журналист, писатель, сколько раз ты прошмыгивал через эти посёлки на мотоцикле, на автомобиле, сколько раз заглядывал ты в хаты, а заглянул ли ты хоть однажды в души к этим людям, которым как будто бы нет дела ни до чего, кроме земледелия и животноводства! Разве ты, — говорил я себе, — подумал хоть раз, какими глазами смотрят сельские девочки и мальчики на случку кобыл с жеребцами, быка с коровами. Представлял ли ты себе, с каким чувством девки стегают крапивой мальчишек, а мальчишки девчонок!» С удивлением и некоторым недоумением читал я эти страницы, странно напоминающие Фёдора Сологуба и Жана Жираду. Но, читая дальше, я чувствовал всё возрастающую тревогу. Речь всё более внятная шла уже не о жестоких сельских идиллиях, не о детских забавах и бедах, но о бедах тёмной степной стороны, о том, как страшная и стыдная болезнь проникла в степную глушь. И читая это клинически точное, трагически ясное повествование, я вдруг догадался, что это ни что иное, как исповедь безнадёжно больного! Вопль о помощи, быть может, не только ему, а многим.

И тогда мне вспомнилось многое. Самое разное. Мне вспомнилась история Русского Устья, заполярного русского села, открытого когда-то ещё во второй половине XIX века ссыльным революционером Иваном Худяковым. Люди, жившие в этом селе на низовьях Лены, говорили в начале XX-го века языком времён Иоанна Грозного. Небезызвестный Зензинов описал всё это в книжке, вышедшей, кажется, в 1912 году. А в середине двадцатых годов Абрамович-Блек в книжке «Записки геолога» рассказал о том, как спортсмен-

путешественник Травин, едучи на велосипеде из Ленинграда на Камчатку по побережью Полярного моря, заразился в этом Русском Устье гонореей. Впрочем, в связи с этим началась целая дискуссия: говорили, что он там не заразился, а наоборот, заразил тамошних прекрасных жительниц, говоривших на русском языке Иоанна Грозного.

С Русского Устья мысль моя перескочила на Новосибирск, вернее на повесть Зазубрина «Общежитие», раскритикованную и осуждённую в своё время как пасквиль на советских работников, — Зазубрин изобразил, как все обитатели этого общежития перезаразились дурной болезнью. Зазубрин, человек горячий и честный, принимал близко к сердцу эту проблему. Он напечатал в «Сибирских огнях» статью иркутского профессора Топоркова, в которой тот утверждал, что чуть ли не всё человечество явно или тайно заражено этой болезнью. Он имел смелость находить её чуть ли не у всех кругом.

Словом, отчаянье моего степного сочинителя перекликалось с тоской и тревогой целого ряда самых разных людей — профессора Топоркова, писателя Зазубрина, очеркиста-геолога Абрамовича-Блека. Но дело не только в той болезни, которая у нас называлась французской, а у французов — американской. Дело было во всей обстановке, которую изобразил в своей повести этот малограмотный, но красноречивый автор. Он столь отчётливо изобразил белёную пустоту степных украинских хат, что мне вспомнилась и ещё одна из таких хат, и ещё одно обитавшее в этой белёной пустыне существо, мне не чужое, но и совершенно чужое — моя кузина.

Моя кузина, то есть двоюродная сестра, довольно молодая женщина, которую бы я не узнал в лицо и имя которой, бог мне простит, забыл накрепко сразу же после того как с ней встретился и расстался.

Это было в 1925-м.

Я после путешествия по Казахстану, по трассе будущего Турксиба, явился в город, уж не помню, как он тогда назывался — ещё Пишпек или уже Фрунзе. Кроме вопросов

железнодорожного строительства меня увлекла ещё идея узнать, как живёт в Киргизии мой дядя Володя, Владимир Григорьевич. Как известно читателям, он был отдан в оренбургский кадетский корпус, но, закончив его, стал по слабости здоровья не офицером, а садоводом, поселившись поблизости от Пишпека в Токмаке.

Намереваясь поехать в Токмак, я пришёл на базарный караван-сарай узнать, не случится ли попутчиков. Я так и сказал караван-сарайщику, де в Токмаке, по моим сведениям, должен жить мой дядя Владимир Григорьевич Збарский, так вот я хочу поехать к нему.

— Збарский Владимир Григорьевич, вот он там чай пьёт, — сказал мне караван-сарайщик и указал пальцем под навес.

Действительно, там, сидя по-киргизски на коврике, распивали чай несколько смуглых бородачей, в одном из которых я признал своего дядю Володю, очень походившего на другого моего омского дядю Сашу.

Я подошёл и отрекомендовался. Надо сказать, что я одет был довольно пёстро — в ковбойку и шорты, на голове была сетон-паулевская шляпа. На ногах красовались запылённые бутцы. И поэтому я не удивился, когда дядя, почтенный садовод, взглянул на меня с некоторым неодобрением. Может ли быть у него такой несолидный племянник? Я рассеял это подозрение, сказав несколько слов, убедивших моего дядю, что я именно тот, за кого себя выдаю.

— Да, да, узнаю вас, хоть видел вас очень, очень маленьким. Зачем же вы пожаловали? — спросил Владимир Григорьевич.

— Я где прошёл пешком, где проехал всю будущую трассу Турксиба.

— Вы что же, геодезист?

— Нет, я журналист.

— А-а, — сказал дядя, — значит вы по газетной части?

— Вот именно.

— Описываете? Ну что ж! Присаживайтесь, попейте чайку.

В общем, я понял, что он не против того, чтоб я поехал с ним в Токмак, но и не настаивает на этом в виду, как он сказал, моей занятости и важности моих дел. Он не иронизировал, но я понял, что род моих занятий, так же, как и мой костюм, ему не по душе, что он предпочитал бы видеть меня агрономом, или врачом, или ветеринаром, в которых у них, как вероятно и везде, недостаток. Я его успокоил, сказав, что к нему не поеду, не хочу мешать в страдную пору. И он, явно обрадовавшись, ответил, что действительно у него много дел и, например, сейчас ему надо навестить дочку.

— Если угодно, пойдёмте со мной. Познакомитесь со своей двоюродной сестрицей, она тут обитает в городе, — добавил он.

И мы пошли. Город тогда представлял собою только скопище старых строений вокруг базара. А улица, на которую он меня увлёк, и вовсе даже не напоминала городской улицы, а, окраинная, она представляла собой убогое рассредоточение мазаных хаток над ручьём, или арыком.

К одной из таких хаток он и привёл меня. И из этой хатки вышла, как мне показалось, самая обыкновенная деревенская женщина-украинка.

— Ваша кузина! — сказал мне дядя, усмехнувшись. А ей сказал: — Двоюродный твой брат.

Кузина моя испуганно вытерла подолом руки. Как оказалось, мы оторвали её от стирки белья. Она мне ничего не сказала, только смотрела на меня черными украинскими глазами. Я заглянул в хату. Хата была, как хата. Пустая.

Отведя мою кузину в сторону и о чём-то тихо поговорив с ней, дядя обернулся ко мне и сказал:

— Пойдёмте. Видите, как бедно живут. Тут им не до гостей.

И мы расстались. А потом на перекрёстке я расстался и с дядей. Так уж вышло.

И я отправился в редакцию местной газеты. Там весёлый человек в шортах, как и я, милейший Лебедев сразу же оценил по достоинству моё поведение, он заставил меня тут же написать, прочёл, взял и оплатил очерк о балхашских ти-

грах джульбарсах. А после этого доверчиво спел мне свой туркменский марш:

Чёрный ворон кричит в предрассветной тиши,

Но спокойно в шатре боевом у паши.

До сих пор помню слова и мотив этой песни и пою её ему, когда мы теперь встречаемся. А вот как зовут мою кузину, забыл. Это, конечно, ужасно.

И вот эту-то свою кузину я и вспомнил тогда, читая страшную повесть степного бытописателя, написанную с орфографическими ошибками, но чётко и ясно на плотной шершавой бумаге какого-то альбома не альбома, бог знает, откуда он взял эту хорошо переплетённую тетрадь.

В такие тетради любят вносить свои творения отъявленные графоманы. Но это был не графоман, это был человек, обладающий несомненным даром, даром тоски и отчаяния. Так убедительно он писал о людях, заброшенных в сторону от большой дороги жизни, куда-то на задворки этой жизни и на окраины её, в великую глушь; о юношах и девушках, девушках, может быть чем-то подобных и моей, может быть и не несчастной, но явно несчастливой двоюродной сестре, стирающей чьё-то — мужнино ли, детское ли бельё в такой же пустой украинской хате, какая описана выходцем из села Таврическое, отброшенным от Таврии к чёрту в турки, в тартарары.

И мне захотелось незамедлительно наладить контакт с этим писателем, помочь ему чем могу, расспросить его обо всём. Прежде всего, надо было узнать имя его и адрес. Я заглянул в конец рукописи.

— Чара-Люстр, — прочёл я.

И рядом с этим странным именем стоял номер, телефонный номер. То есть я догадался, что эта цифра, если она вообще может что-нибудь значить, должна означать только номер телефона и ничего больше.

Так и оказалось.

Когда мы с директором издательства Тихоновым позвонили по этому номеру, нам ответили, что это больница для хроников, отделение, где находятся уже безнадёжные боль-

ные, прогрессивные паралитики. Ни о каком Чара Люстр, или Чаре-Люстр и вообще ни о каком больном, занимающемся литературным творчеством, говоривший с нами врач знать не знал и ведать не ведал. «Таких у нас нет», — сказал он решительно.

Впрочем, мы и не доискивались особенно. Тут разразились события 1937 года и всё пошло вверх тормашками. Но когда всё более или менее успокоилось и все уцелевшие вернулись к текущим делам, я всё-таки предпринял кое-какие попытки узнать хоть что-нибудь из того, о чём рассказывала таинственная рукопись. Так я узнал, что дурная болезнь, о которой писал Чара-Люстр, ликвидирована, сведена на нет в этих краях, о чём свидетельствуют статистические данные, и ещё узнал кое-какие подробности о быте населения степных сёл и деревень, но так и не узнал о судьбе степного писателя. Расспрашивая сведущих людей о том, не знают ли они какого-нибудь степного автора, я наслушался рассказов о разных рукописных трудах сектантов-баптистов и адвентистов седьмого дня. А один инструктор Облисполкома уверял меня даже, что он в отрочестве служил батраком у степного мормона, у которого была какая-то таинственная книга. И когда я усомнился насчёт мормона, он по пальцам пересчитал мне мормоновых жён, описав наружность каждой и вспомнив, как их звали. Много чудес наслушался я, но о человеке, назвавшем себя Чара-Люстр, не ведал никто.

Что означал этот псевдоним? Чара-Люстр в смысле чара люстр, волшебство, колдовство люстр, очарование их? Или же Чара-Люстр, то есть чаша люстр. И откуда в сознании степного жителя возник этот образ — люстр? Может быть, это были церковные люстры, но только они не называются люстрами, а называются паникадилами, и в редких уцелевших сельских церквях степного края я что-то не помню никаких и даже паникадил. А может быть, этот псевдоним возник в результате лицезрения фотографий Дома Союзов, или каких-нибудь кремлёвских дворцов — ведь журналы доходили, конечно, и в степные сёла, а писатель, конечно, был и читателем. Была ведь даже и такая газета «Писатель и читатель».

Так я и не узнал, кем он был, этот псевдоним, и что с ним сталось. Так же, как, да простит мне создатель, не узнал и что сталось с моей далёкой киргизской кузиной. Жива ли она. Живы ли её дети, или дети её детей. И вырвались ли они из того мира пустых, бедных мазаных хаток. Конечно, я понимаю, этих хаток, вероятно, давно уже нет, но если нет тех, так осталось немало других подобных, может быть, более благополучных, но хаток. А может быть, вовсе не погиб, а жив и здоров и этот Чара-Люстр, и обитает себе где-нибудь рядом, старый и почтенный, невидимый патриарх прошлых лет.

У исландцев есть загадочное и многозначительное поверье о том, что в этом мире рядом с нами, в непосредственной близости, как бы впритирку к нам, существует ещё и какой-то другой мир, нам невидимый. Там идёт своя, совершенно реальная жизнь, со своими радостями и бедами, но чрезвычайно редко люди того мира оказываются в нашем и наоборот. Оказаться в чужом пространстве — это значит промелькнуть и скрыться.

В сущности, это похоже на правду и случается чуть не на каждом шагу.

Но нет сомнений: наш мир — реальный, в нём больше порядка, смысла, а явлений негативных много меньше, чем в каком-нибудь ином мире.

## ДРУГ ВЕРНАДСКОГО

О Драверте вспоминают и как о поэте, и как об учёном — всегда почтительно, но чаще всё-то как-то вскользь. Я знал Петра Драверта и считаю своим долгом рассказать о нём всё то, что помню. Может быть, это пригодится тем, кто стремится так или иначе восстановить его облик, цитируя те или иные его стихи, которых и вообще было не столь уж много. Самые известные из них, пожалуй, вот эти:

От моей юрты до твоей юрты
Горностая следы на снегу.
Обещала вчера навестить меня ты, —
Я дождаться тебя не могу.
От юрты твоей до юрты моей
Потянул сероватый дымок:
Ты варишь карасей для вечерних гостей,
Я в раздумье сижу, одинок…
От моей юрты до твоей юрты
Горностая следы на снегу.
Ты, пожалуй, придёшь под крылом темноты,
Но уйду я с собакой в тайгу.
От юрты твоей до юрты моей
Голубой разостлался дымок.
Тень собаки черна, а на сердце черней,
И на двери железный замок.

Это он написал в Якутии, куда студентом попал в ссылку за то, что выстрелил из пистолета в черносотенную манифестацию с балкона дома своего отца, казанского прокурора. Так, по крайней мере, я слышал. Я не пишу биографию Драверта, я пишу свои воспоминания и вспоминаю именно то, что приходит на память. И, таким образом, когда в начале двадцатых годов Драверт занял профессорскую кафедру в Омске, я понимал, что Пётр Людовикович в год моего рождения, 1905-й, попав в якутскую ссылку, превратился там, в местах не столь отдалённых, подобно Тану-Богоразу, в учёного. Тан стал этнографом, Драверт — геологом и искателем метеоритов, там же, а может быть и ещё раньше став и поэтом. Где он стал профессором, я не знал и до сих пор не знаю, во всяком случае, я познакомился с ним в его учёном кабинете на омском рабфаке, помещавшемся в здании бывшего коммерческого училища на задах Любинского проспекта между старым увеселительным садом «Аквариум» и воротами омской крепости. Из рабфаковских окон можно было увидеть: с одной стороны эспланаду и ракови-

ну «Аквариума», с другой стороны часть дореволюционного омского Сити — Гасфордовский переулок — серое с бетонными кариатидами здание страхового общества «Саламандра»; с третьей стороны трубу электростанции над пароходными пристанями; а, наконец, с четвёртой стороны за крепостными воротами — старую кордегардию и место, где предположительно находился когда-то Мёртвый Дом Достоевского. Всё это можно было увидеть из окон, если обходить по коридорам весь рабфак, но через окошко дравертовского кабинета не было видно ровно ничего, так как оно было покрыто ледяным наростом от топившейся в кабинете буржуйки, когда мы, молодые омские футуристы, пришли звать Петра Людовиковича в городской театр на вечер Василия Каменского.

— Нет, молодые люди, я не пойду с вами! — воскликнул Драверт. — Во-первых, я вообще не поклонник творчества Василия Каменского. Во-вторых, если вы хотите знать, он должен бы был явиться собственной персоной либо прислать пригласительный билет.

В общем, Драверт был, конечно, прав, и я лично не нашёл тогда слов, чтоб что-либо ему на это возразить. Мои приятели что-то говорили, а я смущённо и молча рассматривал метеориты на полочках, какие-то колбы с бесцветной жидкостью, книги, а главное, лицо профессора Драверта. Я видел Петра Людовиковича чуть ли не в первый раз. Рассерженный, бородатый, длинноволосый, он показался мне похож на какого-то византийского ересиарха. Но, видимо, я ошибался, потому что, когда, пристыженные, мы ушли восвояси, Виктор Уфимцев, трезвенник и вегетарианец, сказал язвительно:

— Фауст! Спирт вы заметили в колбе из-под зародышей, если не из-под гомункулуса! Выпить, говорят, не дурак этот Фауст!

Кто закрепил за Дравертом кличку Фауст — студенты или профессора, — я не знаю. Но если профессор математики Сибаки, он же вице-командир яхт-клуба Александр Львович Иозефер, насмешливый и долговязый, умел оглу-

шить воистину мефистофельским хохотом гладь вод и пологие берега, то Драверт действительно превращался в Фауста под сводами подвальчиков старого Омска. Пётр Людовикович, не пожелавший идти на поклон к заезжему московскому футуристу, весьма благосклонно дарил нас, зелёную молодежь, своим обществом. Он не стал отказываться от экскурсии по всяческим кабачкам, которыми изобиловали тогда бывший Любинский проспект, превратившийся в улицу Ленина, и бывшая Дворцовая, сделавшаяся улицей Республики. И часто, стряхнув с себя свою, как мне казалось, исступлённую византийскую жёсткость, он, помахивая тросточкой, спускался с нами в пропахнувшие пивом подземелья, чтоб там, повесив потрёпанную шляпу на гвоздь, попивая, что придётся, читать свои якутские стихи и напевать слегка дребезжащим голосом что-нибудь вроде «Гаудеамуса» или «…к пиву весёлому жёлтый табак принесён, кружит нам голову сам бог Аполлон».

«Ибите, бебите коллегиалес», — подпевали мы ему с увлечением, коверкая благородную латынь студенческих песен.

Фаустизм Петра Людовиковича сказывался не только в этом. Вскоре мне посчастливилось увидеть Драверта не только в учёном кабинете, но и в домашнем быту. Зачем-то я заявился на его квартиру в домике, примыкавшем к городскому отделению Сибаки на Тобольской улице. Дверь открыло существо, которое мне показалось седым, иссохшим, будто бы в сто раз состарившимся Дравертом. Я просто обомлел при виде этого полуфантома. Но когда он еле слышимым голосом сказал, что Петя в данное время в своём кабинете в доме рядом, то есть в отделении Сибаки, я догадался, что передо мной стоит отец Драверта, тот самый бывший казанский прокурор, с балкона, дома которого Пётр Людовикович когда-то палил из пистолета по черносотенцам. Окинув с порога взглядом дравертовскую квартиру, загромождённую какими-то старинными шкафами, доставшимися, видимо, в наследство от старых хозяев дома, я направился в соседнее здание, занятое городским фили-

алом Сибаки. Это было двух- или трехэтажное строение, вроде как в стиле модерн, если память мне не изменяет и если она не изменяет мне и в дальнейшем, то я помню, как по каким-то тёмным коридорам я вошёл в не более светлую залу, по стенам которой висели географические карты, а посередине на паркете стояла юрта или чум. Около чума сидела монголоидного вида девушка. Это была не кукла, а лаборантка Петра Людовиковича. Он же, как оказалось, был в это время в чуме, оттуда и вышел мне навстречу. Позднее я слышал, что в этом чуме, где Пётр Людовикович хранил инструменты, он иногда и романтически ночевал, если приходила такая фантазия. Впрочем, всё это, может быть, были просто сплетни, пустые толки досужих провинциалов, мало ли что они ни толковали о вдохновенном поэте, учёном, омском Фаусте в старомодном, но всегда элегантном костюме, я говорю о летней одежде, потому что зимой Пётр Людовикович, как, впрочем, и почти все другие интеллигентные сибиряки двадцатых годов, ходил в потёртой куртке на рыбьем меху и в неопределённого меха ушанке. Но, не выделяясь из общей массы людей нарядом, профессор был, конечно, отчаянным гордецом и романтиком. Так, например, говорили, что, будучи приглашён нашей Академией Наук, Пётр Людовикович не поехал в Париж, а вернулся с омского вокзала, потому что не получил плацкартного места в вагоне. Может быть, это выдумка, но она бросает свет на личность Драверта не менее яркий, чем повествование о том, как Драверт, будучи однажды посажен в ГПУ, просидел там несколько недель или месяцев, с негодованием отвергнув все ложные обвинения и опровергнув ложные подозрения, и освободившись, чуть ли не в тот же день отправился зимним путём в Тару за каким-то метеоритом, а найдя его и погрузив в сани, чуть ли не весь обратный путь вёрст в двести бежал бегом вслед за этими санями, чтоб, согреваясь, не простудиться и подразмяться.

Вот что толковали про Петра Драверта, учёного и поэта или поэта и учёного, я не знаю, как сказать лучше, чтоб не обидеть его памяти. Дело в том, что в этих вопросах о по-

эзии и науке он был особенно щепетилен. И именно на этой почве и произошло у нас некое печальное и, по-моему, напрасное недоразумение. Попробую рассказать об этом подробней.

Суть в том, что в продолжении более чем пятнадцати лет наши отношения были идеально дружественны и никогда ничем не омрачались. С самого начала я высказал ему должное восхищение его стихами, а он, ознакомившись с моими, относился к ним почти всегда благосклонно. Он отмечал, что я, несмотря на участие в футуристических и антоносорокинских авантюрах двадцатых годов, творчески отнюдь не являлся каким-нибудь кубистом или заумником, а наоборот, разумен, благоразумен и следую благороднейшим традициям родоначальников русской сибирской поэзии, к которой он, несомненно, и к тому же совершенно справедливо, причислял, конечно, и себя. Он, который очень редко печатался в столичных журналах, мне кажется, искренне радовался моим первым, пусть небольшим успехам в Москве... Когда же мы с женой в 1935 году вернулись в Омск, я снова стал довольно нередким посетителем его новой квартиры на Банной улице близ монополки. Туда, на Банную, я принёс в сороковом году и синюю книгу своих поэм, которая вышла у меня в издательстве «Советский писатель». И я помню, что Дра́верт встретил эти поэмы самым наилучшим образом. Он даже написал в газету «Омская правда» статью, в которой напомнил читателям, что мука делается не в Гамбурге, то есть нет, мол, пророков в своём отечестве, и мне, Леониду Мартынову, потребовалось напечатать книгу в Москве, чтоб меня наконец признали в Омске. Таким образом, были все основания, чтобы между мной и Петром Людовиковичем царили мир и согласие, но тут же и произошёл инцидент, вызвавший его ужасный гнев.

Драверт, ища на книжной полке что-то ему нужное, положил прямо передо мной кучку снятых с полки книжек и журналов. Я стал перебирать их. Помню, мне попался английский научный журнал со статьёй, касающейся метео-

ритных находок Петра Людовиковича, затем брошюра под названием «Монизм Вселенной», на которую я по тогдашнему невежеству своему не обратил должного внимания, хотя и прочёл на обложке дарственную надпись Петру Людовиковичу от автора. Я отложил эту брошюру, заинтересовавшись другим изданием, местным краеведческим журнальчиком, в котором была напечатана статья Драверта о петрографии и геологии.

— Пётр Людовикович, — сказал я, — то, что Вы поэт, видно даже по Вашей прозе.

— То есть как? — спросил он.

— А так. Слушайте, я прочту Вам несколько строк, и Вы убедитесь, что Ваша статья о метеоритах написана не только ритмической, но даже рифмованной прозой.

И я начал читать, подчеркивая не только ритмичность текста, но и созвучия, конечно, не рифмы и даже не ассонансы, но те далекие глубокие созвучия, которые я много лет спустя определил в одном из своих стихотворений как созвучия «металлическая роза» и «коррозия металла». Но это было много лет спустя, а тогда я только читал Драверту его статью, искренне восхищаясь ею и стараясь подчеркнуть своей декламацией особенности дравертовской фонетики. И вдруг я заметил, что Драверту всё это очень не нравится.

— Вы издеваетесь надо мной! — воскликнул он.

— Да нет же, я говорю совершенно серьёзно.

— Тем более! Это научная статья, и я не позволю.

— Да это хорошо, а не плохо, с моей точки зрения! — закричал я.

— Мне нет дела до Вашей точки зрения! — воскликнул он. — Это научная статья, а Вы...

Так мы рассорились. Я до сих пор не понимаю, на что именно он обиделся. Но, конечно, тут было одно из двух: или его обидело, что в нём поэт преобладает над учёным, или, наоборот, что учёный преобладает над поэтом. Разумеется, я не имел в виду ни того ни другого, наоборот, я имел в виду подчеркнуть гармоническое сочетание обоих начал. Я, конечно, ничуть не сомневался в научной ценности его ста-

тей и рефератов, а что касается его поэзии, так я и до сих пор наизусть помню не только про юрту, но и те стихи: «ни ониксы, ни сарды не пел я никогда, но в недрах Сан-Готарда есть странная слюда…», и те стихи, в которых он восклицает: «У меня кристаллы красные растут…» — словом, я всегда ценил и ценю его живую и непосредственную поэзию, в чём бы она ни выражалась. И то, что произошло у меня с Дравертом, отчасти напоминает мне только то, что произошло позднее у меня с Пабло Нерудой. Когда я переводил его стихи, я сказал ему, что в одном из понравившихся мне стихотворений я вижу такие-то и такие-то созвучия, но он ответил, что это просто белые стихи, а я сказал, что, тем не менее, в них есть созвучия, он же ответил, что подчёркивать их не надо, они действительно, может быть, и есть, но они случайны, так как, когда он писал это стихотворение, он сознательно писал их как безрифменные стихи, он тогда отрицал рифмование, и таким образом это не рифмы и не ассонансы. Но я сказал: пусть так, это не рифмы, не ассонансы, какие-то иные, но созвучия, органически присущие Неруде, когда он находился в состоянии рифмоотрицания, и Неруда — разговор шёл через Эренбурга — в общем, согласился со мной, и всё кончилось благополучно. Однако всё это было гораздо позже и всё-таки Неруда, будучи поэтом, не был при этом профессором геологии, как Драверт, а с Дравертом я так ни о чём и не договорился, и рассердился он на меня не на шутку.

И вот теперь, перечитывая всё вышеизложенное, я думаю: а может быть, вся эта история с ритмическим чтением научной статьи была только поводом для взрыва гнева, зародившегося и не только по этому поводу. Может быть, этот старый поэт и учёный, этот человек, отправленный в якутскую ссылку в тот год, когда я появился на свет божий, Пётр Людовикович Драверт обижался на меня и по другой причине. Быть может, в тот вечер, когда я в самоупоенье от успеха синей книжки своих исторических поэм и от похвальной статьи об этой моей книге пришёл к нему в гости и не мог толковать ни о чём, кроме художественной лите-

ратуры, может быть, в этот вечер ему особенно не понравилось, с каким я равнодушием лишь мельком взглянул на ту самую брошюрку «Монизм Вселенной». Ведь авторская дарственная надпись исходила, как я теперь понимаю, от Циолковского. Вот какая книга лежала на столе Драверта, покрытом чуть ли не космической пылью, ибо Драверт, в числе всего прочего, был и сотрудником Вернадского по сбору космической пыли на Обском севере, о чём я и считаю необходимым сейчас довести до сведения или напомнить биографам Петра Людовиковича.

Но, впрочем, я не думаю, что и этот последний довод насчёт Вернадского будет всем без исключения ясен: для многих моих современников и имя Вернадского звучит не громче, чем имя его корреспондента Драверта, разве что именем Вернадского назван проспект на окраине Москвы. Для тех, кому мало известно имя Петра Людовиковича Драверта, я и хочу сказать, пожалуй, следующее: Драверт, будучи трудолюбивым и самоотверженным учёным, писал стихи много лучше, чем, скажем, научные стихи академика Николая Морозова, шлиссельбуржца, и если с чем-нибудь сравнивать позднего Драверта, чего вообще делать нельзя, потому что истинная поэзия неповторима, то, пожалуй, творчество Драверта в некоторой степени похоже на некоторую сторону поэзии упомянутого выше Пабло Неруды, который, не будучи профессором геологии, сумел воспеть своё Чили, его горностойкосапфирную руку над флорою, высохшей от селитры. Пусть это сопоставленье двух столь разных поэтов звучит сомнительно и спорно, но именно на этом и решил я закончить свой скромный нехитрый рассказ об омском Фаусте.

Но теперь я дописываю о том, что произошло дальше. А произошло следующее.

Я прочёл всё это Виктору Уткову[5], тому самому Виктору, который столь блестяще дополнил мои воспоминания о ху-

---

[5] Утков Виктор Григорьевич (1912—1988) — писатель, близкий друг Л.Мартынова.

дожнице Елене Калач. И действительно, Виктор явился в урочный час. И, выслушав эту нехитрую повесть, он сказал решительно и прямо, что она ему не нравится. И как бы разворачивая мои воспоминания в обратном порядке, он начал с конца, сказав, что ему кажется натянутым сравнение творчества сибиряка Драверта с чилийцем Нерудой и что он считает неуместным с моей стороны замечание, что учёный-поэт Драверт писал стихи гораздо лучше, чем Николай Морозов, и это звучит непочтительно по отношению к славному шлиссельбуржскому узнику. Неужели я не нашёл никакого другого примера, например, Филатова, хорошего учёного, писавшего скверные стихи. Да в том-то и дело, что Филатов писал скверные, а Драверт — хорошие стихи, сказал я, с чем Виктор не мог не согласиться, но всё же остался при своём мнении. Однако прекратив разговор о Драверте-поэте, он заметил, что я недостаточно точно обрисовал Драверта как учёного. «Ты пишешь, — сказал Виктор, — что о трудах Драверта плохо знают, но известно ли тебе самому, что Драверт не только был сотрудником Вернадского по сбору космической пыли, но и о том, что Вернадский в 1941 году объявил во всеуслышанье, что его друг Драверт правильно объяснил причину таинственной космической мглы на сибирском Севере, указав, что это не что иное, как туча космической пыли!» «Да, вот этого я не знал», — сказал я. «А об этом можно найти в сочинениях Вернадского, которые у тебя есть на книжной полке! — язвительно заметил Виктор. — Я для этого и брал у тебя Вернадского. Драверт очень большой учёный. И кстати, я пишу обо всём этом в большом очерке о Драверте, который должен выйти в свет в будущем году»[6].

— Вот и прекрасно! — воскликнул я. — Наконец-то будут знать о Драверте больше, чем знают. Ты-то уж напишешь по-настоящему, не так, как те, что писали до сих пор, и в адрес которых я и пустил шпильку.

---

[6] Книга Виктора Уткова «Люди, судьбы, события», в которую вошёл очерк о П.Л. Драверте, вышла в Западносибирском издательстве в 1970 г.

— Но странно, что ты всего этого не знаешь, — заметил Виктор. — Ведь я же тебе показывал этот очерк, и ты ещё сделал тогда ряд ценных критических замечаний, но, видимо, ты забыл.

— Это и хорошо, что я не написал того, что написал ты, — отвечал я. — Каждому своё. Каждый помнит и знает то, что знает и помнит.

— Да, — согласился Виктор, — и вот я, например, не помню, чтобы у Дравертa была с авторской дарственной подписью Циолковского именно брошюра «Монизм Вселенной». Ты знаешь, начнут искать, а вдруг не найдут.

— Но вообще-то брошюры Циолковского с дарственной подписью Драверту были.

— Да, и не одна.

— Значит, может быть, я перепутал одну брошюру с другой, — сказал я.

— Да, — согласился Виктор. — Возможно, ты перепутал. А кстати, я не помню, чтоб Драверт писал о тебе статью о том, что мука делается не в Гамбурге. У тебя есть эта статья?

— Есть где-то, — не особенно уверенно ответил я, размышляя, куда мы могли запрятать эти старые газеты. — Где-нибудь да есть.

— А журнал со статьёй Драверта ты точно помнишь, какой ты упоминаешь?

— Нет, точно не помню.

— Вообще, вся эта история, что Драверт на тебя обиделся, — неопределенно пробормотал Виктор, — точно ли всё это ты помнишь. Кстати, ты говоришь об его отце… Он вовсе не был казанским прокурором.

— Как? — воскликнул я, на этот раз уже не на шутку встревожась. — Так кем же он был?

— Председателемсудебнойпалаты, —уточнилВиктор, — И ты не сказал, что он сам судил Петра Людовиковича. Сам упёк его в Якутию.

И, кратко рассказав о том, что Драверт привлекался в 1905 году уже во второй раз, а первый в 1901-м, Виктор добавил:

— Кроме того, мне кажется, что ты описал наружность старика неверно, сказав, что он маленький. Ничего подобного! Мне кажется, что отец был гораздо выше сына.

— Ну, нет, знаешь, — ворчал я. — Об этом я уж поспорю.

Но Виктор, который гораздо ниже меня ростом, чем, видимо, и объясняется разница наших восприятий старика Драверта, говорил уже о другом.

— И ты вообще мало знаешь о казанском периоде жизни Драверта, например, о его сестре Ксении, поэтессе, уехавшей жить в Париж после 1905 года.

— Ах вот как!

Услышав это, я как-то по-новому представил себе обстоятельства несостоявшейся поездки Петра Людовиковича в Париж. Только ли из-за отсутствия плацкартного места в поезде из Омска отказался Драверт в последнюю минуту от поездки в Париж? Но, может быть, впрочем, всё это пустяки, тут же подумал я.

— Так что, тебе над статьёй о Драверте следует ещё поработать, — вроде как бы сказал Виктор.

— И не подумаю, — ответил я. — И не собираюсь. И ни к чему. Хорошо, что обо всём этом и ещё о многом другом написал ты. И очень рад, что у тебя этот труд будет напечатан в будущем году. А я мало знаю о Драверте.

И я ещё раз убедился, что всё, что я иногда записываю в каком-то порыве, как безумный, красными чернилами на белую бумагу, — это не мемуары, не воспоминания, а разве что только комментарии к тем или иным своим стихам, написанным, недописанным, а когда-то ещё и вовсе ещё или уже не написанным, а в данном случае даже и не к своим, а к чужим стихам, к стихам Петра Людовиковича Драверта.

## ЗАБЫТЫЕ ПОЭТЫ

Я рассказал о некоторых забытых поэтах — о Георгии Маслове, об Игоре Славнине, но ничего не сказал о Юрии Сопове; упомянуть о нём мне кажется необходимо.

Юрия Сопова считали отъявленным колчаковцем. Я не был знаком с ним, но расскажу о том, что знаю. Я знаю, что его имя было вовсе не Юрий, а Пётр, и подписываться Юрием Соповым он стал для ритмичности и благозвучия. Всё это рассказал мне Антон Сорокин. У него же я увидел и первую книжку Юрия Сопова, изданную провинциально, с трафаретно-типографскими виньетками. Стихи показались мне слабыми, и запомнилось из них только вот это:

Нас много, нас много в покоях чертога
Властителя водных завес.
Сбирайтесь юнцы, русалки девицы,
Под звёздную кровлю небес.

Книжка была выпущена перед революцией или во время неё. Затем, как сказал мне Сорокин, Сопов печатался в «Известиях» Совдепа, а вслед за этим, позднее стал печататься в колчаковских изданиях. Кажется, в журнале «Русская Армия» я, четырнадцатилетний, и прочёл два запомнившихся мне стихотворения Юрия Сопова. В одном говорилось о судьбе увядших подснежников, листья которых напоминали мятежников, переживших своих королей. А другое, «Шахматы», звучало приблизительно так:

Гамбит короля и застенчивости!
Шахматы, любовь и тоска.
У маленькой белокурой женщины
Пушистые волосы на висках.
Счастье игры изменчиво,
Волнуется мир фигур.
У маленькой белокурой женщины
Брови, как тёмный шнур.
Счастье любви переменчиво,
Сердце не верит словам.
Маленькая белокурая женщина,
Мат королю и вам!

Последние строки меня шокировали, показались мне безвкусными, но всё стихотворение, достаточно простова-

тое, подкупило меня своей безискусственностью. Однако сознание, что автор служит вроде как юнкером в личной охране адмирала Колчака, охладило меня к поэту, которого я представлял себе чуть ли не черкесом в папахе и бурке. И я был удивлён, когда однажды на улице мне показали довольно субтильного молодого человека в мешковато сидящей английской военной форме: вот этот сутуловатый и есть поэт Юрий Сопов! Затем он погиб. Подорвался, как говорили, на своей же гранате. И в газете, кажется, в кадетской «Сибирской Речи» появился некролог, написанный Георгием Масловым. В этой статье говорилось, что погиб поэт многообещающий, только что закончивший своё первое большое произведение, поэму об Артюре Рембо. И приводились отрывки из этого произведения. Я думаю, что не надо объяснять читателям этих строк, с каким интересом я, хорошо знавший и к тому времени даже пытавшийся переводить Рембо, стал читать эти отрывки из поэмы:

Лицо порочного ангела,
А рот зовёт и ворожит.
Туманы призрачной Англии
Легли на матовой коже.
Большие глаза с ресницами,
Как чёрные звезды с лучами.
Стихи изумрудными птицами
Слетали к нему ночами
И пели странные песенки
С капризным неровным напевом,
А феи по шёлковым лесенкам
Сводили его к королевам.

Читая эти строки, я понимал, что всё в них сказанное не имеет никакого отношения к настоящему Артюру Рембо, но такой образ Рембо пригрезился Юрию Сопову, видимо, потому, что ничего другого пригрезиться ему не могло, и мне надо было считаться с фактами, тем более что дальше уже вырисовывалось нечто более реальное:

Маленькая комнатка, чердачный Париж,
На полу одежды, на кровати тела.
Пьеро, Пьеро, почему ты грустишь?
Артюр Рембо, ты коснулся зла.
Бьются виски, и горит в груди:
Я искал Коломбину, нашёл швею,
Но Коломбина ждёт, она впереди.
Иду, ищу Коломбину мою!

Поиски Коломбины рисовались Юрию Сопову так:

Пеплом стынущей злости
Покрывался пройденный след:
Людьми и слоновой костью
Торговал усталый поэт —
Покупал рабов на Замбези,
Доходил до низин Лимпопо,
Всюду огнём и железом
Выжигая имя Рембо.

— Какой вздор! — подумал я.

Маленькие рабыни с глазами агатовыми
Любили Артюра Рембо,
Девушки с кожей коричнево-матовой
Целовали руки Рембо.
Белый дворец, обсаженный пальмами,
Был у Артюра Рембо,
Горели всегда огнями печальными
Глаза Артюра Рембо.

Смутные и противоречивые чувства овладели мной. Стихи мне нравились, но смысл их был мне отвратен. Торговец оружием — может быть! Но работорговец и рабовладелец — нет! Это не Артюр Рембо. Это миф о нём.

Затем действие поэмы переносилось в 14 год:

Гул канонады, как клёкот орлиный,
Пламя и дым забавляются танцами,
Пьеро, Пьеро, Коломбина гибнет!
Артюр Рембо, спасайте Францию!
Неужели вы струсили, безумный мечтатель?
Неужели вы можете умереть рабом,
Покинув родину, подлей, чем предатель?
Артюр Рембо, Артюр Рембо!
Нет! Я вас вижу в дыму окопов
С бомбой в руке, молодым и смеющимся,
А струйки крови текут потоком
По вашей новенькой форме поручика.

Таким, по отрывкам из некролога, возник передо мной Артюр Рембо, воскресший под пером Сопова. То есть, воскресший Артюр Рембо, певец Парижской Коммуны, объявленный работорговцем и рабовладельцем, спасает свою Коломбину — Францию, облачившись в новую форму поручика, не лейтенанта, но поручика, как колчаковец. Всё это вместе взятое было для меня кошмарно и противоестественно. Но ведь и всё кругом было кошмарно и противоестественно! Так мог написать о Рембо, — подумал я, — только обезумевший колчаковец, предсказывающий лишь свою смерть от собственной бомбы! Я ринулся на Каинскую улицу объявить обо всём этом Георгию Маслову, но первый раз не застал его дома, во второй увидел его через незавешенное окошко спящим, а третий раз он был дома и бодрствовал, но, глядя на меня стеклянными глазами, сказал, что о мёртвых надо говорить или хорошее, или ничего и что он скорбит о смерти Сопова и поэтому много пил, и всё ему противно, и сам он в опале, потому что на каком-то балу от презрения к людям танцевал с собакой.

— А завтра тот, кто был так молод, так дружно славим и любим, штыком, отточенным, приколот, свой мозг оставит мостовым! — повторил он мне свои стихи.

И действительно, до этого было уже недалеко. И никому уж не было дела ни до Рембо, ни до Сопова, о Сопове вспомнил разве только я, написав в конце 1919 года стихи о гибели колчаковцев:

Пьеро, Пьеро, манерный плакса,
Ты слышишь гул, ты слышишь гром,
Ты слышишь, бьёт тревожный мáксим
Там, на холмах, за Иртышом.

Конечно, эти стихи были в какой-то степени полемикой с несчастным Юрием Соповым: «Пьеро, Пьеро, Коломбина гибнет. Артюр Рембо, спасайте Францию!» А затем году в 1921 м, опубликовав в газете «Рабочий путь» уничижительную статейку о колчаковских поэтах, я как бы забыл о Юрии Сопове, было не до него. На моём умственном горизонте появилось так много нового и интересного. Над могилами мрачных, обречённых поэтов колчаковцев расцвела новая литературная поросль. Я с восторгом читал «Железную Паузу», книгу стихов Сергея Третьякова, вышедшую в Чите или Владивостоке:

Мы чай не допили, оставили тартинки,
На легком Опеле на пляж, на пляж!
Блестели в синеве пески, в воде паутинки,
Гитары вдребезги, мир наш, мир наш!
Сирена неистово взывает с испугом,
Пространства чистого миллионы вёрст,
Пейзажи взморских сумеров заходили кругом,
Мы все без нумера, нас только горсть!

Только горсть, но какая горсть в поэзии расплёскивалась передо мною. Помню, в начале двадцатых попала мне в руки белая книжка Александра Ярославского — книжка космических стихов, смысл которых сводился к такому обращению:

Люди далёких планет,
Граждане звёздной республики,
Вы ведь не скажете «нет»!
Вы ведь Земли не забудете!

Целая книга о междупланетных путешествиях, о будущих космических радостях. Откуда вынырнул и куда девал-

ся этот Александр Ярославский? Не знаю. Так же, как ничего не знаю и о судьбе владивостокского, а затем, кажется, харбинского поэта Арсения Несмелова, который стремился наладить контакт с «Сибирскими огнями» и вообще с новосибирскими литераторами. Из его творчества хорошо помню отрывки из напечатанного в газете «Советская Сибирь» большого стихотворения о декабристах:

Вы помните призыв Карамзина:
Чувствительность, ищи для сердца пищи,
А вслед за тем гражданская война,
Крестьянские волненья и Радищев.

Кажется, если не путаю, это звучало так. Дальнейшее помню точно:

...Светало. Плохо спавший Николай,
У зеркальца серебряного брился
И голосом, напоминавшим лай,
Кричал на адъютанта и сердился.

И дальше:

И император понял: — Дураки!
И, ощущая злость нечеловечью,
Он крикнул батарее — (передки
Давно уже отъехали):
— Картечью!

Было ещё много всяких имён. Вслед за Игорем Славниным, или ранее его, проследовала из Иркутска в Москву безобразница Нибу Хабиас-Петровская, выкрикивающая свои непристойности:

Спермой упитан зад хлюпкой юбчонки,
Рожи хохочут и ссут колпаки.

Я рассказываю обо всех этих поэтах, больших и малых, потому, что они забыты, так же как забыты и такие талантливые люди, как Маслов. И кто знает, может быть, некоторые из этих имён и вспомнятся в том или ином случае, и даже, может быть, проявятся в каком-то ином, новом свете, всяко ведь бывает. И, возвращаясь к Юрию Сопову, с которого я начал, я не считаю себя вправе умолчать и о следующем факте.

Уже во второй половине пятидесятых годов, незадолго до своей смерти, Всеволод Иванов, встретившись со мной однажды в Доме Литераторов, спросил:

— Вы знали Юрия Сопова?

— Лично — нет, — ответил я.

— А вот у меня есть сведения, — сказал Всеволод Вячеславович, — что он был нашим. Понимаете, что он проник в личную охрану Колчака неспроста. Но, бедняга, подорвался на собственной гранате, которую готовил совсем для другого.

## НАСЛЕДНИК КОРОЛЯ

О короле писательском Антоне Сорокине написано уже довольно много и образ его, уходящий всё глубже в былое, становится всё благостней и иконописней. И его биографы забывают или вовсе даже не ведают, что в беспокойно блуждавшем взоре короля писательского было нечто, если не демоническое, то, во всяком случае, дьявольское, шайтанское или, по меньшей мере, шаманское.

Сорокин и не скрывал таких своих качеств, нисколько не каясь в своих бесстыдных саморекламных трюках, в злых издевательствах над тупоумными редакторами, и в непочтении к памяти собственных предков, которые, по его словам, были не столько купцами, сколько степными грабителями, и недаром их могилы провалились в солончак.

Он был ангельски щедр, раздавая юным авторам машинописные удостоверения в гениальности, но был и дья-

вольски мстителен по отношению к тем, кто не признавал его таланта. Так, например, поссорившись на этой почве с братом своим, профессором медицины, он пустил слух, что тот вливает скупым больным вместо сальварсана чистую воду.

Кроме того, что он был мстителен, он был ещё и дико ревнив. Ревность его проявлялась отнюдь не в одной лишь зависти к преуспевающим собратьям по перу, о чём свидетельствует история его отношений со Всеволодом Ивановым или недоброжелательство к Кондратию Урманову, которого он упорно продолжал называть Тупиковым, Тупицей, вышедшим целиком из одного его, сорокинского, рассказа, но был просто житейски ревнив и к милейшей жене своей, Валентине Михайловне.

— Вы не представляете, до чего ревнив Антоша, — сказала однажды мне она. — Он и всегда был таким.

И Антон Семёнович в подтверждение этих слов Валентины Михайловны эпическим тоном поведал о том, как он женился на ней. Ревнуя её, прелестную дочь полковника Цикарева, ко всей павлодарской молодёжи, он решил её похитить. И для исполнения этой своей затеи он нанял здоровенных экибастузских грузчиков, которые по его наущению ворвались в покои Валентины Михайловны, закатали её в бухарский ковёр и вынесли из дома, и под видом ковра внесли по трапу с пристани на пароход.

— Так я увёз её из Павлодара, — бесстрастно заключил он, — и женился на ней и запер её, ревнуя!

Валентина Михайловна, помню, смеялась, слушая этот рассказ Антона Семёновича. А я отнесся к его повести, как может отнестись очень молодой человек к прекрасным, уже полуфантастическим воспоминаниям очень пожилых людей о их далёкой юности. Мне казалось, что для них давно уже миновали времена бурных страстей.

И та история, которую я попытаюсь изложить ниже, ручаюсь, неизвестна ни одному из многочисленных биографов Антона Сорокина, и, таким образом, я вношу в анналы литературоведения безусловно новый факт. Да пригодит-

ся он тому, кто когда-нибудь догадается написать роман о жизни короля писательского!

Суть в том, что чете Сорокиных при его мизерном заработке счетовода и скудных случайных литературных гонорарах всегда не хватало средств, и наконец Сорокины стали сдавать одну из двух своих комнат внаём квартирантам. Сперва, помню, у них поселилась студентка-медичка Аня Намятышева. Я часто беседовал с ней, заходя к Сорокиным. Затем я уехал из Омска, и, приехав туда в 1935 году, узнал, что уже без меня, видимо, это было уже во время болезни Сорокина и незадолго до его смерти, у них вместо Ани и поселился этот человек, который после кончины Антона Семёновича и стал вторым мужем Валентины Михайловны. Говорили, что это порядочный человек, оказавший всемерную нравственную поддержку вдове Сорокина, которого он уважал и чтил. Он не имел никакого отношения к литературе, служил, если я не ошибаюсь, в земотделе, постоянно выхаживал Валентину Михайловну от хронических рожистых воспалений, и, когда она умерла, похоронив её, остался один в их доме, где и жил замкнуто. И я бы, пожалуй, и не встретился с ним, если бы не волнительные события 1937 года...

Я даже с трудом вспоминаю, с чего это началось для меня лично. Может быть, с того, что в молодёжной газете, в которой я печатался и редактора которой незадолго до этого сняли, в этой молодёжной газете появилась уничижительная статья обо мне. Мне приписывалась тысяча грехов, в том числе связь с недавно осуждённым поэтом Павлом Васильевым, которого я, как известно, всячески избегал: мне претила разнузданно-богемная его манера жизни. Не дожидаясь организационных выводов, взбешённый, я подал прокурору прошение привлечь газетчиков за клевету, но безуспешно. Так же безуспешна была моя попытка добиться приёма у высоких начальников области. Словом, всё было тревожно, непонятно, и вот тогда-то, усевшись однажды писать письмо хорошо знавшему меня Емельяну Ярославскому с просьбой о справедливости, я и был ото-

рван от этого занятия появлением большого, неуклюжего человека с лицом ребёнка.

— Я муж вдовы Антона Сорокина! — сказал он. — Прошу Вас срочно, сегодня же, зайти ко мне!

— А в чём дело? — спросил я.— Знаете, я очень занят, давайте, вместо того чтобы идти к Вам, поговорим сейчас!

— Нет, прошу Вас незамедлительно идти ко мне, — возразил он.

И не то чтобы крадучись, на это он был, конечно, не способен, но, несколько сгорбившись и как бы стараясь уменьшить этим громаду своей фигуры с лицом младенца, он повёл меня на Лермонтовскую в дом, выстроенный Антоном Сорокиным литературным трудом.

Открыв хорошо знакомую мне парадную дверь старым сорокинским американским ключом, он ввёл меня в былое обиталище супругов Сорокиных. Мне прежде всего бросилась в глаза пустота, чистота и мертвенная штукатурочная белизна этой, когда-то при жизни Сорокина захламлённой, заваленной рукописями, картонами, пёстрыми картишками и старыми газетами, комнаты. На том месте, где стояла когда-то семейная кровать под пологом алькова в азиатском стиле, теперь зияла меловая пустыня. Казалось, что этот человек, нынешний хозяин этой одинокой комнаты, здесь не живёт или, во всяком случае, не ночует, не спит. И действительно, взглянув на него, я заметил, что его глаза красны от бессонницы.

— Вот,— сказал он, наклонившись, чтоб открыть шкафчик, и тут я заметил, что волосы его седы столь же белоснежно, как и стены комнаты, — здесь драгоценное для меня наследство Антона Семёновича Сорокина. Этот архив тяготит меня. Не хотите ли взглянуть, разобраться?

— Знаете, мне сейчас не до этого! — сказал я. — Потом: разбираться надо, так сказать, официально, создав комиссию, как полагается. Мне кажется, что Вам лучше обратиться в Краевой музей, если не хотите сдать прямо в архив!

Говоря это, я думал о многом. Во-первых, я думал, что архив Сорокина уже давно в архиве, и об этом позаботилась

ещё Валентина Михайловна. Но потом я вспомнил об отношении её и самого Антона Семёновича к архивам и музеям. О том, как он горько сетовал, что бюст его, работы скульптора Пожарского, подаренный им когда-то, ещё до революции в музей, закинули там на чердак. Возможно, подумал я, по старой памяти и Валентина Михайловна побаивалась архивов, учитывая отношение к Антону Семёновичу, как к известному чудаку и саморекламисту... Впрочем, я не знал, как было дело, и видел перед собой только то, что видел: некий архив или часть архива Антона Сорокина и склонившегося над ним седого интеллигентного человека, которого этот архив тяготит.

— Валентина Михайловна, — сказал этот человек, поднимая голову,— отзывалась о Вас самым наилучшим образом. Допустим, я сдам архив в архив. Но Валентина Михайловна говорила, что тут, возможно, есть и Ваши стихи. Вы их возьмите, если Вам надо! Валентина Михайловна, я очень любил её, отзывалась о Вас самым наилучшим образом. Я очень уважал Антона Семёновича. И я знаю, что Вы были его другом. Возьмите что Вам хочется! Может быть, тут есть что-нибудь такое, что Вы не желаете, чтобы стало достоянием гласности. Какая-нибудь поэма Ваша. Я ведь не знаю, я не разбираюсь в литературе. А знаете, время такое!..

И тут я подумал о нём вроде как нехорошо, что он сперва счёл себя счастливым обладателем бесценного с его точки зрения сорокинского архива, надеясь извлечь из него какую-то пользу, а теперь, ввиду сложных событий и неуверенности в завтрашнем дне, испугался его, этот человек, не имеющий никакого представления о литературе. Как говорили потом, он был кем-то вроде агронома в Алма-Ате и изгнан был из тамошних земорганов за кулацкое происхождение.

Нет, я не буду рыться в архиве, сдайте его в музей, — повторил я, — пусть, что в нём есть, останется в назидание потомству.

А вот эти стихи не Ваши? — сказал он, протягивая мне портрет Антона Сорокина с пауком и паутиной поверх го-

ловы и стихом: «Не растягивай сети, злой паук, злые нити, не длите мушьих мук».

И, посмотрев на синее загадочное лицо короля писательского, я сказал, возвращая портрет ему в руки:

— Нет, это не мои стихи! Сдайте всё это в музей товарищу Россомахину. И всё будет честь честью, вот как Вы должны поступить!

Но он поступил иначе.

В ту же ночь он покончил с собой — повесившись.

Говорили, что он сделал это из боязни, что его арестуют за кулацкое происхождение. Может быть, это так и было. А может быть, и не так, а просто от дикого одиночества наедине с бледно-синим портретом мстительного и ревнивого короля писательского Антона Сорокина.

## ПОЛИГЛОТ

В начале пятидесятых годов в Москве на улице Горького можно было нередко встретить некоего стареющего, все медленней и медленней движущегося, красивого, скромного и, несомненно, охваченного глубокой тоской, человека.

Это был Исаак Ховес.

Я познакомился с ним ещё в двадцатых годах в Новосибирске, тогда ещё Новониколаевске, в редакции газеты «Советская Сибирь».

И не мне бы, а Исааку Ховесу писать эту повесть, повесть о «Советской Сибири» и редакторе её Шацком. В «Советской Сибири» печатались чуть ли не все значительные авторы тех времён, такие, как Сейфуллина, Зазубрин, Итин, Правдухин, Драверт и другие сибирские писатели, и учёные, и экономисты. Но мало того, Шацкий сумел объединить вокруг «Советской Сибири» самую талантливую писательскую молодёжь Сибири тех времён. Репортёром у Шацкого начинал свою карьеру акмолинский юнец Серёжа Марков, в дальнейшем известный поэт и прозаик. Сотрудничал в

«Советской Сибири» и поэт божьей милостью Ваня Ерошин. Знает читатель и о судьбе Божа Жеребцова. Этот иркутский театровед начинал свою журналистскую деятельность тоже у Шацкого. А из Томска Шацкий добыл двоих: профессорского сына Сашу Поспелова, сотрудничавшего по вопросам экономики, и Исаака Ховеса — лингвиста.

Исаак Ховес, питомец Томского университета, этих хвойно-снежных сибирских Афин, уже и тогда знал что-то около двадцати языков. Начал он тривиально — с эсперанто, которое тогда в предреволюционную и революционную пору было в моде, особенно среди провинциалов. Но вскоре перешёл на живые языки. Метод Ховеса был «прост», весьма прост для человека, обладавшего незаурядными, может быть даже необычайными, способностями: он брал какую-нибудь хорошо известную книгу — «Капитал» Карла Маркса или роман Джека Лондона, русский перевод и вариант на изучаемом языке, и с помощью сравнения, сопоставления, что ли, осваивал новый для него язык, не пренебрегая при этом журналами и газетами на этом языке.

И я не знаю, оценил ли Шацкий Ховеса как языковеда или за все его другие достоинства, но языкознание Ховеса было, конечно, необходимым для такой большой и серьёзной газеты, как «Советская Сибирь» с её собственными корреспондентами чуть ли не по всему миру. И я помню Ховеса в роли заместителя редактора, то есть я приходил к Исааку и, отрывая его от чтения иностранных газет, требовал у него то напечатания моих стихов, то выдачи аванса или командировочного удостоверения. И Ховес без всякой чванливости отрывался от международной политики, чтоб выхлопотать мне у Шацкого командировку то в Семипалатинск, охваченный беспорядками из-за неполадок в снабжении на строительстве Турксиба, то в тайгу, где пылали лесные пожары, то ещё куда-нибудь к чёрту на кулички. Помню, как со вздохом отложив в сторону журнал «Asia» или другой какой-нибудь пухлый заокеанский «мэгэзин», Ховес, двигаясь медлительно и чуть угловато, как шахматный конь, вёл меня в кабинет к Шацкому, вос-

седавшему в кожаном кресле, большеголовому, огненно-глазому, похожему на перуанского идола.

И мы договаривались.

Газета, повторяю, была хорошей. В ней любили печатать очерки от собственных корреспондентов, любили настоящую журналистику, любили литературу в хорошем смысле этого слова, не отрицали поэзию.

Он очень любил стихи, этот Исаак Ховес, смуглый, красивый, меланхолический лингвист, муж простоватенькой, весёлой поэтессы Ларисы Крымской. Я упоминаю о ней, чтобы не возвращаться к этому вопросу. Они разошлись, я не знаю — почему, но, видимо, их альянс был не случаен, видимо, такая сложная натура, как журналист Ховес — партиец, лингвист-любитель, выходец из старой еврейской сибирской семьи холодного Томска, должен был некоторое время опекать такое несложно-легкомысленное существо, как эта кругленькая, румяно выглядывавшая из своей самоедской малицы Лариса Крымская. Ховес был и важен, и стеснителен, нежен и снисходителен, мечтателен и флегматичен в одно и то же время. В общем, конечно, он был способен и на необоснованные поступки, и своей снисходительностью, флегматичностью он мог досадить, и не только Ларисе Крымской.

И вот что однажды произошло между мною и Исааком.

Я решил пешком пересечь Казахстан, идя налегке, без саквояжа, револьвера и денег с тем чтобы эти деньги на обратный путь Ховес перевёл на Пишпек, то есть нынешний Фрунзе.

— Чтоб не ограбили! — сказал я.— Когда приду, там и получу!

— Прекрасно! — одобрил Ховес. — Отправляйся! И я отправился.

В другом месте я, кажется, уже описал, как достиг Пишпека, и, загорелый, в клетчатой выцветшей ковбойке, оказался на караван-сарае в центре киргизской столицы. Но в данном повествовании важно упомянуть лишь о том, что денег, ожидаемых от Ховеса на обратный путь, на почте

не оказалось. Я рассказывал и о том, как в редакции пишпекской газеты я познакомился с Вячеславом Лебедевым, который и выручил меня из беды, выдав мне небольшую сумму денег. Но редакция, насколько я помню, была бедной, я — стеснительным. И вышло так, что денег хватило на билет от Пишпека только до Самары, куда я и отправился, рассчитывая найти в этом городе одного знакомого писателя. И прибыл в Самару с пятаком в кармане, надеясь, что здесь всё образуется.

Смутно вспоминается мне всё это. Помню, что рано утром я постучался по известному мне адресу, перебудил людей, обнаружил, что мой знакомый писатель отсутствует, пошёл выкупаться в Волге, а затем оказался почему-то перед домом губкома партии. Было всё ещё рано, но в окне губкома я заметил человека. Я догадался, что это дежурный. Зашёл. Поздоровался. Кратко объяснил, в чём дело, и спросил у дежурного, знает ли он ещё кого из самарских писателей.

— Писателей? — промолвил дежурный.— Как вам сказать, молодой человек? Есть у нас писатели. Вот один, например, написал роман под названием «В когтях акулы».

И он засмеялся.

— Ну и что же? — спросил я.

— Так разве у акулы есть когти? — воскликнул он.

Мы потолковали о чём-то ещё, а затем я оказался в редакции местной газеты, где со мной говорили как-то иронически и недоверчиво. Правда, они взяли несколько стихотворений, но всё это с оговорками, что-де много разных поэтов летом скитается по Волге, и сидели бы дома, и так далее в этом роде. И я, помню, был очень рассержен на самарского редактора, фамилию я его забыл, и, кажется, сказал даже, что когда-нибудь ему отомщу. Но ещё больше я был зол на Ховеса, который не откликнулся и на мои самарские телеграммы.

Кое-как я выбрался из мало гостеприимной Самары.

И, оказавшись наконец в Новосибирске, с великим возмущением спросил я Исаака, почему он так гнусно обманул меня с деньгами.

— Видишь ли, Лёня,— ответил Ховес задумчиво,— я забыл. Прости, но так вышло. Я, уходя в отпуск, забыл ещё раз напомнить бухгалтерии, чтоб она перевела тебе деньги на Пишпек. Но видишь — всё кончилось благополучно. И, между прочим, я тебе должен сказать приятное: я напечатал тебя в Бразилии. Перевёл на эсперанто твой стих «Северный путь». Как видишь, и презираемое тобой эсперанто на что-то годится. Погоди, я подарю тебе этот журнал!

И, конечно, в тот же момент я перестал сердиться на Ховеса. Между прочим, он не только напечатал мои стихи в Бразилии, но вскоре прославил меня ещё шире. Вышло это так: Ховес неожиданно исчез из Новосибирска. Было сказано, что он куда-то переведён, и, пока мы гадали, куда переведён Ховес — в Москву или на Дальний Восток, вдруг однажды я получил бандероль из Красноярска. Этой бандеролью пришёл юмористический журнал «Крокодил». Ведь были же такие времена: юмористический журнал в Красноярске! И в этом журнале был целый разворот иллюстрированных стихотворных пародий некоего Тома Сойера. Одна из них прекрасно имитировала стиль Вани Ерошина. «О, радость тихая смотреть под хвост верблюда!» — начиналась она. Рядом с ней стоял стих про Сергея Маркова, который, «мечтая о мартыновских лампасах, но, убоявшись конского хвоста...», что-то такое делал в Новосибирске. И, наконец, под прекрасным моим портретом, на котором я был изображён Артюром Рембо в ковбойке, и под эпиграфом, строкой из моего стихотворения «Братья мои мартыны кружатся над водой, было напечатано следующее:

Братья мои — носороги.
Дяди мои — ишаки,
А у столичных редакций пороги
Неприступны и высоки.
Хорошо бы в «Прибое» поплавать.
Но своих там немало пловцов.
Недоступна уткина заводь,
Где Степанов полно и скворцов.

И брожу я по холоду Карской
И в горячих песках Кара-Кум.
Почему мне не сват Луначарский,
Почему мне Полонский не кум?

Так я понял, что автор этих вдохновенных строк, скрывшийся под псевдонимом Том Сойер, есть не кто иной, как мой старый друг Исаак Ховес, сделавшийся редактором красноярской «Вечерней газеты» и юмористического журнала, выпускаемого приложением к ней.

Обрадованный и вдохновлённый выше процитированными стихами, я приехал в Москву, чтобы с новыми силами преодолевать пороги и заводи. И помню, что через некоторое время, может быть через полгода, может быть через год, идучи обедать в дешевую «толстовскую» столовку на Тверской за Телеграфом, я встретил около её дверей не кого-нибудь иного, а именно Исаака Ховеса, который и сказал мне, как всегда дружественно и флегматично:

— Лёня, не безденежье ли обрекает тебя на вегетарианство? В таком случае зайди ко мне, тут рядом, в МОПР, в редакцию журнала «Интернациональный Маяк».

## НОЧНОЙ СОСТАВ

Кто-то, кажется Эренбург, — да, это он! — однажды сказал мне, что стихи — это то, что невозможно написать прозой. И когда-то я, безусловно, этому верил. Но за последнее время у меня появилась потребность дополнять некоторые свои стихи, может быть неудачные, прозой — тоже, может быть неудачной, а может быть, наоборот — дополнять более или менее удачной прозой то, что было трудно втиснуть в более или менее удачные, стихи. Ведь если в стихах нельзя выразить то, что можно выразить в прозе, то и, наоборот, в прозе можно досказать то, что нельзя высказать в стихах.

Словом, дело вот в чём:

Это было если не в 51-ом, так в 52-ом,
Может быть, его расстроенным нервам требовался бром,
А может быть, просто он нализался,
И, не будучи мне знаком,
Он ночью в метро ко мне привязался,
И назвал меня дураком.
Я сидел со склонённою головою
И, бесконечно устав,
Думал о том, что в вагоне нас двое,
И это — последний состав.
А он грохотал: — Да с твоим бы талантом!..
Бог тебе всё простит!..
А я думал, что не хочу быть атлантом
Между кариатид...

Тут я должен удостовериться, что именно так и было. Это было ночью, я успел в последний поезд метро и, заскочив в вагон, заметил в нём только одного, скорчившегося в углу и с внезапной ненавистью посмотревшего на меня, пассажира. Он показался мне похожим на тень, усевшуюся в собственную свою тень. И он, взглянув на меня, захрипел как картонный репродуктор, то самое, о чём я сказал выше: «Дурак! Ты дурак!»

Сперва я подумал, что он просто пьян. Но когда он добавил, что с моим талантом мне бог всё простит, я, преодолевая усталость, сосредоточил внимание и подумал, что человек-тень высказывается по существу не столь уж бессмысленно. Ведь не кто иной, как именно я написал в своё время стихи, обличавшие одного моего лжеприятеля в том, что он является всего-навсего декоративной фигурой, лишь якобы поддерживающей свод одного из наркоматов. И никого иного, как меня, мои истинные друзья укоряли за то, что я не не могу, а не хочу написать стихи, которые бы обеспечили мне благополучие в том смысле, в каком это понималось в том, 1951 году.

Именно от этих друзей я и возвращался глубокой ночью. «Но Вы путаете! — могут вспомнить мои друзья. — Вы

не могли поздней ночью возвращаться от нас, потому что мы рано ложимся спать!».— «Нет, — возражу я, — я не путаю, потому что в те времена бывали случаи, когда мы засиживались допоздна, и причиной тому была не совместная наша работа над переводами венгерских современников и классиков, а ваша бессонница и моё стремление показать, что не боюсь оставаться с вами до глубокой ночи. Мне казалось, что этим я успокаиваю вас; ведь я же сказал, что это было в 1951 или 1952 году, когда расстроенным нервам необходим был бром» И вот, выйдя от вас и вскочив в подземный состав у станции «Дворец Советов», я и увидел в вагоне человека, ещё более сумрачного, чем были вы и я сам, и, как сказано выше, не осудил его за горячность...

Я внимательно вслушивался в его ругательную речь. По существу, он говорил то же самое, что и они, друзья мои. Он говорил, что я могу писать сонеты, триолеты, октавы, английские и даже французские баллады, рондо, гекзаметры, пентаметры и сапфические строфы, словом, что угодно, но не могу писать самых обыкновенных стихов, таких простых, как он выражался, какие пишут другие! «Потому что дурак и осёл!» — восклицал он, стараясь перекричать грохот вагонов. Так он вопил из своего угла, замолкая только на остановках: «Библиотека Ленина», «Охотный ряд», «Дзержинская» и «Кировская», когда двери вагона автоматически раскрывались, но, не приняв ни одного пассажира, поспешно захлопывались. И всё начиналось снова:

— Ду-рак! Иди-от! Осёл!

Он упорно повторял одно и то же. А я, осыпаемый его однообразными ругательствами, передумал за эти пять перегонов между «Кропоткинской» и «Красными воротами» об очень многом. «Кто он?» — думал я, перебирая в памяти десятки, если не сотни своих знакомцев сперва по Дому Герцена, затем по Клубу литераторов. И я бы не сказал, что он, продолжающий оставаться неузнанным, не был похож ни на одного из моих знакомцев. Нет, наоборот, он был похож на довольно многих, чьих имён не помню, ибо имя им — легион. Боже мой, сколько их прошло перед моими глаза-

ми!.. В нём было что-то и от вечно возбуждённого славного парня — я не буду называть его имени, — который сразу после войны пытался устроить наш вечер: его, мой и графа Игнатьева, но на этот вечер, слава богу, никто из нас не дал согласия, и позднее этот товарищ превратился в приказчика книжного магазина… И в то же время он, мой ругатель, походил на преследовавшего меня ещё в детстве заносчивого гимназиста Шкленника, который не мог мне простить любви к книгам, ему, Шкленнику, непонятной. Шкленник, впоследствии ставший при содействии моего отца техником-строителем, раскаялся и из уважения к моему отцу переменил ко мне отношение, то есть перестал грозить мне исподтишка кулаком через окошко, как в отрочестве. Но этот вагонный ругатель, почему я и вспомнил о Шкленнике, именно от слов перейдя к жестам, уже грозил мне из своего угла своим кулачищем. «Да что ты уставился, будто меня не узнаёшь? Ду-рак!.. — восклицал он. — Смотри, смотри, куда идёшь-едешь!.. Да пойми, что нам с тобой, может случиться, и не по пути! Пути наши разойдутся! Понял?.. Почему ты не пишешь как все, а?.. Ты что, издеваешься над нами?.. Почему ты, например, пишешь: "Я вечно не имел покоя и пел не соловьём в листве, а этой правою рукою писал о нашем торжестве?" — выкрикивал он издевательски. — Какое ты право имеешь, писать так? И почему у тебя древнеславянские обороты речи? Ка-ки-е? А "ибо"! Как ты смеешь писать "ибо"?.. Да если бы ты писал как все, так я бы на твоём месте печатал бы по стихотворению ежедневно! А то бы и по два, и по три! Да я бы на твоём месте!», — возгласил он, вставая и вытянувши кулак в мою сторону так близко, что я почувствовал, чем он пахнет: копчёной колбасой!..

Помню, что этот его жест и заставил меня погрузиться в ещё более глубокое раздумье. Нет, я не думал, что дело дойдёт до вульгурной драки. Просто я размышлял о наиболее достойном ответе. Достойном и кратком. «Я бы на твоём месте!..» — возглашал он.

Ответ, да ещё при таком жесте, напрашивался сам собой:

— О, не грезьте быть на моём месте!

Но тут что-то хлопнуло, и, подняв глаза, я убедился, что мой недоброжелатель исчез. Я остался один в пустом вагоне. Тут не пахло ни мистикой, ни галлюцинациями. А просто этот ругатель исчез за дверью, которая раскрылась, чтоб: он, пошатываясь, вывалился из неё, и захлопнулась за ним на остановке у «Красных ворот». И поезд помчался дальше...

Впоследствии я всё это описал в стихотворении, которое почти так и кончалось: «Не грезьте быть на моём месте!». Но стихотворение затерялось, и я решил досказать в прозе все те подробности, для которых не нашёл слов в вышеприведённых строках. Я делаю это, может быть, в надежде, что однажды эти строки, будучи напечатаны, попадутся на глаза этому человеку, о котором в конце того потерянного стихотворения я сказал приблизительно так:

А может быть, он был мне другом?
Дружищем! Милейшим дружком!
Грозивший даже не как наставник, пальцем,
А попросту кулаком!

## ЦАРСКАЯ ДОЧЬ

Я встретил её в первый раз там, на галерее, откуда свалился с лесенки и слегка повредил себе челюсть её воображаемый предок, точнее, воображаемый дед, Александр Александрович, какой именно — это выяснится ниже.

А для начала расскажу об этой встрече на галерее Клуба писателей, в нише напротив 8-й комнаты.

Ксения Некрасова сидела там, на диванчике, печально поглядывая вниз на ресторан, потому что ей хотелось есть, а денег у неё, как обычно, не было, и она ждала, что кто-нибудь её пожалеет и накормит. Всё это я уяснил себе позже, приглядевшись к ней ближе во дни нашего знакомства.

А знакомство это началось с того, что она остановила меня, проходящего мимо, сказав:

— Мартынов, Леонид Мартынов, подождите и послушайте, что я вам скажу! Мне ваши стихи нравятся!

Она зоговорила о стихах моих и не моих, в том числе — о своих. Она говорила, что ей хочется писать стихи, стихи, стихи... И это её главное наслаждение. Она их читала, читала, читала! И она не попросила в тот первый раз денег у меня на обед потому, что беседовала со мной впервые, хотя, конечно, была голодна, как всегда, ибо влачила жалкое существование. Её стихи — лирические миниатюры без рифм — тогда никто не печатал; она, мне кажется, не была и членом Союза; её, милостиво пустив на какое-нибудь собрание, гнали затем с него за дерзкие реплики в адрес выступавших. Так они и жила на свете, нелепая, плохо одетая, оправдывающая факт своего существования рассказом о перенесённом менингите. Её и жалели и отмахивались от неё в минуты раздражения. И я отделывался от неё тем или иным способом, но вежливо и с выгодой для неё: наскоро похвалив её действительно хорошие стихи и дав немного денег, ссылался на занятость и отсылал её пообедать или поужинать. Важно было, чтоб она не увязалась провожать.

— Меня никто не провожает, так я сама хожу провожать! — объяснила она мне однажды.

Зачастую её провожания кончались тем, что она при расставании сообщала:

— Пойду теперь искать себе ночлега!

Дело в том, что она обитала далеко за городом, у какой-то квартирохозяйки, которая ругала её за поздние возвращения, и Ксюша предпочитала переночевать у московских знакомых. Ночуя, она вела себя порой беспокойно. Так, например, рассказывали, что один раз, проснувшись среди ночи, она потребовала ваты и тряпок. Ей дали и ваты, и тяпок, и она тут же принялась мастерить куколок, пояснив, что коли стихи её не печатают, она будет существовать продажей игрушек.

Но, уклоняясь от её провожаний, я не мог отказать ей в удовольствии посидеть со мной на антресолях Клуба. Я её

вразумлял. Я толковал ей о том, что её миниатюры хороши, но, увы, не находят сбыта и, может быть, ей следует попытаться писать более, как тогда говорилось, ясные стихи. Я толковал все эти благоглупости, повторяя, в сущности, то, что толковали мои доброжелатели и мне самому, ибо и меня самого почти не печатали, и жил я в эти годы почти исключительно переводами. Я не говорил ей: «Переводи!» Я понимал, что на это она не способна. Но я старался внушить ей быть в её оригинальных стихах поконкретней. Она же бормотала, что она и так конкретна и ещё конкретнее быть не может. Впрочем, она признавалась, что не может вполне осознать того, что происходит, но, тем не менее, всё происходящее ей в общем понятно: есть люди хорошие и есть нехорошие. Я, помню, однажды сказал ей:

— Ну, попробуй написать о хороших людях, которых ты видишь и видела. Либо пиши детские стихи!

— Как это детские стихи? — наивно спросила она.

— Ну, как Чуковский, Маршак, Барто.

— Я не умею!

— Ну, тогда напиши о своём детстве. Вспомни о нём и взгляни на всё как бы детскими глазами, как бы через призму детского восприятия.

Мне показалось, что это блестящая мысль. Авось, пойдёт, сделается детской писательницей, ведь она сама, как дитя.

— Уяснила? — спросил я. — Попробуй писать для детей и о детстве.

И тут она и сказала.

— Писать о детстве? О своём детстве? О, если б ты знал! Но, впрочем, я и сама только догадываюсь о тайне своего происхождения. Слушай! Но только никому, никому не рассказывай!.. Ты знаешь, что я с Урала. Но кто я? Я только догадываюсь, кто я.

Глаза её загорелись, затем сузились и наконец широко раскрылись, как бы от удивления всем тем, о чём она сама о себе догадалась.

И путано, шёпотом она поведала мне об этой загадке. Из её рассказа выходило, что она — сирота, а воспитавший её

уральский священник скрывал от неё, но не мог скрыть, она догадалась, что её родители были не её родители, и вообще она царского происхождения... Словом: Урал, Тюмень, Тобольск, вот в чём дело!

— Понимаешь? — прошептала она. — Я вроде как принцесса!

— Ты? Принцесса? — засмеялся я. — Ты самозванка, вот кто ты, Ксюша!

— Нет! Я не из тех известных царских дочерей, великих княжон, возразила она, — а тут что-то другое. И по времени так выходит.

Я, помнится, начал доказывать, что это бред. Что Николай Второй едва ли мог и хотел в Тобольске заниматься амурами, и вообще это вздор, и она даже вовсе не похожа лицом на Романовых.

— Но почему в таком случае, — воскликнула она горячо, — почему ко мне относятся, как к какой-то принцессе? Почему меня не признают? Почему меня гонят, не дают ни говорить, ни печататься, как будто бы я чуждый элемент? Как будто я действительно великая княжна! Будто бы мой дед не кто иной, как Александр Третий, знаешь, вот этот самый, который с лесенки антресольной тут, говорят, свалился, когда этот дом ещё не был писательским клубом!..

И она зарыдала.

Поражённая логичностью собственных рассуждений, она повторяла:

— Нет, нет, видно, я, в самом деле, царская дочь!

— Дура! — воскликнул я. — Ты понимаешь, что ты болтаешь? Ты хочешь нажить себе неприятностей? Да и поделом тебе будет! А уж если ты хочешь знать, из твоих разговоров выходит, что, скорее ты не царская дочь, а распутинская. Вот тебе и Тюмень, ты и лицом на него похожа!

Так хотел я отвести её мысли о царском происхождении. Но тут же спохватился: хрен, подумал я, не слаще редьки. Внуши ей, что она распутинская дочка, — начнёт толковать и об этом.

Так оно и вышло.

Через несколько дней общие наши знакомые, смеясь, рассказали мне, что Ксюша поговаривает, что она, вероятно, дочка Распутина. А ещё через несколько дней Ксюша с таинственным видом сказала об этом и мне.

...Сейчас, перечтя то, что изложено выше, я думаю: имею ли я право писать всё это? Ведь как-никак речь идёт не о вымышленной личности, а о действительно жившей среди нас несчастной, бедной, безобидной поэтессе, которая не сможет ни опровергнуть, ни подтвердить, ни объяснить всё то, что я говорю.

Что это было?

Может быть, это была игра, театр для себя, может быть, горькая ирония: ко мне так плохо относятся, будто я чуждый элемент — царская дочь! Скорее всего, именно так. Тонкую ироничность Ксении Некрасовой подтверждают, например, такие её высказывания. Однажды она пришла и сказала:

— Ну вот, час от часу не легче. Теперь меня вымели!

— То есть как это вымели?

— А вот так. Вымели. Я стала ходить ночевать к Марку Криницкому. Он очень хороший старик, добрый, но племянница у него злая. Такая злая, такая злая! Он сказал мне: «Ты видишь, Ксюша, спать негде, но ничего, я уложу тебя на полу!» И сделал мне постель на полу, в углу. Но утром пришла эта злая племянница, стала убираться, мести. И метёт, и метёт метёлкой прямо на меня, будто не видит, будто меня нет, будто я не я, а сор, и она меня вымела, вымела, вымела!

И Ксюша расплакалась, а потом рассмеялась.

Бог знает, что говорила Ксюша Некрасова!

Однажды она объявила, что она унаследована. Я подумал, что тут опять что-нибудь связано с царской фамилией и что снова придётся убеждать её, Ксюшу, отказаться от глупых идей. Но дело оказалось проще. По её словам, её завещал своим близким один почти удочеривший её старец-художник. Умирая, он будто бы сказал родственникам: «Завещаю вам не бросать Ксении!» И вот теперь она завещана и унаследована.

Что тут правда, что вымысел, очередная фантазия, — судить не берусь.

Знаю, что её истории о самой себе порой были и печально остроумны, и горько смешны. Но умела она жестоко посмеяться не только над собой, а и над другими. Например, она могла совершенно серьёзно и участливо сказать писательнице, которая сделала вид, что не узнала её, отвернула от неё, Ксюши, своё лицо:

— Голубушка, вы меня не узнаёте? Да! Я вас сначала тоже не узнала, вы так постарели, так подурнели, что даже от людей отворачиваетесь! Что с вами, моя дорогая?

А писателю, который, начав преуспевать, стал пренебрегать Ксюшиным обществом, она заявила:

— Когда у тебя не было новой шляпы, ты, мой друг, выглядел гораздо красивее!

Все её сентенции были неожиданны, громогласны и блистательно неуместны. Но она умела выбрать для этих неуместностей время и место.

Заявляя о своих обидах и простодушно мстя обидчикам, Ксения Некрасова не переставала требовать главного: признания своих человеческих прав. И добилась, дождалась-таки своего часа и получила хотя и не широкое, но всё же признание, наряду со многими другими авторами, когда наконец настало другое время.

Об этом можно рассуждать по-разному. Можно сказать, что в свете этого нового времени старые стихи Ксюши Некрасовой стали и выглядеть иначе, то есть интимная лирика вступила в свои права. Но мне кажется, что само это новое время как бы раскрепостило поэзию Ксении Некрасовой: она стала писать новые, гораздо более свободные, проникновенные, не заторможенные сознанием собственной авторской неполноценности произведения.

Помню, как я и мои товарищи восклицали:

— Смотрите, что делается с Некрасовой, как здорово она начала писать!

Это, конечно, требует иллюстраций, доказательств. Здесь, в этом месте моего повествования должны бы стоять образцы её лирики. Я хочу быть предельно честным во всём, что пишу о себе и о других. Всегда, когда я пишу о других, то я

пишу как бы и о себе, а сейчас я вижу: в памяти моей не осталось почему-то ни строки из стихов Ксении Некрасовой.

Все стихи, которые я цитирую в этих воспоминаниях, я цитирую по памяти. Так процитированы, может быть не всегда точно, и стихи Маяковского, и стихи Блока и Аполлинера, и Георгия Маслова, и Вивиана Итина, и Николая Калмыкова, и стихи безвестных, канувших в лету Бориса Жезлова и Серёжки Орлова, но вот от стихов Ксении Некрасовой, увы, не осталось в моей памяти ни строки.

Личность её, разговоры запомнились мне, а стихи — нет, однако это вовсе не значит, что её стихи были плохи. Нет. Я утверждаю, что многие из них были попросту хороши. Так в чём же тут дело? Видимо, это были стихи не в моём духе, и только. Это бывает.

Помню, как однажды мой друг Агнесса Кун горько упрекнула меня, что я не подарил ей своей новой книги, а я уличил её в том, что она эту книгу от меня получила, и объяснил эту её забывчивость тем, что она осталась ею недовольна, ей не понравился последний раздел книги, стихи не в её духе, хотя, вообще-то говоря, она очень любит и ценит мои стихи, лирические, но равнодушна к моим поэмам, к моему эпосу. И вот, найдя в книжке такие стихи, которые нравятся другим и не нравятся ей, она назло мне взяла и забыла эту книжку.

Так, видимо, и у меня произошло с Ксюшиными стихами. Я знал, что это фантастическое, остроумное существо таит в себе массу невыраженных чувств, мне интересных. И повторяю ещё раз: я заранее принимаю упрёк тех, кто скажет, что недооценил творчество Ксюши Некрасовой. Разве не прелесть, например, такие стихи (я, наконец прервав писание этой главы-новеллы, нашёл её книжку, вышедшую посмертно):

В доме бабушки моей
Печка русская — медведицей,
С ярко-красною душой —
Помогает людям жить:

Хлебы печь,
Да щи варить,
Да за печкой
И на печке сказки милые таить.

Это стихи, может быть, она писала своему сыну. Вот когда она начала писать детские стихи!

Правда, ребёнка ей пришлось устроить в детский дом, так как квартиры у неё ещё не было.

И эта квартира наконец появилась.

И въехав в эту квартиру, царская дочь упала мёртвой, скоропостижно скончавшись от инфаркта, или от разрыва сердца, как это называлось в царские времена.

## ТЕАТР

Теперь я поведаю о том, как я писал пьесы и что из этого получилось. Этой повестью, если она хоть мало-мало удастся, я рассчитываю заполнить некий не то что провал, но интервал в своей литературной биографии, и если кому-нибудь интересна она, эта моя биография, то я думаю, что известный смысл должен быть и в данном рассказе.

Это случилось в грозном тридцать седьмом, последовавшем за более или менее благоприятным для меня тридцать шестым годом, когда мы с Виктором Утковым подготовили и провели омский областной съезд писателей. Так называлось это мероприятие, к которому мы привлекли массу лиц. Я писал об этом в другом месте. Участниками съезда были и поэт профессор Драверт, и склонный к писательству профессор Шухов, и сельский фольклорист Ваня Коровкин, и казахский акын из аула Каржас. И, наконец, кроме тюменского драматурга Истомина, приехал на наш съезд из далёкого Ямала ненецкий драматург Иван Ного. Он был, пожалуй, самой любопытной фигурой, наиболее ярко запечатлевшейся в моей памяти. И когда в следующем году я, подвергшись заушательской критике и оставшись

не у дел, целыми часами шатался по окраинам Омска, предаваясь созерцанию снежной пустыни, простирающейся за далью Линий, Волчьего Хвоста, Атаманского Хутора, Порт-Артура и Северных улиц, мне как-то естественно пришла на ум снежная пустыня ямальской тундры, куда вернулся с прошлогоднего съезда драматург Иван Ного.

Вот он вернулся на Ямал, этот плотный почтенный драматург и советский работник, — подумал я, — он сменил свой европейский костюм и своё парадное коверкотовое пальто на оленью рубаху и малицу и, просветитель своего народа, принялся, должно быть, за новую агитационную пьесу о Ямале. А почему бы и мне, — подумал я, — не написать тоже пьесу о Ямале, пьесу, которую едва ли напишет он, Ного! Ведь он не знает, наверняка не знает, — я задавал ему наводящие вопросы, — тех подробностей о нижнеобской тундре, которые известны мне из старинных книг, из чертежа данцигского сенатора Антона Вида (1555 г.), где изображено поклонение обдоров прекрасной идолице Златой Бабе.

Злата Баба! — вот как будет называться моя пьеса, — решил я, — и усердно принялся за сочинение указанной пьесы.

Источников хватало. В библиотеке музея я имел возможность изучать массу трудов, книг, картин, относящихся к этому вопросу. Но особенно мне помог четырехтомник Н.Н. Бантыш-Каменского «Обзор внешних сношений России», издание комиссии печатания государственных грамот и договоров при московском главном архиве Министерства иностранных дел (Москва, 1897 г.) Ибо начал я довольно-таки издалека. Пролог разыгрывался в Амстердаме. Мне сейчас трудно воспроизвести это чудесное начало, — рукопись пьесы лежит где-то на дне старого чемодана, закинутого на антресоли у нас на кухне, но я отчетливо помню, что ещё до поднятия занавеса до зрителей доносился отчаянный звон шпаг, и раскрывающийся занавес давал возможность публике увидеть двух дуэлянтов. Это были капитан де Лявиль, тот самый, который, согласно

историческим данным, вербовал в Голландии людей идти Архангел-город разграбить, но голландцы не допустили, и англичанин Елтон, который впоследствии бежал с русской службы к персиянам и оттуда чинил России всевозможные коварства, но при замешательстве был персами умерщвлён. Они-то, по моему историческому замыслу, и дрались на шпагах в амстердамском порту, не желая уступить друг другу дорогу, затем, чтоб вслед за этим примириться и замыслить совместную поездку через Архангельск и Русскую Щель в Приполярном Урале на Обь для похищения прекрасной идолицы Златой Бабы.

Я, конечно, найду эту пьесу и когда-нибудь, дополняя данную главу, приведу некоторые стихотворные подробности того, как эти авантюристы, испытав всевозможные, выдуманные мной приключения, попали из Архангельска в Астрахань, а оттуда в Персию к шаху Аббасу. «Говорят, что я восточный деспот, и от взгляда на меня людей прошибает холодный пот», — восклицает шах Аббас. По этой цитате читатель должен понять, что моё сочинение было выдержано в стиле раешника, ближе всего напоминающего известное действо про царя Максимилиана и его непокорного сына Адольфу. Это я и имел в виду. Я мечтал создать небывало пышное и красочное зрелище, балаганное представление.

Мне, и я думаю небезосновательно, казалось тогда и кажется и поныне, что традиции русского народного театра, наиболее ясно выраженные напоследок в «Царе Максимилиане», были и остаются незаслуженно забытыми в нашей драматургии. На этот счёт у меня были и остаются до сих пор свои, может быть и спорные, соображения. Мне кажется, что народной поэзии, скоморошеской традиции как не повезло на Руси с самого начала, так и не везёт до сих пор. Её иронический, скептический, диалектический дух никогда не приходился ко двору ни на Руси, ни в России. Интерес к этой поэзии и драме, возродившийся перед крахом Империи и затем существовавший в начале Революции и выразившийся как в ремизовской интерпретации «Царя

Максимилиана», так и в первых драматургических опытах Маяковского, вплоть до «Мистерии-буфф», и в деятельности Мейерхольда, начиная с «Балаганчика» Блока и упомянутой «Мистерии-буфф» и кончая гоголевским «Ревизором», затем снова был вытеснен другим пониманием фольклорности и народности в искусстве, что, по-моему, не нуждается в более подробных объяснениях здесь и является темой особого исследования, в котором должны быть противопоставлены традиции былинные, летописные творчеству Кантемира, Даниила-Заточника, протопопа Аввакума и в то же время острословию так называемых юродствующих и площадной драме. Словом, по-моему, вечно шла борьба официального с неофициальным. И мне кажется, что не стоит тратить слов, подчеркивая, что я лично во всех своих творческих устремлениях всегда был на стороне этого последнего направления в искусстве, — направления вольного и народного в этом последнем смысле и особенно в те дни, в атмосфере всё сгущавшейся псевдобылинности крюковского толка, в атмосфере высокопоэтического героизма, культивируемого, может быть, с самыми лучшими намерениями. Конечно, я был далёк от всякой симпатии к погоревшему на зубоскальских «Богатырях» Демьяну Бедному. Но я хотел быть поистине народным.

Но при всех этих благих намерениях из пьесы ничего не вышло. Потому что я как не умел, так и никогда не научился писать пьесы. Всё это было, как оказалось впоследствии, лишь сырым материалом для целого ряда стихотворений. Чудовищной длины стихотворное повествование распалось на целый ряд стихов о Лукоморье и на поэму «Исповедь Елтона».Тем временем миновали бурные события тридцать седьмого года. Читатели знают, как я отстоял честь своего доброго имени и в беспрерывной циркуляции между Омском и Москвой добился наконец признания как автор исторических поэм. Но втайне между этими заботами я всё же продолжал время от времени вносить всё новые и новые сцены в свою бесконечную пьесу. Однако ни энтузиаст моего творчества Семён Кирсанов, ни редактор кни-

ги моих исторических поэм Константин Симонов, ни мой благосклонный критик Келлер-Александров, никто-никто не знал, что я грежу и грежу драматургией. И никто бы не узнал об этом, если бы не разразилась война. Она застала меня в Омске, куда вскорости с эвакуированным театром Вахтангова явился Анатолий Горюнов. Он-то и спросил меня, не могу ли я написать пьесу для их театра, и я ничтоже сумняшеся ответил, что могу. И что, собственно, написал уж пьесу. Но когда я ознакомил с ней Горюнова, он сказал: «Голубчик, это не совсем то, вернее, это совсем не то, это не по времени, и не могли бы вы написать современную пьесу?» И мгновенно мне показалось, что стоит мне только повернуть моё чудовищное драматургическое произведение чуть-чуть другой стороной к свету, то получится то самое, что нужно. «Попытаюсь!» — радостно воскликнул я. — «И это будет пьеса о войне?» — «Да, конечно!» Конечно, я тут хотел несколько схитрить, то есть выдать пьесу о современности, не отказавшись от своей темы. Злата Баба должна была фигурировать и здесь. Но как? На мой сюжет меня отчасти натолкнули злоключения одного моего друга, который в силу происков своих недоброжелателей оказался перед войной вынужденным пребывать в стокилометровом отдалении от Москвы, в Можайске. Он был, фигурально говоря, по старинной пословице, загнан за Можай, где, впрочем, и счастливо женился.

Разумеется, героем пьесы я мыслил всё же не просто моего приятеля Сергея, а некоего романтического молодого учёного, искателя Златой Бабы, неправильно понятого в своих исторических устремлениях, и в результате всего и попавшего исследовать русскую историю в Можайск, и сетовавшего на то, что вот он загнан за Можай, но ставшего защитником этого города, а таким образом и всей Руси во дни второй Отечественной войны. Мне показалось, что мой замысел весьма близок к жизни и вообще великолепен. Но Горюнов, помнится, отнёсся к нему несколько скептически, и я так и не написал пьесу, а ограничился лишь большим стихотворением на эту тему под названием

«Стена»,опубликованным в газете, но послужившим причиной того, что в сорок третьем году Фадеев зарезал мою книжку.

Таким образом, из пьес моих ничего не получилось кроме стихов. Драматургия не мой жанр. И когда однажды ко мне явились Сегаль и Кулиджанов, предлагая, чтоб я создал на базе своего стихотворения «Балерина» киносценарий, я ответил им: «Если хотите, создавайте его сами». А когда явился некий юный режиссёр, предлагая мне написать стихотворную пьесу по мотивам «Двенадцати» Блока, я просто выпроводил этого глупого мальчика за дверь.

И вообще держусь я от театра на пушечный выстрел.

## МОЙ ДРУГ АНДРЮША

Андрею я обязан многим. Мы познакомились на совещании, я забыл, как оно называлось — краевых ли, республиканских ли, или попросту провинциальных писателей, тех, кто уцелели после тридцать седьмого года, либо подросли и обнаружились к этому времени. В общем, как мне кажется, это был сбор сил, смотр сил перед надвигающейся войной. Была фотокарточка, где вся компания, человек вроде как пятьдесят, стояла или сидела вокруг Лавута, которому было поручено нас опекать. Может быть, в центре сидел не Лавут, а председатель областной комиссии Карцев либо не он, а кто-нибудь ещё, но мне мысленно рисуется именно Лавут, благостно улыбающийся в окружении пяти десятков будущих Маяковских в стихах и прозе.

Я, приглашённый на это совещание из Омска, был поселён в одном гостиничном номере с Овечкиным, с которым мы сразу и поссорились. Он дал мне прочесть свою малюсенькую книжечку, почти брошюру, я сразу прочёл,— я умею читать быстро,— и похвалил, за что он на меня рассердился. «Как это ты можешь так быстро прочесть и оценить!» — негодующе сказал он. «Могу,— ответил я.— А, впрочем, если ты недоволен моей оценкой, иди к чёрту!»

В той гостинице обитали, также в одном номере, Саша Миронов, приглашённый тогда из Архангельска и ходивший в морской форме смоленец Фиксин. Саша Миронов, прославившийся своей коллекцией коктебельских камней, живёт теперь в Минске, а Фиксин долгие годы жил и недавно умер в городе Фрунзе. Был Рыленков. Была Ольга Маркова из Свердловска и Георгий Марков из Иркутска. Был Смердов из Новосибирска и ещё какие-то молодые и немолодые люди из разных городов, я и тогда хорошенько не понимал, а теперь и вовсе забыл, кто они такие, но Андрея я приметил сразу, как, впрочем, и он меня. «Лёня,— сказал он без околичностей,— я представитель Иркутска, а ты Омска, тогда надо для порядка. Нам с тобой подарена вторая молодость, милый мой друг, молодой с бородой».

Про бороду он сказал так, для красного словца, я всегда брился. Но я понял, что он хочет сказать. В отличие от меня, не знавшего про него почти ничего, он хорошо знал всю мою историю, все мои публикации: московские, сибирские, архангельские и вологодские; он понимал, как был сложен путь, приведший меня из Сибири в двадцатых годах в Москву, а затем уведший через русский Север снова в Сибирь и снова в Москву приведший. «Ты и я скоро будем здесь, как следует!» — сказал он. Он поведал мне о своих дальневосточных журналистских скитаниях, рассказывал о Петропавловске-на-Камчатке, о Владивостоке и подарил мне «Аквамариновую реку», книжку, которая должна была утвердить его в новом писательском качестве.

Быстро просмотрев эту зелёненькую тоненькую книжку, я сообразил, что ему будет не легко соперничать с матёрыми бытописателями старины и новизны сибирской. Но наивна была не его нехитрая повесть, а я. Он утвердился на новых позициях гораздо раньше меня и перед войной, когда я был восстановлен во всех своих литературных правах, но ещё только в периферийных масштабах, чтоб лишь затем по всем правилам бюрократической субординации подняться выше; Андрей же вместе со своей женой, тогда правдисткой, Еленой обитал уже в цековском доме на Дорогомиловском шоссе.

А нас с женой война застала в Омске, причём я, тогда уже автор восхвалённой на всякие лады и в центре и в провинции книги поэм, печатавший статьи и стихи в газетах и журналах, оказался в начале войны с введением карточек, пайков и т.д. в странном положении, в положении неприкреплённого, формально не принадлежавшего ни к какой организации, человека. И организатор ОРНАЛИСа, то есть местного центра, объединяющего работников науки и искусств, эвакуированный из Москвы профессор-генетик Борис Михайлович Завадовский оказался в трудном положении, не зная, на каких основаниях включить меня в списки пользователей всякими благами земными. Я даже и в издательстве был внештатным. И Борис Михайлович, растерянно глядя близорукими глазами, выдал мне для начала мешок картошки из собственных запасов.

Вот тогда-то, на второй год войны, и проявил свою дружескую помощь Андрюша. Этот вчерашний иркутянин стал к тому времени очень близок к руководству. Это он форсировал мой приём в Союз советских писателей. То есть воздействовал на Фадеева и ускорил всю процедуру, помог мне незамедлительно получить телеграфное извещение о благоприятном решении. Он потом рассказывал мне, как всё это было, что говорил в мою пользу Гладков, и что говорили другие... В общем, всё это принесло облегчение не только мне с женой, но и профессору Завадовскому, которому больше не пришлось объясняться на мой счёт с равнодушной Шурочкой из Горторга. И, оставив жене всякие литеры и карточки, я устремился на законных правах в затемнённую и аэростатозаграждённую Москву. Ясно, что, прежде всего я встретился здесь с Андреем. Он потащил меня сейчас же в клуб писателей, где, кстати, можно было бескарточно питаться водкой и мороженым. Андрей наивно хвалился своей, как он говорил, переведённой на все языки брошюрой «Тоня-партизанка» и торопил меня сдать в «Советский писатель» книгу стихов, что я и сделал. Это была книга, вышедшая в 1945 году под названием «Лукоморье», но только она содержала еще поэму «Стена», первый вариант которой

я напечатал незадолго перед тем, в Омске, под заглавием «Ты знаешь, что значит загнать за Можай?» Из-за этих стихов, да ещё, как это ни странно, из-за «Дыма отечества» Фадеев и прихлопнул тогда всю книгу ещё в гранках, но это было чуть позднее.

А в то время, как я её сдал, милейший Ступникер читал её с упоением, а Андрюша прямо сиял от счастья. Затем я ездил с Андреем и Радуле Стийенским в освобождённые районы, а по возвращении мы должны были сходить к Фадееву, договориться об окончательном моём переезде в Москву. Как раз в это время в клубе я встретил Симонова, он попросил меня заменить его в качестве фронтового корреспондента «Красной звезды». Я согласился, сказав, что только съезжу за своими вещами в Омск,— всё казалось так просто,— а, вернувшись через две недели, заменю его, Симонова, в «Красной звезде». С этим мы с Андрюшей и пошли к Фадееву, к его старому другу, к «прекрасному мужику Фадееву, который живо сделает всё, что надо».

— Хорошо! — сказал мне Фадеев.— Поезжай, всё будет в порядке!

И я поехал, а, приехав в Омск, был почти сразу мобилизован, и вместо того, чтобы стать фронтовым корреспондентом «Красной звезды», был усажен писать историю Омского пехотного училища, труд, который так и не увидел света. А Фадеев тем временем запретил печатать «Лукоморье», написав мне объяснительное письмо, которое не было мне отправлено, но, видимо, побывало в руках у Ермилова, так как в его разгромной критической статье о моём творчестве я прочёл всё то, что впоследствии прочёл в письме Фадеева, лишь после войны ставшем мне известным. А статью Ермилова в «Литературной газете», косвенно свидетельствующую о том, что моя книга ухнула, я прочёл в госпитале, незадолго до увольнения с военной службы по болезни: мой полиартрит был обнаружен врачебной комиссией уже на пересыльном пункте.

Только через год я попал снова в объятия своего друга Андрея. В председательском кресле Союза сидел уже

Тихонов, а не Фадеев. Николай Семёнович встретил меня с угрюмой лаской, а ещё более угрюмый Поликарпов выругал меня за беспечность и неумение как следует устраивать свои дела, сделав соответствующие распоряжения по узаконению моего положения в Москве. Андрей же снова повёл меня по издательствам проталкивать заново «Лукоморье», и вскоре, по окончании войны, книга действительно вышла из печати с «Дымом отечества», но без «Стены».

Как радовался Андрей выходу книги! Он был несколько смущён отношением ко мне своего друга Фадеева, но жена его Елена при случае сказала, что, собственно, ничего особенного не произошло. Она вообще относилась ко мне холодновато, считая меня чуть ли не совратителем Андрюши, за его вернейшего собутыльника.

Но он и без меня был слаб до вина, о чём Елена, здраво рассудив, должна была бы понимать сама. Он пил всё больше и больше, хотя и работал очень много, но, увы, продуктивность его работы становилась всё меньше и меньше. Я не знаю, что было здесь причиной, а что следствием. Вино ли было причиной его литературных неудач, или литературные неудачи, вернее, литературные трудности, были причиной пьянства. Мне кажется, что Андрей был одним из тех прекрасных людей, которые были невольно погублены их выдвигателями. Ему были даны все возможности печататься, только знай пиши. «Только пиши,— восклицала и Елена,— ведь ты же написал первый, такой хороший очерк, затем повесть, такую, что тебя заметили, открыли тебе дорогу, открыли зелёную улицу. Ты видишь, с тобой охотно заключают договоры, ну и заключай их, и пиши!».

И легко понять состояние такого человека, которому говорят: только пиши! Он радуется, он верит, он смело заключает договор на новую книгу, получает аванс, сначала под новую повесть, потом под роман. Я знаю таких людей, их было, да и есть немало. И они, как правило, сгибаются под тяжестью этих ничтожных бумажек: договоров и соглашений. И постепенно начинают понимать, как трудно вот так, согласно договору и авансу, взять и написать повесть,

роман. Будь ты даже и небездарен, окончи Литературный институт или накопи эрудицию путём самообразования, а всё-таки этого бывает мало, чтоб взять и так вот сразу, по намеченному плану и согласно договору, овладеть магией творчества!

Так, я думаю, было и с Андреем. Конечно, у него имелось достаточно житейского опыта, но не было ещё высокого мастерства. Отсюда и метание, и пьянство. Он рассказывал о фантастически интересных вещах, но написать о них он только мечтал. И в чужую душу не влезешь, но, вероятно, из-под его пера выходило вовсе не то, что он видел внутренним взором, этот добрый, хороший, весёлый мой друг Андрей, выбившийся из журналистов в писатели.

Когда приехала моя жена, он приходил к нам в Сокольники, чтоб потолковать по душам. Но кончалось это одним — бутылкой...

Но помню, как-то раз в году пятидесятом он явился мрачный и сказал, что решил мне вправить мозги. «Почему значительные вещи пишут малозначительные люди, можно сказать, посредственные писатели, можно сказать, плохие поэты, а не ты?» — сказал он. Он спросил, почему я, написавший такие хорошие исторические поэмы, такое «Лукоморье», не хочу написать таких поэм, которые бы достойно прославили настоящее, нашу великую эпоху? Почему я пишу какую-то лирику, хорошую, но лирику. Почему я вместо того, чтоб переводить каких-то классиков, вроде Мицкевича, не пишу на Сталинскую премию.

Я ответил, что пишу, как могу, что могу, и далёк от мысли писать прямо на премию.

«Ну, с тобой толковать нечего! Есть ли у вас что выпить?»

И кончилось тем, что мы уложили его спать на диванчик.

Он всё-таки написал повесть. Но то ли он написал, что замышлял? Замыслы его были колоссально широки. Я думаю, что читатели будущих поколений прочтут с интересом и то, что он оставил. Но разве это хотел он написать,

чтобы прославить эпоху? Уже больной, после инфаркта, он путешествовал, и, кажется, не однажды, по Дальнему Востоку, был на Камчатке, на Курилах, чтоб собрать, как он говорил, материал для задуманного, но не осуществлённого романа-эпопеи. А потом он заболел снова и потерял интерес ко мне, а может быть, и не только ко мне, а вообще к жизни. Правда, он пришёл к нам однажды по делу, чуть ли не в последний раз,— я не помню, чтобы он появлялся у нас уже здесь, на Юго-западе. Он пришёл неожиданно ночью, когда мы сидели в сокольническом домике на горе книг, упаковывая их для перевозки на новую квартиру на Ломоносовском проспекте. Андрей остановился на пороге, войти в комнату из-за горы книг было трудно, почти невозможно, надо было шагать по книгам, чего он деликатно не сделал, а сказал с порога:

— Здорово, Нина и Лёня. Я пришёл за «Аквамариновой рекой». Мне надо для переиздания её, потом верну.

Книжка, по счастью, оказалась под руками.

— Привет, ребята,— сказал Андрей и скрылся.

Когда мы переехали на Ломоносовский проспект, выяснилось, что однажды он был в гостях у наших соседей Жариковых, но к нам не зашёл. После смерти Андрея Жариков стал членом, если не председателем комиссии по его литературному наследию.

Грешен, я давно уже не интересовался, как обстоит дело с изданием трудов Андрея Калинченко. А у нас даже не осталось и «Аквамариновой реки», очень и очень хорошей книжки.

Андрей был из тех немногих людей, которым я, безусловно, обязан.

## ЛИСТОК ИЗ БЛОКНОТА

Я всё-таки разыскал этот листок из блокнота. Сколько раз он терялся, и я, не найдя его, думал: «Ну ладно, чёрт с ним, наплевать». Иногда совершенно случайно он обна-

руживался, но снова исчезал в пачке рукописей, как будто стыдясь своего содержания,— мол, зачем ворошить прошлое. Но вот он нашёлся, никуда не нырнул, вероятно, для того чтобы я мог заполнить некий пробел в описании событий послевоенных лет.

Собственно говоря, речь пойдёт об одной из каверз Фадеева. Александр Александрович сделал мне и кое-что очень доброе, как-никак именно он осуществил принятие меня в Союз, но наряду с этим причинил мне и немало пакостей. Но все они оборачивались для меня чистой выгодой. Это, вероятно, потому, что, делая мне зло, он исходил из неверных предпосылок, а жизнь тотчас же вносила в его деянья поправки. Надо полагать, он делал мне зло не со зла, а по убеждению, продиктованному его собственными понятиями... И он не сумел причинить мне зла точно так же, как не смог написать своего индустриального романа, благоговейно читая который наша бывшая соседка, старая швея с фабрики «Большевичка», удивлялась, почему действующие лица из номера в номер «Огонька» всё идут и идут на завод, а всё-таки дойти не могут.

Однако я хочу рассказать не о том, как он писал свой последний роман, а о том, как он хотел причинить мне довольно крупную неприятность на переломе нашего века. Собственно, он собрался причинить эту неприятность не только мне одному. Я уже не однажды тогда слыхал, что замышляются беседы, ознакомление с творчеством ряда товарищей на предмет выяснения, чем им можно творчески помочь, а если они перестали быть людьми творческими, перестали писать произведения, достойные эпохи, то сделать из этого соответствующие организационные выводы. Мне было понятно, чем это пахнет, и я не однажды задумывался о том, что именно мне прочесть, предъявить, если очередь дойдёт и до меня. Не меньше нас с женой эта проблема мучила и наших друзей Гидаша и Агнессу, которые советовали мне написать какие-нибудь ясные, прямые стихи и по возможности быстрее опубликовать их в каком-нибудь журнале. Друзья наши усиленно пытались внушить

Суркову, тогда редактору «Огонька», что меня следует напечатать. И надо сказать, что Алексей Александрович это и сделал, напечатав в «Огоньке» стихи про Пабло Неруду и стихи про руку капитализма. Но сделал он это то ли несколько раньше, то ли несколько позднее того случая, о котором я, собственно, и хочу рассказать. И если сделал он это поздней, то не по своей, а, скорее, по моей вине, так как я не торопился и, несмотря на срочную необходимость, не мог всё-таки писать стихи с заранее обдуманными намерениями. Не выходило. Писалось, как, впрочем, и всегда, то, что писалось. Встретился с Нерудой — написал о Неруде, заметил, что наследил ботинками на паркете, написал «След». И помню, как однажды декабрьским утром, написав внезапно пришедшее мне в голову стихотворение «Зима. Снежинка на реснице...», я пошёл почему-то в Гослитиздат к милейшей Александре Васильевне, редактору славянских литератур, прочёл ей это, ни с чем несообразное, по понятиям того времени, стихотворение и, выслушав вежливое одобрение, тут же позвонил Толе Кудрейко в «Огонёк»: «Хочешь новогодние стихи?» — Толя стихи записал, но напечатаны они, конечно, не были, а Сурков, должно быть, ещё раз назвал меня чудаком, по меньшей мере.

Но иначе поступать я не умел. И когда мне, наконец, предложили прочесть свои новые произведения в небольшой аудитории узкому кругу лиц для того, чтобы в случае надобности получить соответствующую творческую помощь, я не мог блеснуть специально подготовленными для этого случая ясными, прямыми, как это называлось, стихами. Я просто взял кипу стихотворений, и мы с женой отобрали те, которые нам больше понравились. Раз славословий нет, значит, нет, решили мы, и, следовательно, надо будет читать то, что есть, самое лучшее. Прежде всего, конечно, «Мороз был сорок...». Это я помню прекрасно потому, что в ту или в предыдущую зиму действительно стояли морозы, такие, что человеческие дыхания вылетали из недр метро, как из вулканов. Было включено и стихотворение о Неруде,

напечатанное либо ещё ненапечатанное в «Огоньке». И, конечно, был «След». До сих пор я сомневался, был ли «След» в числе прочих стихотворений, отобранных для чтения в узком кругу лиц, но теперь, когда я нашёл эту бумажку, этот листок из блокнота, на котором, слушая тогда, что говорят присутствующие, я делал карандашную запись,— теперь я могу сказать твёрдо — там был «След». И ещё несколько стихотворений.

Войдя в зал клуба, я прежде всего заметил смущённое лицо тогдашнего предводителя поэтов, добрейшего Степана Щипачёва. Невесело улыбаясь, он предложил мне занять место за столом. Стол был большой, длинный, за ним и сидел на председательском месте Щипачёв, и мне помнится, что никто не виделся за ним больше, разве только стенографистка, а может быть и её не было. Остальные присутствующие, из которых я запомнил только Веру Инбер, Маргариту Алигер и Долматовского, сидели на стульях у стены, в стороне от стола. Таким образом, за столом сначала уселись мы двое: Щипачёв и я, визави, глядя друг на друга через всю, как мне показалось, громадную продолговатость стола. Это выглядело довольно дико, двое за огромным пустынным столом, на разных концах. И тут, как бы заметив странность всего этого (может быть, мне так кажется, я очень смутно вспоминаю и могу ошибаться, но вспоминается мне именно так), как бы заметив странность, дикость, фантасмагоричность всего этого, В. Инбер подсела к Щипачёву, а ко мне, то есть не ко мне, а на место почти на равном расстоянии между Щипачёвым, Инбер и мной, сбоку, уселся Александр Жаров.

И я, не откладывая дело в долгий ящик и стремясь предупредить какие-либо вступительные разговоры, начал читать стихи. Я прочёл одно за другим шесть или семь стихотворений, вскидывая голову лишь для того, чтоб следить за выражением лиц моих слушателей. И заметил почти сразу, как на бледном лице Степана Щипачёва улыбка, сначала исчезла вовсе, сменившись на выражение глубокого внимания, а затем эта улыбка появилась снова, превратившись из

напряженной в благосклонную, довольную, удовлетворённую, я не знаю, как это определить точнее, но Степан, я видел это, будто почувствовал облегчение, начал кивать головой, поворачивая её не столько ко мне, сколько к остальным и как бы безмолвно говоря:

— Слышите!

Но ответных знаков удовлетворения у остальных присутствующих я не приметил. Их лица были торжественны и немы.

— Ну, что я вам говорил? Слышите! — читал я на лице Щипачёва, но когда я кончил, уста его произнесли вовсе не эти слова, а, насколько я помню, лишь приглашение высказываться.

И вот смысл высказываний, то, что записано мною на листке блокнота. Я не ручаюсь за дословность записи. Может быть, сохранилась стенограмма, где всё записано точней и, быть может, вовсе не так, как мне показалось, но мне кажется, что записал я предельно точно, как когда-то, репортерствуя, записывал я смысл речей официальных лиц, хозяйственников, судей.

Вот сокращённая запись:

В. Инбер: По поводу «Мороз был сорок...». У нас никто не испытывает мороза, не сердится на него в наших условиях. Лето где-то посреди столетия, это лето у Мартынова где-то далеко в будущем, в то время как оно *пришло*. Нет, социального ока.

А. Жаров: Почему вы не пишете, как все: Исаковский, Долматовский и другие? Птичий след. Ваша позиция, позиция Н. Крутицкого. Почему в стихотворении, из которого явно видно, что оно о Неруде, не указано имени Неруды. Зачем упоминается в стихах Тверская застава, которой уже нет. Нет, я бы ваши стихи не печатал — пишете непонятно!

Е. Долматовский: Боярский взгляд. Небесный аршин. След-паркет.

М. Алигер: Архаизм! Нежелание быть современным. Смотрите, он смотрит свысока и на меня и на всех.

Это я-то смотрел свысока и на неё и на всех! А, впрочем, может быть, я и действительно смотрел свысока. Может быть! Что же ещё мне оставалось делать! Я не знаю. Трудно видеть себя со стороны. Я помню только, что Маргарита Иосифовна почему-то, кажется, в назидание мне, упомянула, что она пишет поэму о строительстве университета на Ленинских горах, а я одобрительно сказал, что, мол, посмотрим, у кого получится лучше. И я не лгал, что пишу такую поэму, я действительно писал в это время что-то такое громадное, которое потом рассыпалось на массу коротких стихотворений, некоторые из которых были напечатаны в журналах и в газетах, в том числе в «Правде». Итак, я сказал, желая сделать М. Алигер приятное, что, мол, посмотрим, у кого будет лучше, а она рассердилась.

Она рассердилась, но как-то смешно, так, что её гнев будто бы разрядил атмосферу. Я улыбнулся. Другие, я не помню, кто ещё там был, чего-то ещё такое говорили, но мы со Щипачёвым молча смотрели друг на друга через стол, и мне кажется, у нас было одно и то же желание — скорее покончить со всеми этими разговорами, потому что, несмотря ни на что и даже на эту, как будто бы в самом деле разделяющую нас, столешницу, было ясно и понятно, что я жив, здоров, творчески активен, хотя и «смотрю на всех свысока», и затея Александра Александровича сорвалась.

Обо всём этом я уверенно рассказал, придя домой. И помню, мы долго перечитывали мою блокнотную запись, а потом сунули её куда-то подальше…

Но, чтобы всё-таки не привязывались ко мне в дальнейшем, я решил записаться в кружок текущей политики к товарищу Чичерову и усердно посещал занятия этого кружка раз в неделю. «Я им покажу, как я далёк от современности», — сказал я и до сих пор не знаю, к чему это относилось: к изучению ли текущей политики, или к стихам, которые я продолжал писать совершенно так же, как и раньше, то есть не с заранее обдуманным намерением, а как попало.

Занятия же мои в кружке продолжались до той поры, до того дня, до того часа, когда они были прерваны голосом

диктора, заставившим всех насторожиться: лектора Ивана Ивановича Чичерова прослезиться, а слушательницу Анну Караваеву пробормотать, осеняя себя крестным знамением, что-то вроде «дай, Господи, здоровья рабу твоему».

Но всё это уже не было записано ни на каких листках из блокнота, так что, вспоминая всё это, могу и перепутать, не ручаюсь за точность того, что не было записано хотя бы впопыхах карандашом.

## КАЛИТА

Ещё одна маленькая повесть о том, как легко принять одного за другого, повесть о забытых поэтах, и снять толки, связанные с Всеволодом Ивановым.

Это произошло, насколько я помню, уже в пятидесятых. Впрочем, надо будет уточнить с Гидашем, когда именно это случилось. Дело в том, что Гидаш отравился гусиной печёнкой (а может быть и какими-нибудь другими консервами — надо уточнить и это) — и попал к Склифосовскому.

Когда все процедуры, связанные с очищением желудка, были проделаны, Гидашу захотелось курить. А привезли его к Склифосовскому в машине «скорой помощи», видимо в пижаме, как был, сигарет при нём не оказалось. И он попросил сиделку сходить в киоск. Но сиделка вернулась не с сигаретами, а с довольно паршивыми папиросами-гвоздиками. Она сказала, что киоски уже закрыты, время позднее, но она попросила папирос у одного пациента, тоже писателя.

— А как его зовут? — спросил Гидаш.

— Всеволод Иванов.

— Как? Всеволод Иванов тоже попал к вам, — воскликнул Гидаш. — Что с ним? Я должен его навестить сейчас же.

— Можете, — сказала сиделка. И назвала номер палаты.

И Гидаш, набросив халат, отправился навещать Всеволода Иванова.

Гидаш рассказывал нам после, что ему с самого начала показалось, что тут что-то не так. Почему Всеволод

Вячеславович, который как будто и вообще не курит, вдруг курит такие скверные папиросы-гвоздики. Когда же Гидаш заглянул в указанную палату, то он увидел там вовсе не Всеволода Иванова, а совсем другого человека. Гидаш отпрянул и пошёл по коридору сказать сиделке, что она, вероятно, назвала не тот номер палаты, ибо человек, в ней лежащий, вовсе не Всеволод Иванов.

— Нет, всё правильно. Это — та палата. Это и есть Всеволод Иванов, — рассердилась сиделка. — Как нам его не знать, он не в первый раз к нам попадает!

Тут Гидашу, как он рассказывал после, стало не по себе. В те дни он вообще был в нервическом состоянии, случай с консервами ещё более возбудил его, а история с Всеволодом Ивановым и вовсе вывела Анатолия Францевича из душевного равновесия. Не бред ли всё это? — подумал он. И ему захотелось немедленно покончить со всем этим, выбраться из этих мрачных вечерних, озарённых тусклым электрическим светом, больничных палат и коридоров, расстаться и с таинственным незнакомцем и с этой сиделкой, глядящей не него, Гидаша, как на безумца, отрицающего очевидность. И Гидаш бросился к телефону, требуя, чтоб Агнесса привезла одежду и увезла его домой. Почему-то за Гидашем явилась не сама Агнесса, а Евгения Книпович[7], с которой он и помчался по ночной Москве, сбивчиво рассказывая о таинственном происшествии.

Вот что случилось однажды ночью.

Я ничего не утверждаю наверное. Но думаю, что всё было не иначе, а вот так. Разумеется, был прав и Гидаш, не признав во Всеволоде Иванове Всеволода Иванова, но была права и сиделка, утверждавшая, что в палате лежит не кто иной, как курящий гвоздики Всеволод Иванов. Это и был Всеволод Иванов, но не Всеволод Вячеславович, а, видимо, незнакомый Гидашу Всеволод Никанорович Иванов, старый писатель, родившийся в 1888 году, начавший печататься ещё в 1909 году, много прежде, чем окончить историко-филологи-

[7] Книпович Евгения Федоровна — критик, литературовед, знакомая Гидаша и Агнессы.

ческий факультет Петербургского университета, как сказано о нём в Литературной энциклопедии, если, конечно, Гидаш увидел именно его лежащим у Склифосовского. Но я думаю, что Гидаш увидел именно его, потому что уж очень совпали сроки. Я проследил по Литературной энциклопедии, там так и сказано: с 1922-го по 1945 год жил в Китае, вначале как эмигрант, в 1931 году получил советское гражданство, сотрудничал в ТАСС. Основные произведения Иванова посвящены борьбе китайского народа за освобождение. Повесть «Тайфун над Янцзы» (1952) рассказывает о том, как рабочие и крестьяне Китая изгоняли из страны гоминдановцев. Повести «Шаньдун», «Путь к Алмазной горе», роман-хроника «На нижней Дебре» о событиях революции 1905 года в Костроме и исторический роман «Чёрные люди» (1963).

Это всё я сам прочёл в Литературной энциклопедии много позже, когда она вышла. А тогда, когда Гидаш рассказал мне о случае у Склифосовского, я вспомнил только, что Всеволод Никанорович — это человек, существованием которого Антон Сорокин пользовался для мести Всеволоду Вячеславовичу, приписывая по злобе последнему деятельность и факты биографии первого. Другими словами, Сорокин, озлобясь на Всеволода Вячеславовича, толковал, что он, Всеволод Иванов, сотрудничал в белогвардейских газетах. Рассказывать подробно обо всех пакостях Антона Сорокина я Гидашу не стал. Я только сказал: «Это не тот Всеволод Иванов, это другой — Никанорович, тоже писатель.»

— Он хороший или плохой писатель? — спросил Гидаш, уже совершенно успокоившись.

— Как Вам сказать, — ответил я. — Мне лично запомнилось, но запомнилось наизусть, а это кое-что значит, только одно его произведение. Стихи. Если я помню, они называются «Калита». И если не путаю, звучат они так.

Сибирь с огромными пространствами.
Прямой, решительный, неловкий
Ты пешим образом пространствовал
С мешком, подсумком и винтовкой,

Ища под Пермью на позиции
Или в тайге зеленокудрой
Всё, что утеряно в Галиции
Предательствами суемудрых.

Ах, в реченьях ложно-государственных
Твоя душа вся обуяна
Заботою высокоцарственной
Скупца России Иоана.

Один скорбит душою мглистою,
Другой — ловец своих мгновений,
А ты один идёшь тернистою
Тропой сверхличных вождений,

Восстановляя, что разрушено,
Что мудростию предков даже,
И только мудрый голос слушая
Царей Петра и Иоана.

Вот как писал он, если это писал он, если вы встретили именно его, о котором я думаю, — довольно бессвязно сказал я Гидашу.

Гидаш, вероятно, обо всём этом уже позабыл. И вообще эта история о гусиной печёнке и позабытых стихах позабытого поэта, вероятно, интересна только мне, о чём вчера и говорила Ниночка, упрекнув меня, что я заполняю свои воспоминания рассказами о событиях, не имеющих большого общественного значения.

## ЯВЛЕНЬЕ ТИХОНОВА

Явление Тихонова рассматривалось разными людьми, само собой разумеется, по-разному. Одним после знакомства с его героическими военными балладами казалось, что

в ознаменование побед Советской власти в литературу, мерцая гусарской саблей, ворвался юный красный кавалерист. Другие, наоборот, утверждали, что молодой Тихонов — очень начитанный книжник, романтик, к которому в гости в Питер не зря пришёл под парусами сам Роберт Льюис Стивенсон. Словом, толковали о самом Тихонове и толковали его творчество с весьма разных позиций. Но мне кажется, что точней всего написал нам в Сибирь Всеволод Иванов: мол, в Петрограде объявился замечательнейший поэт. Это было ясно, просто, по существу. Кстати, для меня, прочитавшего уже кое-что из Тихонова, это было не новостью, — я понимал, что к Маяковскому, Блоку, Ахматовой, Есенину, то есть ко всему нашему Олимпу самобытных прибавился тот, которого именно там не хватало, именно такой поэт, как Николай Тихонов.

О самобытности. Ничто не рождается из ничего, и у каждого художника есть свои предшественники. Ведь и Сергей Есенин пришёл с Рязанщины не мужичком-простачком, а просвещённым, как дай бог иному гимназисту, юношей. И в самом деле, если даже Тихонов явился не из дремучего леса, не с голых прибрежных финских скал, если он прежде, чем стать солдатом, испытал, как он сам рассказывает, исступлённое увлечение литературой, то когда, в конце концов «к Тучкову мосту шхуну привёл седой чудак Стивенсон», Тихонов поступил, как должно поступить самобытному художнику:

«Стивенсон, — сказал Тихонов, —

Пусть уходит в моря, в золото, лак
Вонзать в китов острогу —
Я сердце своё, как боксёр кулак,
Для боя в степях берегу!»

Однако сердцем и душой он был не только в степях. Мне помнятся прекрасные молодые стихи Тихонова о Сибири, северных широтах, я хорошо помню, как взволновали меня и друзей моих сибиряков эти стихи, в которых некоей новой интонацией вдохновенно преодолевалось привычное

джеклондоновское отношение к Северу. Другой пример, показывающий, чем был Тихонов, и чем он был для нас на заре нашей юности: только полемизируя с Редьярдом Киплингом, можно было создать образ индийского мальчика Сами, рассказывающего своему злому Сагибу правду о Ленине. А как забыть тихоновский «Перекоп»! Вот это:

И когда луна за облака
Покатилась, как рыбий глаз,
По сломанным, рыжим от крови, штыкам,
Солнце сошло на нас.
Дельфины играли вдали,
Чаек качал простор,
И длинные серые корабли
Поворачивали на Босфор...

И не только некие корабли поворачивали на Босфор, а как будто вся жизнь земная поворачивалась по-иному, и Тихонов своими глазами уже видел, как, несмотря на киплинговские уверения, сходят с места Запад и Восток, и близятся времена, когда он, поэт, друг людей, пустынь, степей и гор, расскажет заокеанским «пальмовым людям» о своей северной зиме, где «ночная земля осыпана снегом и хмелем».

Так я представляю себе творческий путь Николая Тихонова, который, обращаясь к «буйному духу земному», когда-то позвавшему его на поединок, воскликнул, что он, поэт, помнит всё былое, но «дал земле другое имя». То есть меркнут старые светочи, пали старые крепости, бастионы, Бастилии, всё становится иным, новым, кроме любви, любви к той, чьё имя простое он никому никогда не отдаст! Но повесть о любви проходит через всё творчество Тихонова и, право, не нуждается ни в каких, даже юбилейных, комментариях...

Так писал я в юбилейной, под портрет Николая Семёновича, статейке для «Литературной России». Я хотел

больше, но попросили написать коротко, вроде текста под фотографией, что я и выполнил с ворчанием: — вот, мол, де ограничиваете, — а когда услышал, что, конечно, будут рады, если получат и статью побольше, было уже поздно, микростатейка была завершена, время для её сдачи в печать исчерпано.

Однако безо всякого самохвальства скажу, что в этой маленькой статье высказано и изложено в соответствии с действительностью, и если что и остаётся сделать, так досказать о том, что не нуждается ни в каких юбилейных комментариях.

Мария Константиновна, безусловно, была если не путеводной звездой Николая Семёновича, так той волшебницей, которая направляла эту путеводную звезду на должный путь. Впрочем, и звездочетствуя, не возводя никого в ранг звёзд и не низвергая никаких звёзд с небес, я расскажу лишь о том, что сам видел, испытал, чувствовал.

Когда Тихонов напечатал в 1927 году в «Звезде» моего «Безумного корреспондента», я ничего не знал о Марии Константиновне и не знаю, рассказывал ли он ей о том, что принял в редакции молодого сибиряка, одетого в клетчатую ковбойскую рубаху и ядовито зелёно-желтые полосатые брюки. Не представлял себе я Марии Константиновны и в 1944 году, когда, вырвавшись из сибирского полона, объявился я перед очами Тихонова, воссевшего, взамен Фадеева, в председательском кресле СП СССР. Тихонов, которого я зашёл поблагодарить за вызов в Москву, встретив меня хмуровато, затем сказал, что Мария Константиновна и он будут рады меня видеть вечером у себя дома. Так я понял, что моё творчество не безынтересно и для Марии Константиновны.

Правда, Муза Павлова, автор книжки стихов «Полосатая смерть» и переводчица, тогдашняя домашняя секретарша Николая Семеновича, была уверена, что это только она подняла интерес Марии Константиновны к моей особе. Это было, конечно, тоже не неверно. Муза очень ценила меня как поэта и очень много хлопотала по моим делам и, конечно, немало говорила обо мне Марии Константиновне.

Но Мария Константиновна, как это выяснилось из наших последующих бесед, прекрасно знала о моём предвоенном существовании если не начала, так конца тридцатых годов. Она слышала обо мне от Георгия Суворова, их блокадного ленинградского друга, поэта, офицера, который начинал свою военную карьеру солдатом омского гарнизона, встречался в Омске со мной, мы давали его вечер в Доме Красной Армии, и ещё он ей рассказывал что-то... Словом, когда я поднялся на седьмой этаж Дома правительства, где обитали Тихоновы, она, хотя я увидел эту высокую стройную, строгую на вид, женщину впервые, встретила меня как хорошо знакомого человека и со спокойной настойчивостью назвала мне те мои стихи, которые хотела услышать, и я их прочёл так же безо всякого стеснения и напряжения, будто бы читал ей эти стихи уже много раз. Слушал их и Тихонов. По-моему, это с их стороны было не простым любопытством, а стихи слушались для дела. Мария Константиновна, прося меня прочесть то или другое стихотворение, вероятно, помогала Тихонову решить судьбу о возобновлении издания книжки моей «Лукоморье», год назад зарезанной Фадеевым. И, чтобы к этому не возвращаться, скажу, что в 1945 году «Лукоморье» благополучно вышло в свет.

Следующая встреча с Марией Константиновной была, как мне помнится, когда она пригласила меня на концерт в консерваторию. Помню, я заехал к Тихоновым, и мы с Марией Константиновной отправились. Что это был за концерт, я позабыл, да я, вероятно, и ничего не слушал, а когда Мария Константиновна, что-то сказав и не услышав от меня ответа, дернула меня за рукав, я вынул из кармана и показал ей телеграмму, в которой Ниночка извещала меня о смерти моей мамы.

Затем, когда уже приехала Ниночка, вызов которой тогда удалось сделать лишь при содействии Тихонова, вернее Тихонова + Поликарпова + Музы, — когда уже Ниночка приехала, но не была ещё знакома с Тихоновыми, и я ходил к ним ещё один, мне запомнился такой эпизод, характеризующий роль Марии Константиновны в делах поэтических

и политических. Это было в 1946, может быть, чуть позже. Я под влиянием очередных сообщений о событиях на Ближнем Востоке сказал стихотворную хохму такого рода: «И смутно гудят провода телеграфа: — Давид Голиафа!». — Николай Семёнович, прислушавшись одним ухом, как я читаю этот стих, бросил мне через стол, что с этой темой надо быть осторожней и надо к происходящим событиям относиться внимательней. А когда Николай Семёнович ушёл в свой кабинет работать, Мария Константиновна произнесла целую речь, вернее, блестяще сформулированную короткую лекцию о сионизме, его прошлом, настоящем и будущем. Словом, она горячо и убеждённо высказала почти целиком всё то, о чём мир заговорил вслух и громогласно лишь четверть века спустя.

Однако не во всём она была столь политически дальновидной и способной оценить обстановку.

Тут я приступаю к изложению обстоятельств, послуживших причиной к охлаждению наших отношений. Это получилось из-за Гидаша. Дело в том, что до 1947 года Гидаш с Агнессой и я, не говоря уж о Ниночке, были знакомы с Тихоновыми, так сказать, по отдельности, то есть не зная друг друга. И когда при посредстве Е. Книпович Гидаш с Агнессой познакомились с нами, Ниночка была ещё не знакома с Тихоновыми, и Агнесса стала торопить меня познакомить Ниночку с ними. Ниночка долго отнекивалась, уверяя Агнессу, что Марии Константиновне, а тем более Николаю Семёновичу это знакомство будет не интересным, что Агнесса все меряет на свой аршин, что не только у Гидаша, но и у неё с Тихоновыми общие знакомые, общие интересы, литература, поэзия, переводы, что Агнесса с Гидашем у Тихоновых как свои, всегда желанные гости. И это было похоже на правду. Но только похоже! Ибо, однажды, уже после всех перипетий, связанных с выходом антологии венгерской поэзии, и после выхода этой книги Мария Константиновна при упоминании о Гидаше вдруг мне заявила: «Не понимаю, что он сидит здесь, у нас, когда ему давным-давно пора возвратиться в Венгрию».

Услышав это, я был столь озадачен, что не сообразил даже сразу, что ей ответить, настолько неожиданно прозвучали эти слова. Я посмотрел на Марию Константиновну с недоумением: разве не знает она, что держит Гидаша и Агнессу здесь! Это же ясно: немилость, ненависть Ракоши к семье Кунов. Ведь потому была задержана выходом и эта самая антология венгерской поэзии! Там, как оказалось, в предисловии Гидаша не было должных славословий в адрес Ракоши. Но так как я сам это знал всё довольно смутно, Гидаши в те дни были еще скупы на информацию и ограничивались больше намёками, — я решил сперва выспросить Гидаша напрямик, а уж потом, в следующий раз рассказать всё Марии Константиновне толком. Однако не успев осуществить это намерение, я услышал от общих наших знакомых, что Мария Константиновна, ругательски ругая Гидаша, шельмует вместе с ним и меня, говоря, что Гидаш вместо того чтоб ехать на родину, сидит на Фурмановской, то бишь Нащекинском бывшем переулке, запершись с этим сумасшедшим Мартыновым. И тут уж я не стал ждать, а явился к Марии Константиновне для решительного объяснения.

Как сейчас помню, мы подошли к окну и, глядя не на Марию Константиновну, а в серый колодец двора Дома правительства, я сказал: «А Гидаш, я полагаю, знает, что делает, предпочитая оставаться у нас. И как бы то ни было, они сидят здесь не зря, а создают прекрасные книги, способствующие, как говорится, укреплению дружбы и взаимопониманию между народами. И, между прочим, в этой их прекрасной деятельности участвует и Николай Семёнович, переводя не только Петефи, но и Ади, и многое другое».

Мария Константиновна ничего мне на это не ответила, а лишь взглянула с некоторой недменностью и, пожав плечами, отошла от окна. И к этому разговору мы больше не возвращались, и я решил, что, пожалуй, не стоит рассказом обо всём этом тревожить и Агнессу, и тем более чувствительного и нервного Гидаша.

Да кроме того, тут вскоре случились такие крупные неприятные события, которые заставили забыть о мелких. Это было постановление о «Звезде». Я уж теперь плохо помню, как всё это происходило. Ниночка говорит, что если судить с моих слов, по моему рассказу, то после того, как Тихонова сняли, я будто бы явился к ним и в ответ на вопрос Тихонова, как реагируют на его низвержение, говорил что-то невнятно, вроде того, что люди даже радуются, но тут, мол, приехал Михалков, и Тихонов, махнув на меня рукой, ушёл с ним в кабинет. Может быть, всё это так и было. Но мне не запомнилось ничего, кроме посвященного этому событию стихотворения моего тех дней. Вот оно:

Покой подъезда был глубок.
Привратница плела клубок.
— Вам на какой этаж, милок?
— Мне на седьмой!

В глазах зажглись
Два огонька: светляк и тля.

Из лифта что-то вроде крыс,
Бегущих будто с корабля.

Хлоп дверца! Вниз понёсся трос…

— Вы дома ли?
— Что за вопрос!
— А где же пёс?
Он кости сгрыз!
— А гости?
Гости разошлись.
— А кот?
Кота поймали мыши.
И голос Ваш всё тише, тише,

Как через трубку телефона:
— Не то что ворон, а ворона
Не залетит теперь под крышу!
Так улетайте, голубок!

Покой подъезда был глубок,
Привратница плела клубок.
Но не чулок, но не чулок…

Но ничего, но ничего.

И действительно, все эти чёрные дни миновали, и Ахматова осталась Ахматовой, Зощенко — остался Зощенко, как, впрочем, и Шостакович Шостаковичем, и Тихонов Тихоновым. И Агнесса по-прежнему всё гнула и гнула своё: «Ниночку необходимо познакомить с Марией Константиновной! — внушала она. — Я сама возьмусь за это дело», — повторяла она, не слушая моих речей о том, что Ниночка не хочет ехать к Тихоновым. Напрасно Гидаш убеждал Агнессу: «Что ты пристаёшь! Разве ты не видишь, что Ниночке чужд тот светский образ жизни, который называется толчением гостей в гостиной у Марии Константиновны?» Но Агнесса не отступалась и, свойственным ей упрямством, добилась намеченной цели. Случилось это так: Агнесса до того настойчиво убеждала Тихоновых, что условия, в которых мы живём, ужасны, что однажды Мария Константиновна решила самолично проверить это. И вот, не помню уж, как это было организовано, но, когда мы с Марией Константиновной оказались на старом Бабьегородском рынке или около, словом, там, где ныне воздвигается новое здание Третьяковки, мы оттуда прошли к Новокузнецкому метро, а затем поехали на 11-ю Сокольническую и действительно явились как раз вовремя, ибо за час-другой до нашего появления генерально лопнула труба канализации в верхнем этаже, и через потолок во много раз пуще, чем раньше, засочилась какая-то коричневая жижа. Капало не только на лежащие на шкафу,

но предусмотрительно прикрытые клеёнкой книги, а и над дверью в нашу комнату из кухни. И Ниночка должна была протянуть мне через дверь зонтик, чтоб под его прикрытием я мог ввести Марию Константиновну в комнату. Таким образом, Ниночка и Мария Константиновна познакомились между собой. И Ниночка, разумеется, получила приглашение в гости к Тихоновым.

Эта гостьба состоялась тоже, конечно, хлопотами Агнессы уже в 1954 году, весной, точнее 22 мая, в день моего рождения. Я называю дату столь точно потому, что Ниночка напомнила: Розен, присутствовавший в тот день у Тихоновых, затем рассказывал общим знакомым, что в день своего рождения Мартынов вместо получения подарков себе, сам сделал присутствовавшим подарок, одарив всех чтением книги своих стихов.

Мне всё это запомнилось так. Дело шло к вечеру, но было ещё не темно. Мария Константиновна, Агнесса, Ниночка и, кажется, Гидаш сидели на диване. Розен, я уж не помню где. А я спиной к окну, в том конце обеденного стола, где обычно председательствовала Мария Константиновна, а Тихонов — по другому концу стола напротив.

Что я им читал?

Я читал им ту книжку, рукопись которой, врученная Агнессой Полевому (о чём Тихонов не знал), вот уж полгода безнадёжно лежала у него в ящике письменного стола; я читал ту же самую книжку, которую собрал с Владимиром Сякиным, причём Сякин сказал мне, что она выйдет в конце года в «Молодой гвардии» (о чём не знали ни Агнесса, ни Тихоновы). Вот какую книгу, книгу небольшую, в три печатных листа, то есть максимум в две тысячи строк, книгу, рассчитанную на полчаса слушания, внятно и раздельно читал я. Я мало верил в уверенья Сякина, что книга эта выйдет в «Молодой гвардии», не больше верил я и в помощь Тихонова. Прекрасно зная, что именно Тихонов помог увидеть свет прирезанному было Фадеевым «Лукоморью», великолепно понимая хорошее ко мне отношение Тихоновых, я всё-таки

сомневался в них точно так же, как и в «Молодой гвардии» с её директором Васильевым и редактором Сякиным. То есть, не сомневаясь в достоинствах своей книги, собранной из стихов, написанных за целое десятилетие вынужденного печатного молчания, я всё-таки сомневался в том, что уж пришло время нарушения этого молчания, которое, несомненно, будет нарушено рано или поздно. Вот о чём думал я. И когда кончил читать, то без удивления услышал задумчивые слова Николая Семёновича:

— Да, вопрос об издании книжки, о печатании этих стихов должен решаться на высоком уровне.

Рукопись я оставил у них.

И я помню конец лета, когда однажды Тихонов, встретив меня в Союзе, сказал ласково: «Мы часто читаем ваши стихи, ту книжку, дома». — Будто в том смысле, что это прекрасное домашнее чтение.

И помню осень того же года, когда мы шли по мосту через усыпанную плавучими осенними листьями канаву с Марией Константиновной, и она сказала мне: «Ну, что ж, Леонид, вы из тех поэтов, которые получают признание лишь после смерти!»

А в начале следующего 1956 года, видимо — в январе, я вручил приятно удивлённым Тихоновым зелёненький экземпляр молодогвардейской книжки. Но, прежде чем это случилось, прежде чем 1956 год настал, была ночь его встречи. Как я уже сказал, упрямая Агнесса упорно гнула и гнула своё, с неослабеваемой энергией продолжая благородное дело сближения нас с Тихоновыми. И вот, за несколько дней перед Новым годом, когда мы с Ниночкой сидели у Гидашей, вдруг прозвучал телефонный звонок: «Да, да, спасибо! — взяв трубку, сказала Агнесса. — А у нас Мартыновы. Хорошо! Сейчас я их спрошу. Вы принимаете приглашение Тихоновых встречать Новый год у них. Да, они согласны! Прекрасно. До свидания, Мария Константиновна».

Так вечером 31 декабря 1955 года мы оказались за новогодним столом у Тихоновых. Было, как всегда, много народа. Николай Семёнович приехал уже после полуночи с крем-

лёвского приема в сопровождении двух дам в бальных платьях — вдовы Павленко Наташи Тренёвой и жены Фадеева Ангелины Степановой. Как всегда Тихонов был красноречив и произносил тосты, причём один из них насторожил было нас всех. «Так выпьем же в память, — многозначительно провозгласил Тихонов и, сделав паузу, завершил к облегчению всех так, — выпьем же в память дорогого Петра Андреевича Павленко». И все вздохнули от всей души с облегчением, что Тихонов почтил память Наташиного мужа, а не того человека, чей портрет всё еще стоял среди красивых самодельных кукол на столе у Марии Константиновны.

На нас, — впрочем, Ниночке показалось, что только на неё, — а на самом деле и на меня, и на Агнессу Николай Семёнович смотрел в этот вечер какими-то немного пустыми глазами, которые потеплели, пожалуй, лишь тогда, когда Гидаш стал петь венгерские песни. Агнесса сидела смирно и скромно в уголке с Ниночкой, а я вовсе не за тем, чтоб обратить на себя внимание, а так, как уж у нас вообще полагалось под Новый год, предложил всей компании вытягивать счастья — бумажки с предсказательными рисунками-символами, ребусами и шарадами. Вернее мы решили присовокуплять эти счастья к новогодним сюрпризам — подаркам Марии Константиновны. И Ангелине Степановой достался рисуночек сердца, пронзённого стрелой, на наконечнике которого алела капля крови: «Любовь, любовь!» — воскликнули присутствовавшие, но это, как выяснилось, была не стрела Амура, а другое: это наступил год самоубийства Александра Фадеева.

Я пишу все это повествование о Тихонове. Но только ли о Тихонове пишу я? Нет, ты, как обычно, пишешь о себе и чуть ли не обо всех своих знакомых, — говорит мне голос благоразумия. — Вот как далеко, эгоцентрист, ты отцентрифугировался от темы своего повествования!

Но это естественно, потому что Тихонов принадлежит к тому разряду существ, которые могут вовлечь в свою орбиту великое множество других личностей, причём не все обя-

зательно делаются спутниками, как, скажем, Луна спутником Земного шара, а Деймос и Фобос — Марса, но кое-кто, хотя бы некоторое время, должен образовать как бы одну половину двойной звезды. Словом, мы немыслимы друг без друга и будем писать друг о друге, не стесняясь упоминать и о других, но предоставляя уже читателю судить, кто из нас Юпитеры, кто Геркулесы, кто Сатурны, кто Земные шары, кто их спутники в обличии то ясных месяцев, то полных и неущербных лун.

Я употребляю эти астрономические сравнения потому, что повествую о человеке с марсианской жаждой творить. Ведь даже и в свете достижений современной космонавтики это выражение — марсианская жажда творить — звучит отнюдь не устарело, а наоборот, эпохально определяя точное место Тихонова во времени, точку отсчёта, от которой идёт всё дальнейшее. И вот эту марсианскую жажду творить, заставляющую его с юных лет выдавать всё новые и новые книги, жажду, породившую «Орду» и «Брагу» начала двадцатых годов, жажду, породившую не только «Цинандали, бьющее из пучины виноградарственных рек», но и тигриный чай, порождённый багровой кровью Бухары, жажду, которая заставила его выпить «Три кубка» любви и ненависти — конечно, эта жажда и превратила его в неутомимого творца будущих форм жизни, трибуна, геральда мира, постоянного участника симпозиумов и конгрессов. И потому я стал видеться с Николаем Семёновичем всё реже и реже, причём не имел за это к нему ровно никаких претензий, прекрасно понимая, как он занят. Но вот однажды я позвонил почему-то к Марии Константиновне, и она сказала, чтоб я зашёл, и я поднялся к ним, и Мария Константиновна приняла меня, как всегда, у себя в комнате. «Коли нет дома, — сказала она, — он опять улетает сегодня за границу». И вскоре за тем послышался звонок в передней, это вернулся Николай Семёнович, и через несколько минут он появился в дверях комнаты.

— Маша... — начал он и, заметив меня, поглядел на меня вопросительно, мол, не к нему ли я зачем-нибудь явился, так я понял этот взгляд.

Мне бы тогда надо было сказать: нет, Николай Семёнович, не беспокойтесь, у меня нет к вам никакого дела, но вместо этого я произнес:

— Значит, опять улетаете?

— А вы откуда знаете? — ответил он, внезапно рассердившись или, во всяком случае, с каким-то высокомерием. И в запальчивости повернувшись, ушёл.

Немного посидев с Марией Константиновной, ушёл и я. И, кажется, больше уж у Тихоновых не появлялся. Так что, если говорить о том, что развело меня с Тихоновыми, то лучше всего сказать, просто недоразумение. А еще лучше сказать, что было бы недоразумением сказать, что нас что-то развело, настолько мы были и остались близки друг к другу.

И это не пустые слова, и даже не ответ любезностью на любезность, такую, например, как при вручении мне им Государственной премии, когда не на шутку растроганный Тихонов повторял: «Ну, вот и получил, ну, вот ты и получил!» — ибо я знаю, он и сам не думал, что я наберу абсолютное большинство голосов в Комитете (о чём мне тоже поведала Агнесса, хотя уж давным-давно обитавшая к тому времени в Венгрии). Давно уж не стало Марии Константиновны, которая, казалось бы, могла являться последним звеном между нами, но постаревший, поникший Тихонов мне не стал дальше, а, пожалуй, наоборот, ближе, зримей, видней, как становятся видней голубые вены на руке к старости. Пожалуй, что больше всего нас, несмотря на наши размолвки и охлаждения, сближает свойство видеть, замечать почти одновременно, каждого со своей позиции, со своей точки зрения, разумеется, то главное, что должно быть видно человеческому оку. Иногда это главное, — не что иное, как облака, иногда — тучи, то есть бывают такие моменты, когда наблюдатели даже в разных концах мира вдруг видят на безоблачном небе сонмы туч, а иногда, наоборот, на фоне таких туч — спектры радуг. Но, отвлекаясь от этих отвлечений, скажу конкретно: конечно, мои строки «Лошадь большая, а я её меньше, но я не боюсь лошади, я

большой, а ты меня меньше, а я тебя боюсь, ты свирепая» (1926) могли быть навеяны более ранним Тихоновым: «Ты мне нравишься больше собаки, но собаку я больше люблю» (1922). Но едва ли Тихонов, написавший в 1940 году стихи «Ночь»: «Спит лодок целый флот и мёртвый лев Тезея, спит глобус великан, услада ротозея, спят мыши в глобусе» и т.д. знал мои стихи 1932 года «Рассвет»: «Город стар, город сед, городу 1140 лет, дом стар, стар забор, стар бульвар, стар собор». — И, просматривая его книги, я вижу, что совершенно закономерно, несмотря на всю свою непохожесть, сходны наши «первые снега» и его «меховая тишина лесов» органически связана с моими «меховыми цветами наших зим», и, наконец, наши «Деревья», мой хор деревьев и его толпы деревьев тоже чем-то близки друг другу, хотя и противоречиво близки, — его рощи, кричавшие ему в 1920 году: «Любимый, мы ждём, верны твоему топору» и мои деревья, которым я кричал в 1937 году: «И я топором был под корень подрублен, но не был погублен, но не был погублен!» И не знаю, прочтёт ли голубоглазый старик то, что сказано ниже, но скажу так:

Кто знает — не тихоновские ли длинные серые корабли, поворачивавшие на Босфор, вспомнились мне, когда через полвека я писал свой «Узел бурь», не смутная ли тень седого голубоглазого волхва — волшебника Тихонова мелькнула передо мной, когда я почувствовал, что сам, уже развязавший свой узел бурь, я откуда-то из лазури александроневств лечу как журавлиный крик, уже давно за морем Чёрным, где гаснет византийский лик в Босфоре фосфорно-просфорном.

Конечно, он не мог бы это написать так, как я, то есть почти полвека тому назад развернуть свой перекопский образ в таком направлении. Но с другой стороны, вероятно, и я не развернул бы своего образа так, если бы не было тихоновского прообраза, а у него в свою очередь не было бы таких каких-то гумилевски-киплинговски-стивенсоновского, а, с другой стороны, владимиросоловьевских и тютчевских прообразов. Впрочем, не осмеливаюсь утверждать, может быть, мне это всё только грезится, кажется. Но может быть

вот, если угодно, та преемственность, которая связует меня с Тихоновым, преемственность, замеченная мною самим лишь только через полвека заочного и очного знакомства, наших встреч, расхождений, дружб, ссор. Да, только через пятьдесят лет я, а не критики-профессионалы, заметил, как кое в чём похож я на Тихонова, а он на меня. И кто знает, какие еще взаимосвязи откроются когда-нибудь в нашей поэзии, в нашей прозе, в нашей публицистике, какие еще общности нашего творчества отметят литературоведы.

Но это уж то, о чём будут судить-рядить, вероятно, лишь в начале грядущего XXI столетия.

## СЕРЕБРЯНЫЙ КРЕСТ

Серебряный Крест был первым в жизни орденом, полученным мной. Это было ещё в сталинские времена, и я точно не помню, за что именно, за венгерскую ли антологию, или же за переводы Петефи венгерское правительство наградило орденами Гидаша и Агнессу (тогда ещё в литературе Краснову, так как имя Куна было ещё одиозно), а также ряд советских писателей-переводчиков, в том числе и меня.

Однажды нас пригласили в венгерское посольство, где посол и вручил мне мой Серебряный Крест. А затем однажды выяснилось, что этот Крест вместе с грамотой на него надо сдать для обмена на новую, более демократичную, форму ордена. Все мы так и сделали. И помню, как через некоторый промежуток времени все остальные получили взамен новый орден, а я не получил. Видимо, думал я, произошла какая-то задержка. Я спросил у Гидаша осторожно: как он думает, в чём дело? Гидаш ничего мне не мог на это ответить.

Наступили новые времена. Застрелился Фадеев. Собрался уходить на покой и председатель иностранной комиссии старик Аплетин. Однажды, встретив меня, он сказал, что у него в сейфе лежит вроде как мой орден: зайди, мол, возьми. Когда я пришёл, он вытащил из несгораемого

шкафа коробочку с орденом старого образца — Серебряным Крестом. «Вроде как твой»,— сказал он. Я ответил, что это можно и нужно узнать из документов. Но Аплетин пожал плечами: в том-то и дело, что никаких документов нет. Я оставил ему коробочку с орденом и раскланялся.

Уходя на пенсию, Аплетин ещё несколько раз просил меня забрать этот орден, и каждый раз я повторял дряхлеющему старику одно и то же: «Сперва нужно выяснить, мой ли орден и почему он остался необмененным, и обменять, как у других, а тогда уж и вручать мне, честь по чести, с грамотой».

Аплетин ушёл на покой, и все эти разговоры прекратились. Не подымал их я, не подымала их и иностранная комиссия. И, кажется, уже после того как я перевёл Мадача и получил уже второй венгерский орден и собрался уже на следующий раз после этого ехать по какому-то случаю в Будапешт, я подумал: а как же быть с тем необмененным Серебряным Крестом, и рассказал всю эту историю консультанту по венгерским делам иностранной комиссии Майе Ульрих.

Майя, энергичная девушка, обещала всё это выяснить, рассказала Романовой и, когда я отправился в Венгрию, мне было сказано, что всё будет в порядке.

В Будапешт мы поехали дружной компанией, моими спутниками были Кирсанов, Самойлов и Николай Корнеевич Чуковский. Мы встретились с венгерскими товарищами, выступили на совещании и, когда деловая часть нашей поездки кончилась, поступили, так сказать, под начало Агнессы Кун. То есть жили мы, разумеется, в отеле, и в хорошем отеле на дунайском острове Маргит, но то и дело либо кто-нибудь из нас заглядывал к Гидашам в Буду на холм Роз, либо Агнесса и Гидаш появлялись у нас на острове Маргит. Я сделал за это время ряд новых переводов из современных венгерских поэтов, и мы с Агнессой провели несколько дней, выправляя эти переводы. Агнесса, помимо всего прочего, сопровождала нас и в магазины, следила за тем, чтобы мы разумно тратили свои деньги, командиро-

вочные и гонорары, полученные за переводы наших произведений на венгерский язык. Она хмуро заботилась о том, чтобы мы не переплачивали, покупая то и сё у частников, и вообще не приобретали сомнительных и ненужных вещей. Например, она неодобрительно относилась к моим покупкам книг по живописи, а также и модных тогда, сильно суженных брюк. Она давала мне понять, что альбомы сюрреалистической живописи не стоят тех денег, которые за них берут, а узкие брюки — уродливы. Я в свою очередь дразнил её, что она консервативна в своих вкусах и при этом считает себя непогрешимой, как римская папа. Остальные, слушая наши споры, посмеивались, но когда Николай Корнеевич, став на сторону Агнессы, заявил, что в модных брюках я выгляжу не Леонидом Мартыновым, а Леонидом Марбрюкиным, я сказал, что в таком случае он, склонный обязательно соснуть после обеда, не Николай Чуковский, а Николай Спатьхочуковский. «А кто в таком случае я?» — спросил Кирсанов. И я ответил, что он, шаманствующий в стихах и угощавшийся в ресторане отеля лягушками (там они действительно подавались на потребу заезжим французам),— не кто иной, как Факирса-нов. Дезик же Самойлов, самый молодой между нас, есть не кто иной, как Дезик Комсомойлов. А Агнесса, ворчавшая на меня, не Агнесса Кун, а Агнесса Ворчкун.

Так мы, люди серьёзные, уже немолодые, Гидашу было уже около шестидесяти пяти, а самому юному уже подходило к сорока годам, завершив дела, шутили и развлекались. Но какая-то озабоченность всё же лежала на лицах Гидаша, Агнессы и Николая Корнеевича. Я и сам не понимал толком, в чём дело. Была какая-то нервность, недоговорённость в беседах. И, ощущая это, я меньше всего думал, что причиной этого являюсь я сам.

Вскоре дело дошло до лёгкой размолвки, казалось бы, по совершенно случайному поводу. Мне показалось, что мы злоупотребляем услугами переводчицы из общества венгеро-советской дружбы, очень милой и скромной молодой женщины, заставляя её дольше, чем следует, дожидаться нас

по утрам для поездки по музеям, а вечером задерживаться за ужином в ресторане, не думая о том, что дома её ждет ребенок, сын, которому пора спать. Она жила вдвоём с сыном и довольно далеко, на другом конце города. И как-то раз, когда выявилось, что для неё нет машины и ей придётся ехать домой в трамвае с пересадками, я поехал её проводить. Это дало повод товарищам пошутить, что я-де неравнодушен к нашей прекрасной переводчице, но Агнесса, узнав об этом, не смеялась, а хмурилась — она, оберегая интересы моей жены, вообразила бог знает что.

А вскоре после этого, отправив по моему настоянию переводчицу пораньше домой, мы с Николаем Корнеевичем увлекли Гидаша на вечернюю прогулку по Будапешту. Ходили, рассуждая о том о сём. И вдруг Николай Корнеевич, вынув из кармана коробочку, которую я сразу узнал, протянул мне её со словами:

— Леонид Николаевич, не возьмёте ли вы это? Мне дали это в последний момент на вокзале в Москве, но я, право, не знаю, что делать.

Я остановился в недоумении. Гидаш молча смотрел на нас.

— Зачем же вы отдаёте мне? Что же, по-вашему, я должен с ним делать? В конце концов, его и дали не мне, а вам как руководителю нашей делегации,— довольно бестолково сказал я и отстранил его руку,— если и вы не знаете, что с ним делать, так и везите его обратно.

Тут, кажется, вступился Гидаш.

— Дайте,— сказал он с глубоким вздохом.— Дайте мне, я всё это выясню наконец. И, взяв из рук Николая Корнеевича коробочку с Серебряным Крестом, Гидаш зажал её в свой кулак.

Настроение у нас всех испортилось, и мы распростились с Гидашем на мосту через Дунай молча. И молча вернулись в отель. Я не сердился на Николая Корнеевича, а он тем более на меня, и я думаю, что он, как и я, был бесконечно благодарен нашему доброму старому другу Гидашу, который взял всё на себя.

Через несколько дней Гидаш, позвонив мне в отель, сказал, что всё выяснено, улажено и назавтра я должен поехать к министру просвещения, чтобы получить обменный орден и, само собой, грамоту на него. Как и что выяснилось, он не объяснил, да я и не спрашивал. Ясно, что было какое-то недоразумение, начало которого тонуло в бездне ушедших времен.

Агнесса сказала, что в министерство мы поедем завтра вместе, а сегодня вечером они с Гидашем приедут поужинать с нами в наш отель.

И вечером все мы, Гидаш с Агнессой и переводчица, встретились за столиком ресторана.

Ужин затянулся. Настроение было прекрасным. Я до сих пор не знаю, были ли Кирсанов и Дезик Самойлов в курсе моих орденских дел, но все мы были благодушны и веселы, пока я не внёс диссонанса в эту приятную вечернюю встречу. Я знал, что у переводчицы заболел сын, и несколько раз напоминал об этом всей компании, говоря, что переводчицу надо пораньше отпустить домой. Но мои слова как-то не дошли до слуха ужинающих. Тогда я рассердился и сказал громко:

— У неё болен сын. Ей пора!

И тут как-то беседа оборвалась, все заторопились, ужин внезапно закончился хмурой просьбой Агнессы, чтоб переводчица завезла меня утром к Гидашам на холм Роз в казённой машине.

Наутро мы были на улице Эстер. Я попросил переводчицу подняться со мной к Агнессе, чтобы договориться о дальнейшей программе дня, когда мы с Агнессой вернёмся из министерства.

Агнесса сидела на диване, перебирая рукописи.

— Ваши переводы и Гидаша, и Ийеша, и Шимана я перепечатала,— сказала она. — Вот только куда Вы их в Москве дадите, в какие журналы?

— Ну, я не знаю,— простодушно сказал я. — Я не умею этого делать. Это уж пусть Дезик придумывает.

И тут я заметил, что Агнесса понимает меня вовсе не так, как я хотел бы быть понятым.

— Леонид Николаевич,— раздельно и строго начала она. Я не решусь воспроизводить её дальнейшие слова, но суть сводилась к тому, что я веду себя странно, в каком смысле — об этом свидетельствовал её взгляд, кинутый, нет, не на переводчицу, а как бы мимо неё, — что я веду себя непозволительно и что она, Агнесса, не поедет со мной к министру. Нет, нет, поезжайте сами, как хотите!

И тут я тоже рассердился на Агнессу. Я понимал, что тут дело не в том, что я как бы зазнался и не хочу заботиться об общем нашем деле популяризации венгерской поэзии и что мне лень ходить по редакциям насчёт переводов. Дело было не в этом. Но как она смеет подозревать меня в легкомыслии, это она припомнила мне вчерашнюю сверхзаботу о переводчице, слова «отпустите её домой, у неё болен сын». Я знал, что Агнесса — верный друг и мой, и Ниночки. Но как можно так не понимать моих истинных побуждений!

И я сказал:

— Хорошо! Не ездите со мной к министру. Я поеду с Магдой. Мы поедем вдвоём. Машина не отпущена, ждёт внизу.

И, не дав Агнессе опомниться, я сказал переводчице:

— Едем.

Через десять минут министр просвещения вручал мне обменный орден. Затем, усадив меня и переводчицу на диван за маленький столик, министр угощал нас коньяком и пирожными. И мне показалось, что он, может быть, и доволен присутствием не Агнессы, а, так сказать, постороннего лица, чтоб не говорить лишних слов о недоразумении, связанном с этим Серебряным Крестом, тяжесть которого я нёс со сталинских и ракошистских времён. И мы просто поговорили о литературе и искусстве.

Переводчица сияла. Как-никак, она попала на приём к самому министру. Она затем призналась мне, что раньше никогда не бывала в столь высоких сферах.

Вместо Серебряного Креста я получил сияющий золотом орденский знак нового образца.

Что касается до Агнессы, то взрыв её вспыльчивости прошёл бесследно, и она в тот же день улыбнулась мне мило и величественно, как самая настоящая римская папа. И ни она, ни благодушный Гидаш с тех пор никогда не возвращались к вопросу о получении в обмен на новый первого из полученных мною орденов.

## АННА АНДРЕЕВНА

### 1

Это было в начале пятидесятых годов. В конце января Илья Григорьевич Эренбург справлял вечером день своего рождения. Квартира Ильи Григорьевича была полна народа. В тот момент, о котором идёт речь, хозяин занимался гостями в столовой, украшенной произведениями французской живописи, перед которыми топтались и на которые любовались приглашённые. Я же, как человек неловкий, приходящий в гости только пить чай, молча проследовал из столовой в маленькую комнатку с окнами во двор.

Там-то я и увидел Анну Андреевну. Она сидела в углу у окна в кресле, а у ног её на коврике расселся какой-то, как мне показалось, арлекин. Анна Андреевна, я бы сказал, надменно, нет, не внимала речам, доносящимся из другого угла комнаты, но нетерпеливо терпела их.

Я прекрасно помню, о чём там шла речь. Беседовали меж собой маститый художник Морщелобский и молодой, но хорошо известный драматург. Они толковали о высоких достоинствах барашка, съеденного ими прошлым летом на Кавказе. В дверях комнаты, как бы в недоумении, стояла артистка Валентина, жена драматурга. Она указала мне взглядом на толкующих о барашке, а затем на Анну Андреевну с арлекином. И я заметил, что этот арлекин уже не сидел в ногах Анны Андреевны, но полулежал у её ног в позе Мейерхольда с известного полотна Кончаловского, которое, как я сперва, видимо, не разглядел, украшало

стенку комнаты на манер ковра, как раз там, где художник с драматургом беседовали о барашке, съеденном в прошлом году на Кавказе. Но в это время арлекин, принятый мной вначале за нарисованного Кончаловским Мейерхольда, повернулся ко мне лицом, обнаружив свой истинный облик, и я понял, что это не кто другой, а всего-навсего поэт Борбатовский.

Сделав вид, что я его не узнаю, а, значит, и не замечаю, я сказал Анне Андреевне:

— Я очень рад приветствовать вас! Как вы поживаете в Ленинграде? Мне так много рассказывала о вашей ленинградской жизни Муза!

— Какая Муза? — спросила почти угрожающе Анна Андреевна, будто бы знать, не зная ни о какой ленинградской Музе.

— Нет, не Эрато, не Клио, не Терпсихора, — с горечью ответил я, а Муза Константиновна, Муза Павлова, бывшая секретарша Тихонова. Она ведь неплохая женщина. У нее есть даже книжечка стихов «Полосатая смерть». Вышла в Перми, в эвакуации...

Лицо Анны Андреевны не стало доброжелательней. Она даже как бы фыркнула: видно, добрая, но бесцеремонная Муза ей чем-то насолила.

— Прошу прощенья! — сказал я. — Видать, она чем-то досадила Вам!

— Прошу прощенья! — и, не глядя на ухмыляющегося арлекина, пошёл к дверям, в которые как раз в эту минуту, мягко отстранив артистку Валентину, тихо вошёл небольшого роста человек, одетый во что-то вроде кителя, сидящего на нём старомодно — как френч.

**2**

На самом деле он был не во френче и даже не в кителе, я плохо разбираюсь в этом, но ясно, что он был не в военном мундире. И сперва я подумал, что это кто-то из знакомых Ильи Григорьевича по газете «Красная звезда», но по тому, как исчезла, будто растаяв, артистка Валентина, я понял,

что это даже и не редактор «Красной звезды», а некто чином повыше. Об этом же свидетельствовали и художник с драматургом, которые при появлении этого человека провалились в угол, как в четвёртое измерение.

Что же касается Анны Андреевны, то она не шарахнулась в сторону, не ушла головой в плечи, словом, не сделала ничего постыдного или унижающего её человеческое достоинство, но наоборот повернулась навстречу вошедшему и посмотрела на него столь гордо и независимо, что арлекин, пресмыкавшийся в её ногах, вскочил и, вроде бы вытянувшись по стойке «смирно» и будто бы отдав на лету честь, с поклоном подал военному стул. Военный, секунду помедлив, уселся на этот стул перед неизвестно откуда появившимся столиком. Секунду назад его не было, а теперь он стоял тут как тут, этот небольшой столик, вроде ломберного, только с той разницей, что я никогда не видел, чтоб у Ильи Григорьевича играли в карты. На этом столике не было ни свечей, ни мелка на зелёном сукне, зато возвышалась груда, целая куча, белая гора, как я понял, газетно-журнальных вырезок, подготовленных не иначе как Всесоюзным Центральным бюро вырезок, уже функционировавшем в эти послевоенные годы.

Военный сделал жест рукой, и к нему как бы подлетели ножницы, поданные тем же арлекином. В левой руке сидящего оказалась бутылочка, из горлышка которой торчала кисточка с клеем.

Скажу сразу же: на вырезках этих были главным образом изображения Анны Андреевны в разных видах. Я увидел здесь девочку Аню среди других девочек в бантах, в сопровождении тёть в платьях с «фонарями» на плечах в стиле времён Медичи Великолепного, а также юную Анну среди институтских выпускниц, суфражисток, велосипедисток, танцовщиц танго, купальщиц в юбкилотах, среди квадратных, кубических, шарообразных, яйцевидных, пирамидальных особ женского пола. Я видел её среди разнообразнейших дамских обликов — в претенциозных юбках первого десятилетия нашего века, в таких шубах и шляп-

ках, что сейчас не могли бы уместиться в салоне легкового автомобиля, а в них можно было бы мчаться разве что под волчьей полостью на спектакль ещё усатого режиссёра Мейерхольда, если не в императорские театры, чьим директором был Теляковский, и не к Комиссаржевской, то, во всяком случае, в студию на Офицерской. Впрочем, я заметил Анну Андреевну почти одновременно и среди слушательниц Высших Бестужевских женских курсов, мелькающую где-то между Царским Селом и редакцией «Русской мысли», в которой появился чуть ли не первый отзыв об её, Анны Андреевны, творчестве.

Балаганчик! Тумбы! Шуршанье бумажных вырезок напоминало шуршанье афиш, которые завлекали на концерты Дебюсси, Равеля, Стравинского и, быть может, даже Адольфа Шёнберга, правда, только как дирижёра, выступавшего в Санкт-Петербурге в 1912 году. «Вот какой музыке она могла внимать когда-то! — подумал я. — И неудивительно, что она фыркнула на Музу Павлову с ее милыми, но довольно примитивными экзерсисами. О, «Мусагет», «Алконост», «Скорпион», «Альциона» и «Сирин», балет Дягилева, декорации Бакста, прима Карсавина!»

Но тут, взяв из кипы вырезок угловатое изображение Анны Андреевны с чёлкой, кажется, известный портрет Альтмана, человек с ножницами задумался, некоторое время, смотря пристально, а затем, махнув рукой, вернулся к своей работе, а я, следя за лязгом его ножниц, увидел в их блеске, уже среди красот новой орфографии, не то книжные обложки, не то плакаты РОСТа с карикатурами на барона Врангеля и адмирала Колчака! Однако всё это тотчас же потонуло в каком-то пёстром апофеозе конструктивизма и биомеханики, и вообще всё кругом уже запахло не столь Антигоной, сколь антагонистической по отношению к Анне Андреевне «Мистерией Буфф».

Но, тем не менее, я заметил, что, какими бы одёжками, какими бы аншлагами, лозунгами, афишами этот художник ножниц ни прикрывал её лица, какими бы хитроумнейшими способами он ни выстригал то клочок из её челки, то слезу,

то улыбку, как бы лихорадочно ни лязгал ножницами, что-то выстригая, откидывая, а что-то пришлёпывая клейстером, — как бы ни старался изменить, перекомбинировать черты её лица, пытаясь сделать его неузнаваемым — и, по его мнению, как я догадываюсь, ещё более прекрасным, — всё равно её лицо оставалось её лицом.

И тогда он вдруг развёл руками с ножницами в правой и с кисточкой в левой, и, не вставая со стула, полуобернулся ко мне, или, как он, быть может, предполагал, ко всем другим возможным зрителям этого зрелища (но кроме бесстрастно отчуждённой Анны Андреевны в комнате был ещё только один я), вот именно тогда он, как бы смущённо и даже беспомощно улыбаясь, беззвучно пробормотал что-то об инженерии человеческих душ и ещё что-то вроде: «Увы, я старался создать из сугубо личного нечто более высокое, некое более прекрасное обобщение!»

И тут я наконец понял его замысел: из кучи портретов Анны Андреевны он хотел, лишив её каких-то, по его мнению, отрицательных, ненужных черт создать обобщённый, синтетический портрет безукоризненно-прекрасной советской женщины середины двадцатого столетия!

**3**

С того вечера прошло больше года, и я не буду рассказывать всего, что случилось за эти тринадцать месяцев, по истечении которых я вновь встретился с Ильёй Григорьевичем, на этот раз в бывшем Камергерском переулке, то есть в проезде МХАТа, куда прибила могучая февральская вьюга меня и Илью Григорьевича с его псом.

— Это Вы! — слабым голосом сказал Илья Григорьевич. — Вы живы? — но мне показалось, что он сказал не «Вы живы», а «мы живы», что более соответствовало чрезвычайно бурной окружающей обстановке.

— А скажите, это действительно был ОН? — спросил я. — Тогда. С ножницами. За столиком.

— Совершенно не понимаю, о ком Вы говорите! — ответил Илья Григорьевич.

И не имея оснований в чём-то не верить Илье Григорьевичу, я понял тогда, что всё это, возможно, мне просто пригрезилось. Но ведь как ясно! Ведь когда он, этот товарищ с кипой вырезок и ножницами открыл мне, за неимением других слушателей, свой замысел сделать из портретов Анны Андреевны синтетически-обольстительный, обобщающе-синтетический портрет советской женщины двадцатого века, Анна Андреевна, до тех пор наблюдавшая всё это равнодушно, вдруг пришла в такую ярость, что сама стала как бы видоизменяться на моих глазах, принимая облик то моей старой знакомой журналистки Ангелины Матус, то Мирры Лохвицкой, то Любови Диренталь, после гибели Савинкова работавшей в «Журнале журналов».

А вслед за тем в лице Анны Андреевны появилось что-то если и не скифское, то южнорусское. Может быть, что-то гоголевское — я сначала не догадался, в чём дело, но затем понял. Потому что ей взбредилось принять облик панночки из гоголевского «Вия». Вот, мол, если ты хочешь, чтобы я была не похожа на саму себя, а похожа на всех, так вот на тебе! «Все мы грешники здесь и блудницы!»

И после этого она, конечно, не вскочила на закукорки оторопевшего экспериментатора и не полетела на нем из угловой комнаты в столовую, украшенную французской живописью. Нет, разумеется, в её поведении не было ничего из булгаковского «Мастера и Маргариты»! Она не была булгаковской Маргаритой, а *он* не был гоголевским Хомой Брутом!

Но, перестав походить на гоголевскую панночку, она вдруг поглядела этому мистагогическому гостю Ильи Григорьевича прямо в глаза. И тут я заметил ещё одну немаловажную, невероятно любопытную деталь: ведь вот каково было зеркальное свойство её глаз — она вдруг стала похожа на него, на этого своего доброжелательного оскорбителя, притом всё-таки оставаясь абсолютно похожей на саму себя, ибо, как сказано кем-то и про кого-то, была и остается самой лучшей поэтессой Советского Союза.

## ПРИСКОРБНЫЕ ЗАБЛУЖДЕНИЯ

Прочёл в автобиографической повестушке Дьякова, произведении довольно слабом и художественно неубедительном, довольно убедительные строки о Борисе Михайловиче Завадовском. Ну, всё, видимо, и было так, как написано. Борис Михайлович, судя по его отношению к Ахматовой, мог точно также относиться и к Чижевскому.

О чём идет речь?

Речь идёт о том, что Борис Михайлович Завадовский был типичным учёным двадцатых годов. Нет сомнения, что он был заядлым общественником. Нельзя было сомневаться в революционном его мировоззрении. Я не могу судить, насколько талантливым учёным он был, но для меня ясно, что он смотрел далеко вперёд по сравнению со многими своими коллегами. Он до появления на общественной сцене Лысенко и после его появления был убеждённым и по мере сил воинствующим генетиком. Может быть, он был менее эрудированным и более простоватым научным работником, чем брат его Михаил Михайлович, но принципы свои проповедовал яростно, хотя и не особенно внятно.

Как я уже писал, встретились мы с ним во время войны в Омске. Будучи туда эвакуирован, он создавал там ОРИАЛИС, общество, объединявшее деятелей науки и искусства, главным образом, конечно, вокруг облторготдела. Но ведь для того чтобы читать лекции и вести научную работу в области сельского хозяйства, нужно было получать соответствующий паёк.

Мы вместе ходили на охлопковскую постановку «Сирано де Бержерака» в омском театре. Но, якшаясь с эвакуированными вахтанговцами, Борис Михайлович не забывал и о проблемах полеводства и животноводства. И посвящал меня в них. О его методах повышения плодоноскости овец и яйценоскости кур я с чужого ума послал пространную статью в «Красную звезду», а Борис Михайлович по своей наивности понадеялся, что эту статью напечатают. Но милейший Кривицкий деликатно попросил меня дать вместо этой

статьи, шедшей вразрез с установками Лысенко, что-нибудь другое, и я написал тогда поэтическую статью о Зауральском Лукоморье без упоминания о таком лукоморце как Борис Завадовский. Надо признать, что я тогда ещё толком не понимал в споре генетиков с Лысенко и лысенковцами и вообще в генетике понимал столько же, сколько Завадовский в стихах. А в последнем я убедился ещё тогда, когда Борис Михайлович пришёл в восторг от моей, явно слабой, поэмы о Ферапонте Головатых и Морисе Метерлинке, это была самая настоящая неудача, я не справился со своим замыслом, противопоставив эти две судьбы — судьбу автора «Синей птицы» и колхозника, построившего за свои средства боевой самолёт. Стихи были неважные и, слушая, с каким чувством декламировал их Завадовский, я заподозрил, что он плохой ценитель поэзии.

Это подозрение подтвердилось уже здесь, в Москве, после войны, когда мы с Ниночкой стали частыми гостями у Завадовских на Садовой. Завадовские, помогая нам уютнее обставить комнатушку в Сокольниках, подарили нам незаконченный портрет Лермонтова, который и ныне лежит на антресолях. Привезя портрет, жена Бориса Михайловича увидела у нас томик Ахматовой и попросила дать почитать. И тогда я узнал отношение Бориса Михайловича к Ахматовой.

— Ахматкина! — воскликнул он с презрением и объяснил, что у них на рабфаке так звали эту поэтессу, и звали так поделом за её слюнявую лирику.

Вот тут-то я и окончательно убедился в том, что серьёзные учёные могут быть полными профанами в поэзии. Я сказал ему это, подсластив пилюлю тем, что, например, Лев Толстой отрицал Шекспира и Верлена, но, дико хохоча и содрогаясь при этом всей своей довольно грузной фигурой, Борис Михайлович повторил: «Нет, нет, вы меня не убедите в таланте Ахматкиной. У нас на рабфаке...» И чего-то такое рассказал, как дело было поставлено у них на рабфаке.

— И как вы сами не понимаете, что Ахматкина — вздор, вы, который столь тонко разбираетесь в вопросах культуры и науки, как вы прекрасно написали в поэме о Ферапонте

Головатых, о брахицефалах и микроцефалах! Вообще в смысле науки вы схватываете всё прямо на лету.

Он, — я повторяю, — искренне был очарован этой поэмой, декламируя отрывки из неё наизусть, и он совершенно серьезно говорил о моей эрудиции. Разумеется, это было прискорбнейшее заблуждение. Например, я тогда почти ровно ничего не понимал в классической генетике. Как говорится, слышал звон, да не знал, где он. И потребовалось чуть ли не десятилетие, чтоб я разобрался даже хотя бы и в том, за что братья Завадовские вместе с другими, ещё более известными учёными, столь жестоко пострадали в приснопамятном тысяча девятьсот сорок восьмом году.

А тогда за год-другой до той сессии ВАСХНИЛ я довольно поверхностно читал даримые нам Завадовским научно-популярные его книжки с изображением куриц и ихтиозавров и довольно равнодушно рассматривал экспонаты того музея, которым заведовал он, прежде чем у него грубо отобрали это любимое его научное детище. Меня, скажу откровенно, больше интересовали его званые ужины, на которых, помнится, мы встретились с графом Игнатьевым и его супругой, но и со стариком профессором Неедлы, чья книга о происхождении чехов так заинтересовала меня.

И, записывая теперь всё, что было, я понимаю, что это — глава, в сущности, ненаписанных воспоминаний и горьких сожалений о том, что я, занятый своей особой, своими стихами, пропускал мимо ушей рассказы Завадовского о событиях в научном мире, о кознях Лысенко, сожалею о том, что я, имея все возможности, не проник во внутренний мир своего учёного собеседника, не уяснил как следует, что он переживал, чувствовал, ощущал в предгрозовой, насыщенной и солнечной, но и не только солнечной радиацией атмосфере тех лет, когда тень Хиросимы ещё носилась над миром. И, наконец, я сожалею и о том, что не прочёл многих и старых, и не очень старых моих стихов, которые, может быть, раздражили бы его, как быка красная тряпка, а, может быть, и заставили бы его прислушаться и высказаться по интересующему меня вопросу.

Я не прочёл ему, например, “Annus bissextilis”:

Annus bissextilis.
Считаю годы и на солнце отмечаю пятна.
Грядут по земле народы, и ни одни не
вернутся обратно.
Тот идёт с мечтой о дымном,
Кочевом и древнем счастье,
Тот приходит с гордым гимном,
Мировою грезя властью,
Но дороги все скрестились.
Annus bissextilis.

Это я писал ещё в конце двадцатых, в начале тридцатых годов.

Сизые руки рек
Ловят уходящее море,
Задыхается человек,
Сердце стало как гиря.
Что творится в мире.
Будьте готовы, господа офицеры,
Выкрали, изверги, азот из атмосферы:
Грозы, ливни, бури,
Угроза культуре!

Так я писал ещё перед войной. Это не имело, конечно, отношения к специальности Завадовского, а скорее, как-то перекликалось с учением Вернадского, в котором я, конечно, тоже не смыслил тогда ни аза, а во время войны и знать не знал о том, что академик Вернадский в отличие от Завадовского, оказавшийся не в Омске, а поблизости в Боровом, сидит там между гор и зелёных озер и пишет свой труд о необходимости создать ноосферу, то есть сферу разума.

Но я писал и такое, более кое в чём близкое по тематике Завадовскому:

Уверенность, что солнце божество, жило издревле
в умном и двуногом.
Молились солнцу, славили его, дружочком звали и
премудрым богом.
XX-ый век идёт на перелом. Мы редко вспоминаем о былом,
На будущее смотрим без опаски. Громя с трибун
и сидя за столом,
Друг другу не рассказываем сказки.
Забыли мы пленительные сны, с богиней
раззнакомились луны,
Крылатых эльфов мы не видим танцы,
Но почему же трепетом полны, глядим мы ввысь,
земли сырой сыны,
На солнце, где язык протуберанца стал
признаком и мора, и войны.

Всё-таки очень интересно, что бы сказал мне учёный друг на всё это.

Ведь по Дьякову выходит, что он, Завадовский Борис Михайлович, был диким гонителем высокомудрого и замечательного учёного Чижевского, называя его чуть ли не шарлатаном. Правда, спор шёл, судя по Дьякову, не о солнечных пятнах, а об ионизации растений, но, во всяком случае, так выходит по Дьякову, Завадовский готов был уничтожить Чижевского вообще, не признавая за ним никаких научных заслуг.

В чём было дело?

В общем-то всё написано очень похоже. И когда я прочёл у Дьякова о яростных нападках Завадовского на Чижевского, я вспомнил, ясно себе представил, как Борис Михайлович грубо и несправедливо громил Ахматову. Громил незадолго до того, чтоб,по существу, разделить и её участь и участь мешаемого с грязью Чижевского. Я не берусь тут рассуждать ни о каких научных вопросах. Знаю только, что мне следовало бы интересоваться этим раньше. Ни Завадовского, ни Чижевского уже нет в живых. Но как бы я хотел, чтоб они были живы и здоровы, и я однажды бы почитал им обоим

мои стихи, за которые бы они меня, может быть, выругали, а быть может, и снисходительно похвалили, будучи настроены благодушно.

Дерзкая мысль, но я, может быть, и примирил бы их кое в чём.

И как бы мне это было приятно!

А книгу Ахматовой у нас Екатерина Георгиевна Завадовская так и зачитала.

## ЛИНА МАТУС

Я люблю, когда моё творчество вызывает у читателей потребность самим взяться за перо, самим творить, превращаться из читателей в писателей. Но в связи с этим я излагаю печальную и, как мне кажется, поучительную историю упомянутой выше Лины Матус, скромной сотрудницы омской газеты «Рабочий путь». Я не стану прятать Капитолину под псевдоним, пусть самый красивый, назвав её, скажем, Ангелиной, потому что ничего, кроме хорошего, о ней написать не намерен, а также и не напишу много более того, что о себе написала она сама, но, тем не менее, история эта печальна...

Она была молода, белокура, ходила в золото-зелёных кофточках и алых платочках, но в редакции больше общалась не со мной, а с серьёзными, степенными сотрудниками отделов рабочей и партийной жизни. И как-то случалось так, что мы с ней встречались чаще всего вне стен редакции, идя по улице, разговаривая о каких-нибудь пустяках либо о литературе, точнее — о книжных новинках, которые я всегда имел, поставляя в газету библиографические заметки. Вот о литературе отечественной и иностранной я и рассказывал Лине. Она была внимательной, улыбчивой.

Я думал, что, судя по её фамилии, она была латышкой, хотя по-русски изъяснялась совершенно свободно, что было, впрочем, нередко среди сибирских латышей. Но, возможно, что она была Матус только по мужу, потому что и

тогда и позже она упоминала о неком человеке по имени Пётр, а я как-то не интересовался, кто он такой: супруг или брат ей. Потом я уехал, а когда через несколько лет вновь очутился в Омске, всё было уже по-иному, — и даже газета вместо «Рабочий путь» стала называться «Омской правдой». И только Лина Матус осталась такой, как прежде. Затем я окончательно покинул омскую редакцию и только через тридцать лет, давно уже обитая в Москве, получил открытку от Лины из-под Перми. Я узнал, что Лина уже пенсионерка, вот уже несколько лет живёт в пригородном районе возле города Перми, в котором волей случая или судьбы оказался живший на покое и бывший редактор «Омской правды» Борис Никандрович Назаровский, вступивший со мною, тоже из Перми, в переписку. Назаровский умер через несколько лет, в начале семидесятых. Знала ли Капитолина, что Назаровский жил рядом с нею? Я не писал ей ничего ни о его жизни, ни о смерти. И вообще, наша переписка сначала носила исключительно поздравительный характер: с Новым годом, с Первым маем и т.п. А затем, когда Лина увидела нас с Ниночкой по телевизору, письма её стали более содержательными. Затем Лина стала писать, что всё больше болеет, затем, что хочет перебраться с Севера на Украину, затем, что чувствует себя ещё и ещё хуже. А мне показалось, что ей очень и очень тоскливо живётся, и однажды я написал ей, что, мол, почему бы ей не заняться писанием мемуаров. И в ответ получил очень сердитую отповедь:

«Чудак! Что ты мне советуешь писать мемуары, если я с 1937 года, когда редактор Назаровский пересадил меня с хроникёрш на отдел писем, не написала ни одной печатной строчки! А ты — мемуары! Да о чём мемуары, что я за персона?»

Потом она прислала со спокойным письмом свою девическую скромную фотографию: аккуратное платьице, гладкая причёска — то ли по провинциальной моде десятых годов нашего века, то ли по дошедшей до этой провинции столичной моде восьмидесятых годов прошлого века, но, во всяком случае, милое личико, дай бог такое всякой девушке любого столетия!

Потом ещё одно яростно-ругательное письмо, что я — фантазёр и советую ей писать какие-то мемуары, а ей не то что мемуары писать, но даже и читать-то уже трудно, и все свои книги, всю личную, как говорится, библиотеку она раздарила, оставив себе лишь Блока да мою книжку.

И, наконец, было получено от неё письмо от 27 апреля 1977 года, которое я цитирую полностью:

«27 апреля 1977 г.

Получила сегодня вашу поздравительную открыточку и думаю: до чего народишко пошёл хитрющий! Нет, чтобы написать письмецо, всё норовят отделаться какой-нибудь маленькой открыточкой, да и ещё заполняют неувядающей копией с детского рисунка! Эх вы, друзья! Ну, бог с вами! Лёня, ты в своих воспоминаниях пишешь, что стихотворение “Река Тишина” — это Омь. Вернее, её прообраз, а у меня с ней связано жуткое воспоминание, когда мне было пятнадцать лет и я только-только приехала в Омск к своему родному отцу; он в то время заведовал хлебопекарней Потребобщества, это на Госпитальной улице, где были тогда публичные дома. Я, конечно, отправилась обозревать моё новое место пребывания, походила по улице, спустилась в Копай-городок (это Лина имеет в виду нагромождение землянок над Омью в предместье Волчий Хвост. — *Л. М.*). Хожу и с любопытством деревенской девчонки рассматриваю всё это. Выкупалась. Разгуливаю себе и конечно же не имею понятия, куда меня черти занесли. Дело было уже к вечеру. Почти стемнело. Меня догоняет какой-то молодой человек, ну, примерно лет 25—27 на вид. Идёт быстрым деловым шагом, обогнал меня, взглянул и вдруг остановился, подождал меня и спрашивает:

— Девушка, ты где живёшь?

— Я отвечаю:

— Угол Госпитальной и Баронской.

— И давно?

— Я только вчера приехала из Перми, к отцу.

Ну, он расспросил всё: кто отец, что он делает, кто ещё в доме, кроме отца, есть ли мать и старшие сёстры? Узнав, что я только одна с отцом, он покачал головой и говорит:

— Идите домой и больше сюда никогда не ходите не только вечером, но и днём.

— Ты думаешь, я послушалась?

Как бы не так, держи карман шире! Не прошло и недели, как я помчалась через этот "Копай" купаться на Омку и там пристроилась к какой-то компании девиц. Они купались в чём мать родила, никаких трусиков. И я тоже, на них глядя, всё поснимала и бултых в воду, ну, и с этими девахами соревноваться, кто дальше заплывёт. Одна из них, видимо, самая старшая, такая грузная и уже не молодая, предлагает мне плыть через Омь на тот берег. Я согласилась, и мы поплыли, доплыли уже до середины, плывём рядом. Она с левой стороны. Вдруг она бросается на меня и обеими руками погружает меня вниз. Я не успела и глазом мигнуть, как пошла камнем на дно — с перепугу, да я и не ожидала такого коварства. Вот тут я и узнала, какая это скверная река, во-первых, очень быстрое течение, и меня, пока я не всплыла наверх, унесло почти к деревянному мосту. Спасло меня то, что я вспомнила, как мой брат Ваня учил меня: если когда-либо придётся тонуть, я должна наклониться головой к ногам, словом, согнуться пирожком, и меня сейчас же выбросит наверх, как пробку. Я так и сделала. И впрямь вылетела, как из катапульты, на поверхность, но вылетела рядом с плотом из брёвен. Если бы я сделала этот маневр чуть-чуть позже, меня бы затянуло уже под плот и — амба, улетела бы твоя будущая "дорогая Лина" в райские кущи, но, видно, не судьба ещё была умереть мне в тот момент. Представляешь, каково было мне мчаться совсем-совсем голышом от этого моста до Баронского спуска. Бегу, бегу и всё думаю: а вдруг эти мерзавки и одежду мою, чего доброго, унесли! Ну, слава богу, вижу, лежат мои монатки на берегу, а девок и след простыл. Одеваюсь, а тут рядом какая-то женщина бельё полощет и спрашивает меня:

— За что это девки тебя утопили?

— Я сказала, что не знаю.

Ты что ж, из одного с ними весёлого дома?

— Какого,— говорю,— весёлого дома? Я первый раз их вижу!

Ну, снова пришлось рассказывать, что я живу с отцом, приехала на днях из Перми. И вообще ещё здесь никого не знаю и никому ничего плохого не сделала.

— Ничего, поживёшь подольше на Госпитальной и узнаешь, какие там веселые дома и какие там девицы веселятся, и в следующий раз не полезешь с ними купаться!

Я её спросила:

— А куда ж они все ушли?

— А что, они будут ждать, когда милиция приедет? Как увидели, что ты утонула, так их как ветром и сдуло...

С тех пор я притихла и перестала гулять по Госпитальной. Вскоре приехала старшая сестра, настояла, чтобы отец перебрался на другую квартиру.

Через несколько лет, когда я уже работала следователем в окружной прокуратуре, в омской газете какая-то женщина несколько раз давала объявление: "Станислав, забери свои вещи. Я уезжаю". Вот этого злополучного Станислава в конце концов нашли на дне Омки в районе, где я чуть не утонула, и не одного, а несколько человек. Были убиты, ограблены и, связанные, с грузилами на ногах, спущены в прорубь. Вот такая "Река Тишина". Вот это письмо так уж письмо! Не чета, хоть и красивым, открыткам, которые я посылал Лине!

«Поздравляю! — ответил я на это письмо. — Вот ты и взялась наконец за мемуары, и как хорошо получилось! Продолжай в том же духе. Как ты стала следователем. А потом журналисткой. И вообще, всё, что ты делала, — интересно! Пиши! Знай, пиши!»

Увы, ответа на это письмо не последовало.

## НАША БИБЛИОТЕКА

Наша библиотека довольно велика и беспорядочна. Я не собираюсь каталогизировать её письменно, но попытаюсь хотя бы систематизировать её мысленно.

Я попытаюсь вспомнить, что за книги стоят в два ряда на девяноста пяти румынских книжных полках, составленных вплотную, да ещё в шкафу, да ещё и в других, поменьше, да ещё на старых книжных полках, установленных на шкафу платяном. Именно постараюсь вспомнить, потому что добраться до многих книг у меня уж нет сил и времени.

Итак, в нашей библиотеке есть несколько книг, принадлежащих мне с детства: битнеровский энциклопедический словарь в трёх томах, приложение к «Вестнику знания», так называемый киевский чтец-декламатор, начинающийся прекрасным переводом «Ворона» Эдгара По, сделанным Альталеной, и заканчивающийся первыми стихами Марины Цветаевой. Я писал уже, какую роль в моей жизни сыграл этот томик. Добавлю только, что я его дополнил, подклеив в конец книжоночку Бурлюка, несколько стихотворений Эренбурга, стишок Натана Венгрова и кое-что ещё. Эта книжка переплетена мной собственноручно, так же как и томик Оскара Уайльда. Шутя-серьезно я освоил переплетное мастерство в детстве. Освоил не профессионально, но как искусство, то есть переплетал без станка, вручную, стараясь сделать как можно красивей, хотя и получалось не столько красиво, сколько крепко. Должно быть, в числе книг нашей библиотеки есть ещё и какие-то другие сокровища моего детства. Эти книги так же, как и кое-какие книги моего отрочества и юности — переиздание «Всё сочиненное Маяковским», первоиздание Есенина, книжки Вивиана Итина, кое-какие издания Западносибирского отдела Географического Общества, книжка об Акмолинской области Седельникова, дарёные мне книжки сибирских поэтов двадцатых годов, напечатанный Виктором Уфимцевым в типографии агитационного парохода сборник «Футуристы» с иллюстрациями Уфимцева, Мамонтова и Шабли, и с моими стихами «Зацелованный футурист и обласканный графоман…», а также книги, вырезки из журналов «Искусство» и «Сибирские огни» и из газет — всё это было привезено в 1946 году из старого дома Вальса в Сокольники, и все эти издания и изданьица, несомненно,

таятся где-то в бездне книг нашей несистематизированной библиотеки, так же, как и кое-что другое, исчезнувшее из памяти. Но если некоторые существующие наличные книги исчезли из памяти, то зато я прекрасно помню ряд книг, которые действительно исчезли, потерялись, ушли из библиотеки ещё в Омске. Это — отцовский Витрувий, известные читателю этих строк книги Кузмина «Крылья» и сборник «77 современных поэтов», прекрасная «Алиса в стране чудес» в переводе не то Щепкиной-Куперник, не то Соловьёвой, истинно поэтический перевод, что бы там ни говорил Корней Иванович Чуковский, не одобривший это издание дореволюционной «Золотой библиотеки», а также белые, кажется, прометеевские томики А. Грина «Пролив бурь», «Штурман четырёх ветров» и изданные в двадцатых годах «Голый год» Пильняка, «Атлантида» Бенуа, прекрасная книга «Фома ягнёнок» Клода Фаррера, и, наконец, великолепнейшая книга Сергея Мстиславского «На тропе» («Крыша мира»), стоящая всех прочих вместе взятых книг этого безумца, столь жалко кончившего антиофицерским романом, вызвавшим отвращение даже у сталинских блюстителей литературных нравов. Но это была прекрасная книга, книга о Туркестане, о Памире, книга о том, как формировались революционные воззрения Мстиславского, о том, как в него, студента, искателя памирских руд, русского интеллигента, любителя Блока, влюбилась памирская пэри, приняв его, Мстиславского, за Александра Македонского, как мне помнится, если не фантазирую. Я был рад проверить себя — хорошие книги воспринимаются в разных возрастах по-разному, хотелось бы перечесть эту книгу, как говорится, на старости лет, но я её не нашёл больше. Я нашёл и потерянного «Голема» Густава Мейринка, и «Реубени» Макса Брода, и «Жар-Цвет» Амфитеатрова (впрочем, нет, эта единственная в своём роде интереснейшая книга Амфитеатрова сохранилась своя, только долго терялась в недрах библиотеки!), я нашёл и «Любимого бродягу» Локка (перечитав которого, совершенно разочаровался) — но удивительной книги Мстиславского так и не обнаружил у букинистов.

У букинистов я приобрёл, вообще говоря, немало. Есть мнение, что во второй половине сороковых годов я порядочно пьянствовал, но всё-таки я пьянствовал не настолько, чтоб ежедневно не бывать у букинистов и в здравом уме и твёрдой памяти не приобретать почти ежедневно по две-три книги, заходя в лавки либо в Камергерском, либо на Арбате, и вполне благополучно доносить их до квартиры 11, дома 11, по 11-й Сокольнической улице. Дело дошло до того, что книгами, лежащими на шкафу, подпирался ветхий потолок той комнатки, в которой мы обитали. Правда, верхний слой книг, под самым потолком, был порядочно испорчен течью из уборной второго этажа. Это видела своими глазами Мария Константиновна Тихонова, когда я под зонтиком вводил её через дверь из кухни — так капало с потолка на шкаф и на пол. Но мы спасли книги при помощи клеёнки. Эти книги, казалось, грозили выдавить стены дома № 11, построенного в конце XIX века из старой баржи, дома, настолько прогнившего, что можно было стенки его проткнуть если не пальцем, то указанным выше зонтиком.

Что же приобреталось тогда, в сокольническое десятилетие?

Жена не упускала случая обогатить наше книгохранилище книгами, милыми ей с девичества — и Уайльдом, и Буниным, и Дюма, и Куприным, и Голсуорси, и Сельмой Лагерлёф, и Лондоном, кстати, толком не переизданным и до сих пор — ибо ни в одном из новых «собраний сочинений» нет, например, «Бунта на Эльсиноре», характернейшего для понимания Джека Лондона романа. Покупалось и всё, относящееся к Пушкину. Я же покупал подряд все попадавшие мне в руки издания поэтов 20-х годов нашего века — футуристов, акмеистов, имажинистов, как известных, незабываемых поэтов, так и забытых, канувших в Лету поэтиков и поэтессочек, имя кому легион. Недавно, перебирая эти сотни книжечек, я перечитал Ивана Грузинова, Нарбута и даже самого Вагинова, их стихи показались мне столь слабыми, бледными, что стало совершенно ясным: лишь одиозность имён может вызвать к ним интерес, любопытство к творе-

ниям гонимых. Мне кажется, что из стихов забытых поэтов самыми всё-таки интересными были стихи Нибу Хабиас (Петровский). Я слышал их от автора, когда Нибу Хабиас проездом из Иркутска в Москву, кажется в 1921 году заявилась в гости к Антону Сорокину. Между прочим, я думаю, что в её творчестве когда-нибудь разберутся. Что с ней было дальше, мне неизвестно.

Наряду с книгами я покупал и журналы, в том числе ЛЕФ, «Журнал журналов», «Новый сатирикон», и в том числе приобрёл комплект шебуевского журнала «Волна», являющийся лучшим живым справочником по истории русской предреволюционной поэтической и околопоэтической жизни: там, в публикациях, а особенно в почтовом ящике можно найти имена почти всех, кто жив и кто умер. Забавно читать, например, как Шебуев в почтовом ящике беседует с Игорем Северяниным, признавая его талантливым, но отрицая те позднейшие стихи, за которые мы Северянина помним и ценим, а похваливая ранние опусы Северянина, его реминисценции на темы поэтов конца прошлого века, подражания Фофанову. «Волна» очень поучительный журнальчик. Шебуев мыслил создать кооперативное издательство поэтов — пятерка с носа и в результате капитал, чтоб каждый мог бы рассчитывать на книжоночку.

Кроме поэзии и художественной прозы я приобретал немало книг по истории не только русской, но и польской, и чешской, и болгарской, и венгерской, не говоря уж о французской и английской. Это мне было необходимо при переводах поэзии, ибо жили мы в то сокольническое десятилетие именно переводами. Сколько десятков тысяч иноязычных стихотворных строк перевалил я на русский язык! Я не подсчитывал, но думаю, что в общей сложности не менее ста тысяч! Я уж рассказывал, с чего это началось, рассказывал о своих первых переводах с французского и английского, рассказывал о киргизских примитивах, криминированных мне за переводы, а затем о переводах с литовского, с польского, с венгерского, с латышского и с испанского, которые я делал уже во второй половине сороковых годов. Но, рас-

сказав о том, как я переводил Пабло Неруду, я забыл упомянуть, что вслед за этим имел дерзость перевести Хосе Марти, кубинца, а вслед за тем Хади Такташа, татарина. Я не смущался своей всеядностью, ибо чувствовал, что, по существу, делаю хорошее дело, переводя, как умею, в силу своих способностей, хороших поэтов. Но сейчас я рассказываю не столько о своих переводах, сколько о нашей библиотеке, в которой имеются и книжки только что упомянутого Хади Такташа. Недавно я еле нашёл эти книжки Хади Такташа в дебрях нашего книгохранилища. Мне казалось почему-то, что они должны быть в сереньком переплёте, а они оказались в яркокрасном. Тридцать лет лежали они в забвении. Тридцать три года назад Кирьянов из «Советского писателя» соблазнил меня перевести целую книгу Такташа, почти всё, им написанное. Я перевёл, книжку напечатали, кое-что повыкинув, сократив, «подправив», как полагалось в сталинские времена. А в 1948 году некоторые обстоятельные товарищи из казанского литературного руководства меня же и обвинили в том, что я недобросовестно перевёл, извратил Такташа. Помню, как на специальном проработочном заседании в Союзе я отбивался от обвинителей, а бледный Кирьянов помалкивал в уголке. И вот теперь, к столетию со дня рождения Ленина и в связи с юбилеем Такташа, решили переиздать эту книгу, конечно без купюр, и попросили меня сделать необходимую работу. Вот почему я и искал и еле нашёл на книжных полках книгу Хади Такташа, думал, не засунул ли эту книгу за рисунки сына его Рафаила, художника и искусствоведа, который, когда я переводил Такташа, был ещё ребенком.

Я нашёл книжки не под акварелями Рафаила, засунутыми под стекло на одной из верхних полок. Но зато за этими акварелями я обнаружил «Папу» и «Торквемаду» Виктора Гюго, старые редкие французские издания. Это память о том, как я переводил Гюго. Я отмахивался от этого, но меня убедили. Я говорил, что при моём гимназическом знакомстве с французским не дерзну взяться за Гюго, но Немчинова из Гослитиздата, а главное Антал Гидаш с Агнессой Кун убежда-

ли меня, что дело не в этом, а в том, что я умею писать хорошие стихи. Меня уверили, что будет прекрасный консультант ленинградский французовед профессор А.Смирнов и великолепно знающая французский язык составительница (на всякий случай!) подстрочника Муха (Мария Владимировна) Иванова, прозванная Мухой еще Маяковским. И я решился. Александрийский стих всегда удавался мне. Я написал александрийским стихом в духе посланий императрицы Елисаветы Петровны к её аманту Шубину целую поэмы «Домотканая Венера». И, вспомнив об этом, я приступил к Гюго. Одновременно я купил старое сойкинское издание Гюго с тем, впрочем, чтоб не заглядывать в старый перевод «Торквемады», пока не закончу своей работы. Закончив же её, я заглянул в старый перевод и не стал читать его, столь он мне показался плох по сравнению с моим, он был сделан бледным белым стихом и ничуть не напоминал оригинала, и мы продали это старое собрание сочинений Гюго или кому-то его отдали, так как оно занимало слишком много места, необходимого хотя бы для того, чтоб поставить на книжные полки новое гослитовское издание.

Всё это я рассказываю в связи с нашей библиотекой, а вовсе не для хвастовства своими переводческими подвигами. Что же касается их, то, повторяю, я стремился переводить только самое хорошее, для чего, кстати, требовалось иметь в библиотеке хорошие словари. И если говорить о многочисленных словарях, имеющихся в нашей библиотеке, то наиболее достойны внимания, пожалуй, русско-польский и польско-русский словари графа Потоцкого (Лейпциг,1972), они, кроме своей несомненной ценности, богатства синонимов, множества редких идиом и т.п. служат ещё напоминанием о том, как я из близорукого сделался дальнозорким. Это случилось ночью в Сокольниках, когда, переводя «Дзяды» Мицкевича с этим словарём графа Потоцкого, я почувствовал, что словарная нонпарель запрыгала у меня в глазах и пора спать, а утром, проснувшись, понял, что вижу вдаль лучше, чем вблизи. Так в моём обиходе появились очки, сначала +0,5, а впоследствии +1, +2, +2,5! Я считаю, что это

была уж не столь большая цена за творческое наслаждение, полученное переводом на русский язык прекрасного монолога Густава из 1У части «Дзядов», монолога, который мне посчастливилось продекламировать в Колонном зале на юбилее Мицкевича перед роскошной и многочисленной аудиторией:

> Проклят, кто живёт на даровщинку!
> Всё нужно оплатить… И если не работой, —
> По крайней мере, чувствами, заботой,
> Слезами! Ведь господь за каждую слезинку
> Воздаст! Но я, пройдя края воспоминаний,
> Где каждый уголок так много взял рыданий,
> Оставил там все чувства, слёзы, вздохи.
> Брать в долг, чтоб не отдать, — способны лишь
> пройдохи!

и т.д.

Можно себе представить, какое наслаждение я чувствовал, читая всё это с высокой трибуны.

Повторяю ещё и ещё раз: я стремился переводить только очень хорошие стихи, а когда однажды по малодушию что ли взялся за плохие, за некое славословие (известно кому!), то был жестоко наказан, почувствовав резь в глазах и головокружение. Ощутив тошноту, я бросил, добрался до постели и улегся, надеясь здоровым сном одолеть мерзкую явь, но не тут-то было и, проснувшись поутру, я увидел всю нашу библиотеку, стоящую верх ногами, впрочем, как и всё в комнате. И даже появившийся мне на помощь старый наш литфондовский доктор Зыков показался мне висящим в дверях на фоне библиотеки тоже вниз головой.

— Спазм височной артерии! — констатировал он. — От переутомления! Две недели в постели.

Но я встал на третий день и, с легким сердцем оставив мысль переводить славословие, отправился, как всегда, к букинистам за новым пополнением для нашей библиотеки.

Однако в это время я охотился не только за стихами, художественной прозой, словарями и книгами по истории, но и за некоторыми другими, ещё более серьезными книгами. Как я уже упоминал в главе «Листок из блокнота», в конце сороковых и в начале пятидесятых годов я решил посещать семинар Ивана Ивановича Чичерова по внешней политике, но дело не ограничилось только этим. Чем дальше, тем больше я интересовался не только политикой, не только историей, но у меня появился всё более и более растущий интерес к философии, в частности к теории и практике марксизма, а отсюда, естественно, явился глубокий интерес к его предшественникам и последователям, сторонникам и противникам в лице целого ряда философов, начиная с Гераклита, Демокрита, Платона, Аристотеля, Эпикура и Лукреция, и других древних мудрецов, которые рассказывали мне друг о друге, а затем Руссо, Канта, Гегеля и кончая, допустим Лукачем, о личности и учении которого я имел полную возможность вести разговоры с ненавидящими его Гидашем и Агнессой. Так появилась на книжных полках философская литература, самая разнообразная, в том числе и пухлый журнал «Логос» с юношескими трудами Лукача, и Эрнст Мах, и таинственный для моего отца Дюринг, не говоря уж о столь необходимом для понимания Александра Блока Владимире Соловьёве. Так рядом со старым добрым Фейербахом встали по его обеим сторонам Хомяков и Бердяев, а Лафарг попал в соседство к князю Трубецкому.

Вместе с тем, и, кажется, по тем же причинам, библиотека обогатилась и Карлейлем, и Тацитом, и Светонием, и Фрейдом, и Ломброзой, и Крафт Эбингом, потому что интерес к философии не мог не вызвать и интереса к психологии, а последняя и к психопатологии.

Вот какую гору книг мы повезли из Сокольников на Юзо-запад. Эта гора завалила всю большую комнату нашей квартиры и казалась недоступной для рассортирования по книжным полкам. И действительно, пришлось расставлять книги, руководствуясь главным образом принципом экономии места, чтоб на полку влезло побольше и хотя бы

внешне выглядело прилично, гармонично, не отвратно для взора в смысле расположения. Но за первым рядом книг на полках в глубине их и до сих пор, как правило, царит хаос, тоху-во-боху, где разрозненные тома Талмуда соседствуют с фестивальными справочниками-разговорниками.

Последние 15 лет прибавили книг почти что вдвое. Само собой библиотека пополнилась некоторым количеством книг, в которых есть те или иные упоминания обо мне. Я стал много печататься и, естественно, стали писать и обо мне, появились на полках не только русские, но и иностранные издания с переводами моих стихов. Кроме того, полки обогатились доброй сотней, если не двумя — я не считал — книг, подаренных мне другими советскими и иностранными авторами. Эти авторы, советские, — не только поэты и прозаики, но есть среди них физики, философы, кораблестроители, биологи, химики.

Главной особенностью нашей библиотеки за последнее десятилетие является то, что она пополняется не старыми букинистическими, а новыми книгами. Я давно перестал посещать букинистов и это вовсе не потому, что мы живём на юго-западе столицы и редко посещаем центр города. Нет! Букинисты есть и поблизости, букинистическая книга продаётся и в соседних с нами магазинах. Но я как-то потерял к ней интерес, она, эта книга, как мне кажется, измельчала, повыродилась, потускнела по сравнению с обилием новых книг. Я, конечно, понимаю, что это неверно так безапелляционно обвинять букинистов: если исправно и настойчиво искать, то и посейчас, вероятно, можно обнаружить на их прилавках и под прилавками не только «смирновосокольщину». Но не могу я согласиться и с теми, кто утверждает, что, мол, за последние годы у нас не выходит интересных книг. Это, по-моему, совершенно неверно. У меня лично не хватает времени прочесть все интересные новинки, они кучей громоздятся на тумбочке из-под швейной машины, не умещаясь на книжные полки. Правда, это не всегда только художественная литература и не мемуары. Но я считаю, что появились книги нового жанра, определить который

ещё не успели литературоведы. Я назову несколько из них. Вот, например, книга Рудницкого о Мейерхольде, исследование, читающееся как роман, хотя там, согласно новой нашей орфографии и не поставлено почти ни одной точки над «i». Или, наоборот, замечательный, с моей точки зрения, роман кубинца Алехо Карпентьера о Великой французской революции на Антильских островах, читающийся как увлекательнейшее исследование по данному вопросу. Умнейшая книга о Гогене Бенгта Даниельсона, разоблачающая легенды и трактующая, кроме всего прочего, о китайской проблеме в Океании. Замечательные записные книжки Всеволода Иванова. Да разве перечтёшь всё! А книги научные! С легкой руки гениального старца Вернадского появилось нынче множество новых славных наук: геогигиена, экология, словом, науки о том, как создать ноосферу, то есть сферу разума, чтобы легче стало дышать на Земле, чтобы мы не задохлись, не вымерли, как мастодонты.

А сколько нового в старой доброй геологии: выясняется, что чуть ли не всюду под нами, под ногами нашими в недрах земли сокрыт океан, из которого мы можем с разных горизонтов извлекать и рассол для солки шкур на мясокомбинатах, и потоки минеральных вод, и целебную воду для водолечебниц, и кипяток для отопления полярных городов. А математика! Такая, например, её отрасль как топология, резиновая геометрия, как её, не шутя, объясняют сами её создатели науки о том, как, не сняв с себя пальто, снять одетый под это пальто пиджак! Вот какими книгами, а не только переизданиями милого моей душе Андрея Платонова, или замечательным «Часом Быка» Ефремова, тоже учёного, доктора наук, пополняется наша библиотека. «Час Быка»! Книга о тупике маодзедунизма! Ведь вот как передаётся за последние полвека философская эстафета от Кафки к Сартру, от Сартра к Лемму, автору «Соляриса», от Лемма к автору «Часа Быка» Ефремову. Куда там поспеть за ними какому-нибудь философу-профессионалу, пусть даже действительному члену созданного ныне философского общества. Но обо всём этом надо писать особо, и рассчитываю однажды

высказаться об этом доказательно и внятно, а пока что надо сказать ещё несколько слов о нашей библиотеке, пополняемой кроме всего прочего ещё и периодикой. Кроме своих журналов мы получаем ещё парижскую «Современную архитектуру», варшавский «Пшеглонд Артистичны», Лейпцигский «Брюль» — меховой двухмесячник, таллиннский «Силуэт». Моды — такая же полнокровная явь, как и живопись, и техника, и у нас в библиотеке скопилось за последние десять лет немало журналов мод и книг по истории моды, книг по эволюции моды и революциях моды. Сейчас, как известно, в стиле одежды возврат, — в который раз! — к романтизму, девы и юноши носят ужасные брюки клёш, но что до меня, то в этом отношении пусть я буду ретроградом, но предпочитаю не широкие брюки, а летом ношу исключительно джинсы, прекрасные польские джинсы, вырабатываемые в Лодзи для Техаса, брюки, кстати, весьма подходящие лазать по лесенке, добираясь до самых верхних полок нашей всё растущей и растущей библиотеки.

## ЛИАНОЗОВСКИЕ ДЕБРИ

Насколько недоброжелательно относился к моему творчеству Твардовский, настолько доброжелателен был в этом смысле Эренбург. Конечно, иначе и быть не могло. В смысле литературных вкусов нас связывало очень и очень многое. Я уже писал о том, как во время первой мировой войны меня, мальчишку, очаровал и утешил эренбурговский перевод стихотворения Аполлинера «Много погибло прекрасных роз это над ними плачут ивы сладкий Пан Любовь и Христос умерли кошки мяучат тоскливо» и ещё другое, в котором запорожцы пишут своё дерзкое письмо турецкому султану. Я радовался, а ещё радовался через несколько лет, читая про Хулио Хуренито. До сих пор хранится у меня первоиздание этого замечательного автобиографического романа Ильи Григорьевича. Кажется, я уже упоминал где-то и о том, как не состоялось наше личное знакомство году

в 1934, когда Эренбург, приехав в Вологду, захотел меня видеть, звал к себе в гостиницу, а я уклонился. Я никогда не спрашивал его об этом: что он думал мне сказать тогда? Видимо, хотел помочь, если не деньгами, так добрым словом! И встретились мы впервые только лишь в 1939, если не ошибаюсь, году, в доме ресторана гостиницы «Москва», где он почему-то тогда обитал. Я помню, у него был в тот день Овадий Савич, о котором кто-то мне сказал, что это брат Эренбурга, я читал им стихи и поэмы. И с тех пор мы начали встречаться с Эренбургом всё чаще. Весной 1941 года Илья Григорьевич прислал мне в Омск в подарок только что вышедшую книжечку стихов «Верность», в которой речь шла как бы о недавнем прошлом,— об испанских событиях, об оккупации немцами Парижа, но, по существу, о близком будущем — о надвигавшейся второй Отечественной войне. Я рассказал о том, как я понял эту книжку, в рецензии, опубликованной в самом начале войны.

Но всё это было как бы предзнакомство. А настоящая близость, если наши отношения можно было назвать близкими, началась после войны, в конце сороковых годов. Нас сблизили неприятности. Меня только что разгромно раскритиковали за книжечку «Эрцинский лес». Эренбург тоже чувствовал себя неважно. Во всяком случае, мне показалось так, когда однажды в проезде Художественного театра я встретил бледного, хилого, по-стариковски сгорбленного Илью Григорьевича, жавшегося со своей собачкой к витрине букинистического магазина. Растерянным, слабым голосом Эренбург справился, как мои дела, произнёс какие-то слова ободрения и утешения, и мы расстались, чтобы встретиться через некоторое время живыми и здоровыми после того как я, переболев скарлатиной, узнал, что Илья Григорьевич не пострадал, а наоборот, получил, как говорил, высокую поддержку.

Затем были годы тяжёлые и смутные, о них кое-что я уже рассказал, а кое-что надеюсь рассказать в следующих главах. А затем наступили времена эренбурговской «Оттепели». XX съезд партии оказался причиной и того, что моя зелененькая «молодогвардейская» книжка, вышед-

шая в конце 1955 года, не попала под нож (а такая попытка, оказывается, была). Книжка вышла, и эти стихи не только получили положительную оценку со стороны нашей критики, но были переведены чуть ли не на дважды двунадесять языков. Вера Инбер, когда мы возвращались из Италии в 1957 году, над Альпами, в самолёте, покаялась мне в своей ошибке с рецензией на «Эрцинский лес», сказав, что подбил её на это Ермилов. «Только ли Ермилов?» — засмеялся я. Ну и в дальнейшем всё развертывалось весьма позитивно. Но тут-то и произошли некоторые смешные и нелепые события, приведшие к тому, что в последние два-три года жизни Ильи Григорьевича мы уже не встречались.

Что же, собственно, произошло?

Нет, дело было, конечно, вовсе не в том, что Илья Григорьевич, лестно упомянув обо мне в одной из своих журнальных статей, насколько мне помнится, о Вийоне, изъял это упоминание из книжного варианта данной статьи. Но, конечно, это не могло сыграть никакой роли. Это чепуха! Наоборот, я помню, как ругал себя за бестактность, за то, что, не прочитав заранее этой книги, я затеял о ней разговор с Ильёй Григорьевичем: почему, мол, он не дарит мне эту книгу. И сказал это вроде бы иронически. Я продолжал бывать у Ильи Григорьевича на улице Горького, предпочитая появляться там в будни, чтоб запросто почитать стихи, но был несколько раз и на днях его рождения, когда тесноватая его квартира битком была набита народом, что при моей нелюбви к многолюдным сборищам было прямо-таки подвигом. Меня подавляли такие причудливые суетно-противоречивые явления, как, например, Долматовский, томно сидящий на полу в ногах у Ахматовой, или симпатичнейшая Серова, рассеянно прислушивающаяся к беседе Симонова с Кончаловским о достоинствах съеденного ими на Кавказе барашка, но я всё-таки бывал и на этих приёмах, когда и сам виновник торжества Илья Григорьевич, казалось, был смертельно бледен от утомления.

Я говорил Илье Григорьевичу не однажды: «Так люблю поговорить с Вами, но стесняюсь бывать у Вас часто, знаю, как Вы заняты и должны уставать».

Какая же чёрная кошка всё-таки пробежала между нами?

Это была лианозовская чёрная кошка.

Дело в том, что однажды Борис Слуцкий позвонил мне и сказал, что стоит съездить с Ильёй Григорьевичем и Любовью Михайловной в Лианозово к художникам-новаторам. Я охотно согласился. И вот как-то утром на эренбурговской машине мы помчались в Лианозово.

В Лианозово я уже не бывал лет сорок, а между тем меня связывали с этой местностью незабываемые воспоминания: именно в Лианозово в середине двадцатых годов мы ездили с Сергеем Марковым к Саше Каргаполову, талантливому писателю, изгнаннику из Сибири за свои острые бытописания всего того, что Маркс называл идиотизмом сельской жизни. Изруганный, проработанный, Саша, променяв негостеприимный Новосибирск на подмосковную лианзовскую тишь, жил в лесной избушке у стариков, лианзовских старожилов. Эта Сашина избушка на курьих ножках и отшельническое его бытие напоминали мне уже и тогда о том, что рассказывала ещё раньше про Лианозово известная моим читателям фантасмагорическая художница Алёна Калач. А рассказывала она когда-то вот что.

Однажды осенью в Лианозово, когда уже почти все дачники съехали с дач, местные дети, игравшие в мяч, заглянули в одну из дачек через окно. В единственной комнате этой заколоченной на зиму дачи было полутемно, но через окно они увидели, что посреди комнаты в креслице, нахлобучив на лоб колпак, сидит старичок и читает газету, повернув её к свету. И дети подумали, что вот дачники съехали и забыли, заколотили на даче этого старичка. И вот кинулись к взрослым и стали кричать, что заколоченного старичка надо выручать. И когда взрослые сбежались и заглянули в окно, то они не увидели никакого старичка, а только пустое креслице.

— Нет, нет, вы не туда смотрите, а загляните в другое оконце: мы в него увидели старичка! — закричали дети.

— Но ведь это оконце в ту же самую комнату, а другой нет, и вся кухня видна из окна! — сказали взрослые.

Однако заглянув в другое окно, взрослые действительно увидели в пустом креслице читающего старика. Так они начали метаться от окна к окну, то видя пустое креслице, то сидящего в нём старика. И волнение охватило весь дачный посёлок.

Вот какой странный рассказ Алёны Калач я вспомнил ещё тогда, у Саши Каргаполова, сказав ему, что он точно такой же фантастический старичок-полуневидимка, таящийся под сенью лианзовских сосен.

А едучи с Эренбургом в Лианозово, я вспомнил и Сашу Каргаполова, и фантазию Алёны Калач, и даже пытался всё это рассказать моим спутникам, но они вовсе меня не слушали: умы их были заняты предстоящей встречей с художниками-новаторами.

Я не узнал Лианозово. В моей памяти была тихая станция с нефтяными цистернами на путях и коричнево-беличий хвойный лес. Ничего похожего я не увидел. Может быть, мы подъехали не с той стороны, но только мы очутились на каком-то пустыре возле несимпатичного деревянного, похожего на барак, строения. Это и была студия, ателье, мастерская художников-новаторов. Я не помню фамилий этих ребят, то есть, конечно, людей вполне взрослых, но в достаточной мере несамостоятельных, инфантильных, наивных, словом — взрослых ребят. Я всё-таки ожидал увидеть нечто новое, любопытное, но был неприятно поражён, увидев довольно неяркое подражание Кандинскому, какие-то вариации на темы Малевича и всякие другие реминисценции. Правда, одно полотно, вполне абстрактное, мне понравилось гораздо больше других: в нём была динамика, свежесть красок. И я с облегчением, что могу всё-таки что-то от души похвалить, сказал:

— Вот это настоящая живопись!

Но тут произошло замешательство. Мне потихоньку объяснили, что это полотно не новое, а старое, и попало в экспозицию, так сказать, случайно, ибо принадлежит отцу одного из участников лианозовского вернисажа, старому художнику 1920 годов, родителю хозяина ателье.

Вот тогда я и стал браниться, толкуя о неповторимости произведений искусства, о бесплодности реминисценций, подражаний, пусть это будут подражания передвижникам или подражания абстракционистам. В общем, я говорил то, о чём написал в своём стихотворении: «Отчего поборники кубизма тут и там уходят на покой? Или мода всё-таки капризна? Нет! Весь мир сегодня не такой!» Я говорил о том, что поборники уходят, а подражатели, к сожалению, остаются, но подражания бесплодны.

— Кому именно и в чём подражания? — возразил один из художников. — Назовите кому?

— Имя им легион! — закричал я. Тут настроение у всех испортилось.

Илья Григорьевич ничего не возразил мне, но и не стал на противоположную точку зрения. Он постарался мягко сгладить мой спор с рассерженными художниками, и как-то само собой стало ясно, что нам пора ехать обратно. И помню, что на обратном пути кто-то упрекнул меня, сказав, что, конечно, по существу я не неправ, но уж слишком суров к молодёжи, и что в искусстве как-никак существует преемственность, что их видение мира всё-таки шаг вперёд по сравнению с серостью серовцев.

Илья Григорьевич молчал. Но я, окончательно рассердившись, стал говорить, что виденное нами никакой не шаг вперёд, что нечего расшаркиваться перед реминисцентщиками, нечего либеральничать, и напрасно Илья Григорьевич по доброте душевной как бы поощряет их, навлекая на себя лишние попрёки, и что довольно и так уж на него собак вешают.

Илья Григорьевич молчал. И получилось действительно так, будто дорогу нашему автомобилю перебежала если и не чёрная, то серая кошка…

Мы не рассорились, нет. Он ждал, что я к нему приду, он даже напоминал мне об этом через знакомых, я собирался, но как-то всё откладывал и откладывал.

А тут вскоре состоялся скандал в Манеже, открытие там выставки и посещение её Н.С. Хрущёвым. Хрущёву, как из-

вестно, тоже не понравились работы наших левых новаторов. Думаю, не надо объяснять, что он исходил не совсем из тех соображений, из каких исходил я. Но по существу вышло, что наши мнения кое в чём сходятся. Хрущёву, я думаю, не понравилось то, что в полотнах этих художников нет близости к жизни. Мне не понравилось то же самое, только я, назвав их реминисцентщиками, был неприятно поражён, шокирован тем, что Хрущёв обозвал их педерастами. Я, конечно, не потребовал бы от них обязательно картин социалистического строительства, а просто хотел бы, чтобы они были более ярки и динамичны, пусть даже и это тоже не понравилось бы Никите Сергеевичу. А может быть, и понравилось бы, не знаю. Но мне было ясно: произведения, не понравившиеся Хрущёву по одной, а мне по совершенно другой причине, вызывали сочувствие мягкосердечного Ильи Григорьевича. И поэтому мне не хотелось идти к Эренбургу и раздражать его своим мнением. Неловкость положения усугублялась и тем, что я попался на удочку одному газетчику. Он спросил у меня, что я думаю об абстракционистах. Я объяснил ему, что, по-моему, всякий настоящий художник, как бы он себя не называл, реалист, если он действительно талантлив. То есть, каждый из нас, если он честно и правдиво старается поведать о происходящем, может сказать: я — реалист! Впрочем, — сказал я, — я свои взгляды на искусство подробно изложил на международном симпозиуме в Неаполе в своём выступлении, затем напечатанном в журнале «Контемперане». Газетчик же напечатал в газете, что я реалист и всецело согласен с взглядами Никиты Сергеевича Хрущёва. В свете всего этого мне особенно не хотелось толковать с Ильёй Григорьевичем ни в эти, ни в более поздние дни, когда и Илья Григорьевич и Никита Сергеевич, сойдя с политической авансцены, отдыхали один на верховьях, другой на низовьях Истры. И я ни разу не ездил к Эренбургу в Новый Иерусалим, где он взращивал тюльпаны и писал мемуары.

И однажды, когда в очередном номере «Нового мира» появились главы этих мемуаров, я нашёл в одной из этих

глав упоминание о том, что было время, когда нередко приходил к нему я, Мартынов, разговаривал мало, в жизни бывал незрячим, порой не замечал людей, рассеянно пил чай и невпопад отвечал на вопросы. Правда, это относилось уже к прошлому, а о дальнейшем Илья Григорьевич ничего не добавил, но, вообще-то говоря, пожалуй, в моей характеристике он был прав.

Может быть, действительно, всё дело в моём косноязычии и в моём неумении впопад отвечать на вопросы? Может быть, и тогда в Лианозово, когда начались мои разногласия с Ильёй Григорьевичем, когда впервые не совпали наши точки зрения на искусство, мне надо было не вдаваться в рассуждения о неповторимости искусства, о бесплодности реминисценций, а попросту тихо, спокойно и связно поведать всё то, что рассказала мне когда-то художница Алёна Калач про детей, игравших там в мяч, и про старика, которого эти дети увидели через окошко одной из заколоченных дач и, указав на картины молодых абстракционистов-подражателей, надо было бы воскликнуть:

— Вот через эти рамы не видно ничего!

А показав на картину абстракциониста-отца возгласить, подняв указательный палец:

— А вот в этом оконце явственно обозначился почтеннейший старец!

И всем было бы весело, приятно, и мы поехали бы обратно, и чёрная кошка не перебежала бы дорогу нашей серой автомашине, и может быть даже и художники бы одумались, и не было бы даже и скандала, известного скандала в Манеже.

## ЗАГРАНИЧНЫЕ ЗНАКОМСТВА

Раз уж дошло дело до заграницы, расскажу, кстати, о самом, пожалуй, интересном из моих заграничных знакомств — о знакомстве с Твардовским. Как это произошло? Мы, конечно, знали друг друга и раньше. Я относился

к нему, как к поэту, равнодушно, он ко мне с самого начала отрицательно, то есть ещё в сталинские времена он дал весьма отрицательную рецензию на предложенную мною «Советскому писателю» книжку стихотворений. Личных контактов у нас не случалось, и если мы встречались в общественных местах, то старались не замечать друг друга.

И вот в 1957 году мы наконец оказались в одном самолёте, летя с писательской делегацией в Италию.

На пути до Праги (где была пересадка) мы с Твардовским не перекинулись ни словом. Я любовался на фантасмагорические башнеобразные и утесоподобные нагромождения разноцветных облаков, сквозь которые мы пробивались над Польшей. Самолёт, еще не реактивный, летел довольно низко, ощущение было волшебным, и я удивлялся, чем недоволен Твардовский, чего он ворчит. Наконец он высказался внятно и вслух, сказав, что ему не нравится лететь: мол, не летишь, а тебя летят, везут, перемещают и это неприятно, нехорошо. Потом я понял, в чём тут дело, но выяснилось это уже в Цюрихе.

В Праге мы не виделись, Твардовский был занят какими-то своими делами, а я своими: смотрел Старый город, известный мне по замечательному роману Густава Мейринка «Голем», причём оказалось, что спутники и проводники мои чехи — молодые ребята, поэты из молодёжной газеты, и знать не знали об этом допотопном для них романе, живописующем крах австро-венгерской империи, и об его авторе, писавшем, как известно, на немецком языке. Зато они оказались прекрасными гидами по собору Святого Витта, того Святого Витта, пляску которого когда-то я видел на лице омского гимназического директора, милейшего Шефальды. Мои гиды показали мне в соборе на дверное кольцо, за которое надо подержаться на счастье. Я, в свою очередь, в тот же день ещё раз заманил к Святому Витту чуть ли не всю нашу делегацию: и Суркова, и Прокофьева, и Смирнова, и Исаковского, деликатно намекнув им на возможность подержаться за это кольцо. И, насколько мне помнится, намёк мой понял первым и благосклонно одобрил его именно Твардовский.

Затем после дня пражских встреч и прогулок мы вылетели дальше и, пролетев над Мюнхеном, через некоторое время приземлились на цюрихском аэродроме. И тут я понял, почему Твардовский неважно чувствовал себя в воздухе. В Цюрихе Александру Трифоновичу вдруг стало дурно, он свалился в тисках какого-то страшного спазма. Симпатичные аэровокзальные доктор и докторша оказали ему помощь и за полчаса поставили на ноги, сказав, что он может лететь дальше. Затем швейцарский самолёт поднял нас в воздух, понёс над Альпами, от которых были видны только несколько тонущих в облаках верхушек, и опустил в Милане, чтоб дать возможность немножко подышать оливково-каменным ароматом Италии. Я не помню, гулял ли по аэродрому Твардовский, всё ещё так и не вполне оправившийся от припадка, но помню, что все мы очень беспокоились, как он перенесёт дальнейший путь, и я лично вздохнул с большим облегчением, когда наконец в вечерней мгле под нами возникли электрические контуры древнего Рима.

В гостинице мы с Твардовским попали в один номер, то есть в одну из комнат большого двухкомнатного апартамента, другую половину которого заняли Прокофьев и Смирнов. Я пошёл в ближайшее телеграфное отделение дать телеграмму жене. Вернувшись, я увидел, что Твардовский уже спит на кровати, огромный и неподвижный. Утром к нему пришёл доктор, а потом монахини, сёстры милосердия, чтобы не то дать лекарство, не то сделать укол... Словом, состояние Твардовского первые дни было таким, что мы — я с Прокофьевым и со Смирновым — договорились, чтобы кто-нибудь из нас обязательно оставался с Твардовским. И на другой день, либо на третий вечер, я отказался от предложения Суркова поехать в гости к какому-то римлянину, потому что соседи мои Прокофьев со Смирновым куда-то запропастились, и я не счёл себя вправе оставить молчаливо и неподвижно лежавшего Твардовского. Эти же двое вернулись уже поздно вечером сильно навеселе и так шумели в ванной, что я вынужден был напомнить им, что Твардовскому и без них тошно. Но вскоре Александр

Трифонович оправился и появился на встрече с итальянцами, я помню его задумчиво дотрагивающегося указательным пальцем до какой-то статуи в палаццо, где происходила наша дискуссия.

Ездил он с нами и в Тиволи, присутствуя там на шумном застолье, где Вера Инбер увенчала каким-то самодельным венком Квазимодо. Вслед за тем наша делегация разделилась: Инбер, Заболоцкий и Слуцкий поехали в Венецию, Сурков не помню куда, а мы, то есть я, Твардовский, Смирнов и Прокофьев, полетели на самолете в Палермо, а оттуда на пароходе отправились в Неаполь.

И там-то в Неаполе и произошёл между мной и Твардовским первый разговор по душам. Это случилось на веранде маленького кафе. Мы сидели там с итальянцами, и один из них показал пригласительный билет на наш неаполитанский вечер. Твардовский мирно соседствовал со мной за столом, но, взглянув в пригласительный билет, вдруг недружелюбно уставился на меня и затем довольно громко сказал нечто вызывающее, что вот де я сибиряк, а ничего не написал о Сибири. Я, ещё ничего не понимая, возразил: «А поэмы?» Но он ответил, что это — история, а почему я ничего не написал о современной Сибири. Я, всё ещё не понимая, почему он рассердился и здесь, в Неаполе, вдруг завёл речь о Сибири, взглянул в этот момент на пригласительный билет и сразу всё понял: в перечне участников вечера не было упомянуто Александра Твардовского. Моё имя было, а его нет. Конечно, это была случайность. Печатая билеты, устроители вечера предполагали, что Твардовский поедет не в Неаполь, а в Венецию, так объяснили это потом, так я это понял сразу. Но я сказал ему не об этом, а совсем другое, что казалось мне более логичным при обстоятельствах данного разговора.

— Твардовский! — сказал я ему тихо и с любезной улыбкой, чтобы окружающие и не поняли, о чём идет речь. — Я знаю, что вы меня не любите и не цените моего творчества, так же, впрочем, как я не ценю вашего. Значит мы — квиты. Но давайте хранить хоть внешнюю благопри-

стойность. Не надо разыгрывать обид и устраивать сцен здесь, когда на нас, вы видите, смотрят и только и ждут чего-нибудь такого.

Так сказал я, ласково склонившись к его плечу.

И действительно, на нас смотрели, смотрели с любопытством и как бы с надеждой, ожидая скандала, как итальянцы, так и не итальянцы, то есть Прокофьев со Смирновым. И поняв это, Твардовский так же постарался улыбнуться как можно любезнее и закивал в ответ мне своей большой благообразной головой.

Инцидент был исчерпан. И я считаю, что мы объяснились весьма кстати и в известной степени отвели душу. Конечно, из этого краткого, почти мгновенного разговора я не узнал досконально, за что именно меня не любит Твардовский. И я не высказал ему, почему мне не по душе его поэзия, которая казалась и кажется мне примитивной, и поэтому я более склонен ценить его как прозаика, как публициста. Этим я, можно сказать, предрекал его будущее, но это будущее было ещё далеко впереди, когда мы так элегантно перебранились в Неаполе.

Итак, мы вернулись к взаимолюбезности и даже очень мило распрощались в Риме, откуда Твардовский, чтобы не подвергать себя вновь опасностям воздуха, поехал вместе со Слуцким и Заболоцким домой поездом, а мы полетели опять через Цюрих и Прагу. Твардовский даже ничуть не обиделся, когда я попросил на прощание вернуть мне подаренную ему с надписью мою книжку. Я сказал:

— Вот итальянцы просят, а у меня больше нет, я думаю, что в свете наших отношений вам уж не так необходима та книжка, которую я вам дал.

— Хорошо, — ответил он, — только дайте мне почитать на дорогу Тургенева!

А Тургенева в свою очередь мне подарил один итальянец, желая написать мне что-нибудь на память; он купил, надписал и подарил мне эту русскую книжку.

— Ладно, — сказал я Твардовскому, — берите, но обязательно верните мне в Москве, видите, книжка дарёная.

И действительно, Твардовский аккуратно вернул мне в Москве Тургенева почтовой бандеролью.

И больше мы с Твардовским не увиделись до новой встречи на Шереметьевском аэродроме, когда в 1964 году мы опять полетели вместе с делегацией, на этот раз в Париж.

И опять-таки как на аэродроме, так и в самолёте, летя над Литвой, Балтикой, Данией, и осенней деголлевской Францией, мы не обмолвились почти ни словом. И только в Париже, где внимание легкомысленной публики привлекали на этот раз главным образом Беллочка Ахмадулина и Вознесенский и на них устремлялись в первую очередь объективы киноаппаратов, в этом Париже у нас с Твардовским начали налаживаться некоторые контакты, которые наконец и завершились чем-то похожим на новый разговор по душам.

То, что я называю налаживанием контактов, началось с моего спора с Эльзой Триоле.

— Здорово вы дали Эльзе! — сказал потом мне Сурков.

А суть была в том, что, подготовляя наш парижский вечер, Эльза Триоле устроила вроде как бы репетицию у себя дома. Перед этой репетицией она предупредила нас о том, с какими сокращениями, учитывая баланс времени, мы, по её мнению, должны читать стихи, опубликованные в антологии, французские переводы которых будут читаться параллельно артистами.

Меня, и как я узнал, и Твардовского тоже, эти сокращения не удовлетворили. Мне показалось, что купюры, сделанные Эльзой Осиповной в «Искусстве перевода», неудачны. Твардовский имел такие же к ней претензии насчёт своих стихов, но прежде чем дошло время Твардовского до объяснения по этому поводу, я неожиданно срезался с Эльзой, сказав, что лучше вовсе не буду читать с эстрады этого своего большого стихотворения, а прочту лишь два коротеньких. Эльза Триоле решила обидеться и обратилась ко мне, гостю, сухо официальным тоном, начав свою речь обращением «Товарищ Мартынов!».

В ответ на это я таким же официальным тоном возгласив «Товарищ Триоле!», произнёс небольшую, но энергичную тираду насчёт купюр, сокращений и сократителей, по-видимому, настолько убедительную, что Твардовский, вздохнув, объявил, что к моей речи ему в сущности нечего прибавить.

— Читайте как хотите, — махнув рукой, закричала укрощённая Эльза Осиповна.

Вечер прошёл хорошо, мы получили каждый свою долю аплодисментов и подписали в этот и следующие вечера немало сотен экземпляров французской антологии русской поэзии, причём перед нашими глазами прошёл, кроме французов, чуть ли не весь русский Париж.

И вот однажды холодным утром, когда за окнами нашей гостиницы по бульвару неслись опавшие листья вперемежку с ранним октябрьским снежком, у меня с Твардовским состоялся ещё один небольшой разговор по душам. Собственно, это был его краткий монолог за ресторанным столиком. Не помню уж по какому поводу, но, вдруг обернувшись своим большим лицом в мою сторону, Твардовский, тихий, как Днепр в Смоленске, сказал:

— Да, хорошо бы сейчас куда-нибудь в лес. Домой! В лес, в шалаш, под тулуп. Забиться бы в глушь!

Мне в это утро несколько нездоровилось. Я подумал, что может быть ему тоже. Я очень хорошо его понял. Мы несколько устали, действительно пора было домой. Но из-за забастовки летчиков было трудно достать билет на самолет. Нам с Соснорой удалось улететь первыми. Спеша к выходу на лётное поле, я махнул рукой Слуцкому, Суркову и Твардовскому. Больше мы с ним не виделись… Что дальше будет, не знаю. Добавлю только одно: Твардовский, упорно не приглашавший меня печататься в его «Новом мире», вдохновил меня на одно стихотворение, напечатанное мной в «Журналисте». Оно называется «Отдохнуть» и может быть известно читателям. А здесь я приведу его первый вариант, вернее, те, ещё не напечатанные строки, из которых это стихотворение возникло. Вот они:

Да,
Встречаемся редко
И чаще всего за границей!
Вот и нынче так вышло…
Он, сед, как патриций,
Говорит:
— Хорошо бы в лесу затаиться
В шалаше, под осенней листвою,
Да тулупом укрыться бы там с головою!
Отвечаю седому:
— В шалаш? Даже лучше в дупло!

И глядит он тепло.
Очень редко встречаемся дома!

## СТАРИННЫЕ ЛЕГЕНДЫ

Позванивает Мария Семёновна Певзнер-Рейснер — всё приглашает в гости. Действительно, пора бы и встретиться, не виделись почти год. Она всё в разъездах, командировках.

Мария Семёновна — профессор, специалист по слабоумным детям, по олигофренам. Я знаю, как произойдёт эта будущая встреча. Точно так же, как и предыдущие. Мария Семёновна будет рассказывать нам с Ниночкой о красотах тех мест, где она только что побывала. Но будет очень скупа на рассказы о своих подопечных, ни на грош не ставя мой интерес к ним и предполагая, что ничего умного из таких сообщений не вынесу. Но, как сказать!

Мы познакомились с Марией Семёновной в поезде Адлер-Москва, возвращаясь из Сочи. Она появилась в нашем купе ночью, в Туапсе, едучи из Геленджика, и мы как-то сразу узнали от неё всё, что надлежит узнать, то есть, что муж её Игорь Михайлович Рейснер, известный востоковед, сын не менее известного профессора Рейснера, издателя журнала «Рудин» и брат ещё более известной писательницы Ларисы

Рейснер, недавно погиб от сердечного приступа в Ташкенте, возвращаясь из Индии, и что Мария Семёновна, оправившись от удара, этой осенью впервые в одиночестве ездила на юг, купалась одна, заплывая на несколько километров в море... Видимо, томившее её одиночество и способствовало тому, что она сразу же нам всё это о себе рассказала, тем более что, как это выяснилось позже, мы ей сразу понравились, а я показался ей чем-то похожим на Игоря Рейснера. Узнав же, что я литератор, Мария Семёновна стала говорить о Ларисе, а так как она знала о ней не особенно много, то — вообще о литературе, хотя мне хотелось от неё больше слушать об олигофренах, так как у меня уже и тогда были некоторые свои собственные соображения на счёт болезни Дауна.

Вернувшись в Москву, мы продолжили знакомство с Марией Семёновной, побывав у неё сначала на Пресне в квартире, где она жила ещё с мужем, а теперь, после пережитой трагедии, собиралась её переменить. Там уже всё было кое-как и не на месте, и над предотъездным хаосом сиял лишь замечательный портрет Красной Мадонны Ларисы Рейснер. И, глядя на это полотно, я размышлял о взаимосвязи явлений, о некой, что ли сюжетности всего происходящего: вот я и очутился лицом к лицу с романтическим обликом той Ларисы Рейснер, с которой в редакции "Рудин" когда-то встретился юный Георгий Маслов, в которую был влюблён Вивиан Итин до того, что даже назвал в память о ней свою дочь Ларисой... И вот теперь Лариса Рейснер глядит на меня со стены квартиры Марии Семёновны Певзнер-Рейснер, случайно или не случайно, — таковы пути жизни, включившейся в цепь моих знакомств и привязанностей.

Затем Мария Семёновна возила нас на дачу за Тучково, в Тутеево, где познакомила со своей старшей сестрой Софьей Семёновной, врачом-пенсионеркой, проводящей досуг за чтением старых французских книг. И, наконец, Мария Семёновна вместе с Софьей Семёновной обосновались неподалёку от нас, по ту сторону университета, на улице Пудовкина в малогабаритной квартирке, пришедшейся двум миниатюрным женщинам по росту и по вкусу.

Вот туда-то мы и поехали с Ниночкой к ним в гости.

За это время Мария Семёновна успела провести множество инспекционных поездок по всему Советскому Союзу. Кроме того, она побывала на ряде международных конгрессов, участвуя в дискуссиях по поводу происхождения и лечения болезни Дауна. Я не берусь описывать этого. Моя жена говорит, что я должен писать только о том, что я хорошо знаю. Она говорит, что, будучи полным профаном в медицине, я не имею права судить о ней. Но я и не собираюсь писать больше, чем знаю. Мне только кажется, что сперва, когда ещё наша медицина не стояла на позиции классической генетики, Мария Семёновна, представляя нашу медицину на заграничных конгрессах, вела кое-какие споры с некоторыми учёными, которые, якобы стоя на позициях классической генетики, судили о болезни Дауна как о наследственной и только наследственной болезни, не имеющей ничего общего с влиянием среды и, таким образом, не зависящей от этой среды и не поддающейся лечению. Мария Семёновна, ещё не стоя на платформе классической генетики, смотрела на вопрос более оптимистично и, подчеркивая внешние факторы, вызывающие болезнь: природовые травмы, инфекции, то есть влияние среды,— указывала на новые, более широкие возможности борьбы с болезнью Дауна в более человеческих условиях социалистического мира. В дальнейшем же, когда и в нашей стране наряду с кибернетикой была восстановлена в правах и генетика, Мария Семёновна и во всеоружии этой науки продолжала, как мне кажется, делать то, что может, для облегчения этих больных, у которых обнаруживается лишняя хромосома в 21-й паре, что, как это установлено на современном этапе биологической науки, и сообщает этим детям уродливую внешность, укороченные конечности и диластичное строение тела, скуластость, монголоидность. Вот что я уяснил из книжек Марии Семёновны, одна из которых, «Дети олигофрены», переиздана в Соединённых Штатах. И, относясь с полным уважением к её трудам, я позволял и позволяю себе лишь одно: почтительно рас-

спрашивать Марию Семёновну и не менее почтительно высказывать ей некоторые свои, пусть наивные, пусть сугубо ненаучные, а, так сказать, поэтические соображения на этот счёт.

— Мария Семёновна,— спросил я её однажды,— а что вы думаете о Големе?

Оказалось, что она ничего не думает о Големе, потому что ничего и не знает о нём и даже не видела пустячной чешской комедии, в которой Голем показан карикатурно.

И тогда я рассказал Марии Семёновне всё, что я знаю о Големе. Я поведал о том, как ещё в первой половине двадцатых годов я прочёл вышедший в горьковской серии новинок иностранной литературы роман Густава Мейринка «Голем», в котором (как говорится в энциклопедии) «социальные противоречия большого капиталистического города являются фоном для фантастического образа двойника Голема, заимствованного из еврейской народной легенды», а говоря попросту, не энциклопедическим, а разговорным языком, там, в этом романе, безо всякого «пародийно-сатирического изображения буржуазного строя» описано явление Голема в Праге, в XX веке, перед германской войной и крахом Австро-венгерской империи. В атмосфере декаданса, полубезумный, очнувшийся от потери памяти после личной трагедии, герой романа, опекаемый добрыми людьми из пражской богемы, узнаёт легенду о Големе.

В стародавние времена некий пражский раввин-каббалист вылепил себе из глины робота Голема и, одухотворив его с помощью вложенной ему в пасть магической записки, заставил исполнять домашние работы: топить печь, готовить обед, мыть посуду и мыслить. Но однажды в непогоду сильный ветер выдул из пасти Голема магическую записку, и робот взбесился, переломал всё кругом и исчез, чтоб появляться вновь на улицах старой Праги перед всяческими несчастьями — мором, гладом и войнами. Вновь возникая из небытия (вернее из башни без окон и дверей в Старом Месте), он издалека казался гигантом, но по мере приближения становился всё меньше, сокращаясь из великана

в карлика, преображаясь из мощного детины в ребёнка, в младенца и чуть ли не в существо, по размеру подобное семени человеческому, сперматозоиду. И те, кому довелось увидеть Голема, утверждали, что он неуклюж, скуласт, плосколиц, узкоглаз, то есть — добавляю я от себя — монголоиден, подобно ребенку-олигофрену, — понимаете ли вы это, дорогая Мария Семёновна!

— Допустим,— ответила она,— но я не совсем понимаю, куда вы ведёте!

— А вот куда: смысл поверья, легенды или как там ещё это назвать, по-моему, ясен. Во дни народных бедствий, в годы бурь, глада и мора, когда где-то на горизонте маячили призраки гигантов-разрушителей, всюду кругом, поблизости появлялись из чрев материнских уродцы, монголоидные младенцы, болезненные чада, те самые, которых мы с вами называем олигофренами. По-моему, легенда о Големе гораздо старше её рассказчиков — пражан XVII века, которые её, так сказать, оформили окончательно, а возникла она ещё, по крайней мере, во времена монгольских нашествий, и имя Голем поначалу звучало, вероятно, не Голем, а Монголем, то есть прежде чем стать локально еврейским Големом, оно было всеевропейским Монголемом. А нашествие кочевых народов Востока на Европу вызывалось не чем иным, как поиском новых угодий, пастбищ, недостаток которых на старой родине вызывался, как известно, изменением климата — засухами и всеми другими последствиями великих максимумов солнцедеятельности. Так что магическую записку из пасти бушующего Голема-Монголема выдувал не какой-нибудь иной, а солнечный ветер. И вот давно уж прекратились монгольские нашествия, а всё же в период больших солнечных максимумов и связанных с ними тех или иных возмущений в природе как в Европе так и не в Европе, продолжали рождаться эти болезненные монголоидные младенцы. И помню, как однажды, толкуя о монголоидности детей-олигофренов и видя недовольное лицо Марии Семёновны, недолюбливающей этот термин — монголоидность,— я воскликнул:

— Мария Семёновна, я вижу, что вы хотите мне возразить, вы хотите сказать, что я кидаю солнечную тень на всех монголов, как бы утверждая, что все они в силу своей монголоидности — суть потомки людей, поражённых когда-то солнечной радиацией, и, таким образом, являются как бы больными или потомками больных, хотя, как известно, олигофрены и не дают потомства! Нет, я, наоборот, считаю всех монголов и монголовидных людей здоровейшими из здоровых, потому что их предки, а, может быть, и они сами, подвергнувшись опаснейшему солнечному испытанию, перебороли его губительное влияние и передали потомкам своим иммунитет к нему, и создали могущественные в былом и оставшиеся таковыми и позже кочевые, а затем и осёдлые державы племён, распространившиеся из Азии в Европу и Америку. Они дали миру и Чингисхана, и Тимурленга, и славных вождей североамериканских индейцев, и южноамериканских инков. А в Европе! Мало ли добрых людей отнюдь не олигофренов, но всё-таки с неожиданным монголоидным обликом и среди европейцев! Сократ, Верлен, Достоевский, да и Максим Горький, — не солнечным ли ветром овеяны их скуластые монголоидные облики и блещущие некоей, с обывательской точки зрения, болезненной «ненормальностью» взоры их узковатых вдохновенных очей! В этих очах я вижу отблеск древних солнечных взрывов, уничтоживших когда-то на земле власть пресмыкающихся, но открывших дорогу млекопитающим и в том числе человеку. Человек, покоритель огня, выдержал борьбу с солнцем! Вот какова диалектика природы!

— Что и говорить, у вас богатое воображение! — воскликнула Мария Семёновна.

— Да, — согласился я. — Воображение — это не фунт гороха. И позвольте мне, не отрываясь от темы нашей беседы, рассказать вам ещё одну притчу о том же Големе, связанную как раз с воображением.

Среди многих преданий о Големе существует и следующее, которое я узнал совершенно случайно из книжки товарища Беленького о Спинозе, вышедшей не так давно в серии

«Замечательных людей», основанной когда-то опять-таки Горьким. В этой книге, я уже не помню, в какой связи, кто-то рассказывает философу Спинозе о том, что в 1602 году, когда Европу поразила чума, португальские лиссабонские евреи вздумали послать депутацию в Прагу к тому самому раввину Леви, который смастерил Голема. Имелось в виду спросить у знаменитого каббалиста, за что Бог наказывает Европу чумой и чем можно умиротворить гнев Господень. «Не знаю, не знаю,— будто бы ответил премудрый раввин,— впрочем, попробуем спросить у Голема!» И спросили у Голема, который тогда ещё не взбесился, а был занят мирной домашней работой и умственной. И Голем сказал, что он тоже не знает, но полагает, что надо спросить у души какого-нибудь невинного дитяти, погибшего от той же самой чумы. Невинные детские души, вылетая из могилок, реют в небе вокруг престола Господня и находятся в курсе небесных дел... И вот пошли на погост, и Голем ловко поймал душу дитяти, порхавшую в ту ночь над могилкой, возвращаясь в неё. Но душа дитяти, трепеща, сказала, что не может выдавать тайн небесных, ибо если сделает это, то будет жестоко наказана ангелами, которые высекут её железнопылающими розгами молний. «Но ведь дело идёт о судьбах всей Европы! Согласись пострадать на благо человечества, сделай доброе дело!» И тогда душа дитяти пошла на такой компромисс: «Я скажу. Но только обиняками. Намёками! На окраине Праги есть жалкая хижина, я укажу, где. И в этой хибарке — разгадка тайны!» И они пошли и увидели указанную хибарку. «Но ведь это — жилище моего любимейшего, талантливейшего ученика, горбуна Гамаила!» — воскликнул раввин Леви. И забарабанил в дверь. Но дверь не открылась. «Ломай!» — приказал хозяин-каббалист слуге-роботу, и Голем взломал дверь. Из темной хибарки хлынул ослепительный свет. Послышался шум и гам, и все увидели, что в крохотной хижине вмещается громадный многолюдный чертог, в котором идёт пир во время чумы, возглавляемый несчастным горбуном Гамаилом, восседающим на председательском месте с блудницею на коленях.

— Несчастный, это ты виновник всех бедствий Европы! — воскликнул раввин Леви. — Вот что ты вызвал своим развратом!

Виноват, равви! — ответил горбун и, сбросив с колен блудницу, сам пал на колени перед учителем. — Я виноват. Но прошу снисхождения. Смотри: чертог исчезает, бражники испаряются. Ведь всё это только плод моего воображения!

Вот какую силу, оказывается, может иметь воображение. Чего только не порождает оно. Я имею в виду, конечно, не эту легенду, саму по себе очень мудрую, но факты, факты. Не горячечное ли воображение кликуш и монахов породило ужасы инквизиции? Не тёмное ли воображение графа Гобино породило расовую теорию? Не гнусное ли вооображение Гитлера, подхватившего эту теорию, породило ужасную, убийственную крематорийную и душегубочную явь! Да можно пойти ещё дальше и дальше, фактов кругом достаточно.

Я, думая обо всём происходившем и происходящем, утешаю себя лично только тем, что моё собственное воображение, само собой, тоже иногда в какой-то мере грешащее и порождающее, может быть, и негативные образы, в целом всё же направлено в хорошую сторону: я лично грежу добрыми делами, такими как, например, экология, — воссоздание равновесия в природе, создание взамен существующей буревой биосферы, так называемой сферы, которую великий учёный нашего времени Вернадский называет ноосферой, то есть сферой разума. Профессор Фабрикант цитирует мои стихи для иллюстрации своих лекций о лазерах и мазерах. Я грежу о создании электромагнитных ловушек для плазмы, чтоб в конце концов предохранить нас от всяких неприятностей — и от радиации после атомных взрывов, и от последствий естественной солнечной радиации, то есть от возможных потрясений и болезней, которых в прошлом человечество не могло предотвратить. Я, быть может, фантазируя дилетантски, мечтаю, что мы справимся не только с такими мелочами как, например, наступление энцефалит-

ного клеща на запад с Дальнего Востока, и даже не только с болезнью Дауна, но возможно, что и с новым ледниковым периодом, а наступление ледников приносило роду людскому, как я догадываюсь, немало неприятностей в былом.

Казалось бы, что на том и надо закончить это порядочно затянувшееся повествование, но в связи со спорами с Марией Семёновной мне вспоминается ещё и вот какой факт. Это было лет десять назад. Однажды, возвращаясь из Италии, мы прилетели вечером в Прагу, и выяснилось, что придётся заночевать в гостинице между аэропортом и городом. Эта гостиница показалась мне в сумерках каким-то башнеобразным старинным домиком, да и внутри оказалась довольно странным странноприимным местечком. Из холла какие-то лесенки уводили ввысь к номерам-клетушкам. Полагался ужин за счет Аэрофлота, все собрались внизу. Молча явился официант с подносом. Пилзенское пиво и какие-то колбаски; и, взглянув тогда на этого буфетчика, я подумал, что он движется, как заведённый. Затем почти все разбрелись спать, в холле осталась только одна англичанка, тоже летящая в Москву и, опасаясь русских морозов, держащая в объятиях, как медвежонка, какой-то болгарский полушубок. Мне не хотелось идти спать, но было трудно беседовать с ней, и, так как шёл лишь одиннадцатый час, я сказал одному своему товарищу, что хорошо бы удрать отсюда на некоторое время в город, в какое-нибудь место злачное. Так и порешили: я, он и ещё кто-то из нас оделись и пошли к выходу в тёмную ночь. У входа возник тот же, похожий на робота, буфетчик, который теперь уже стал привратником. Он безразличным голосом спросил, куда мы направляемся столь поздно, но, услышав наш ответ, что в город, в ресторан, вдруг просиял и весело объяснил нам, как добраться до ближайшей остановки трамвая. «Не торопитесь, когда бы вы ни вернулись, звоните, я вам открою,— сказал он,— желаю вам приятно провести время».

И мы пошли на трамвайный огонёк. В пустом вагоне единственный пассажир, какой-то парень, признав в нас советских, расспрашивал, почём в Москве мотоциклетки.

Приехав в город, мы, кажется, дозвонились до кого-то из наших знакомых и, побродив по Старому Месту, вышли к центру, где и нашли то, что искали. И, сидя за стойкой бара и наблюдая танцующих под музыку молодых людей, простых хороших ребят — студентов, художников и рабочих с их подругами, я пришёл в такое хорошее настроение, что мне показалось, будто среди танцующих вижу и тень англичанки, пляшущей в обнимку с собственным медвежонком, и весёлого, уже нисколько не похожего на робота привратника из нашей башни с буфетным подносом в руках. Конечно, это был не он, а один из официантов ночной винарни. И тогда я сказал моему знакомому литератору из молодёжной газеты, как всё это прекрасно и сколь не похоже на зловещее пражское ночное заведение, описанное в романе «Голем» Густава Мейринка. И, видя, что юноша смотрит на меня несколько озадаченно, я спросил:

— Вы что, не знаете «Голема» Густава Мейринка?

— Я, конечно, знаю Меринга,— задумчиво ответил журналист,— но только я не знал, что у Франца,— он подчеркнул — «у Франца» — Меринга, автора известной «Легенды о Лессинге», есть роман, как вы сказали, «Голем».

И этот товарищ посмотрел на меня не менее, а пожалуй, и более снисходительно, чем глядит на меня во время моих разглагольствований на медицинские темы наша добрейшая Мария Семёновна, которая вот-вот должна позвать нас в гости, вернувшись с Кавказского побережья, где загорала под нежными лучами осеннего солнца, этого ясного солнца, как будто бы не способного ни на какие коварства.

## КОЕ-ЧТО О КОРНЕЕ ЧУКОВСКОМ

Всё ещё не затихают суетные толки о Корнее Ивановиче Чуковском. Толкуют не о творчестве Чуковского, нет! Но о той окололитературной политической игре, ни пешкой, ни конём, ни королём в которой он никогда не был, потому что он фигура в тысячу крат покрупнее. А главным образом,

сами карлики стремятся через свои карличьи микротелескопики заглянуть в карман монументального мертвеца, чтоб подсчитать, сколько там воображаемых миллионов.

Но там не миллионы, а нечто большее. Он с молодости был превеликим богачом. Не он ли ещё в шестнадцатом году превратил в чистое золото вульгарное бормотание Лиговки и прилегающих к ней переулков. Улица пела: «По улице ходила большая крокодила, она, она зелёная была, увидела француза и хвать его за пузо, она, она зелёная была». А Корней Чуковский, услышав эту довольно идиотскую песенку, превратил её в замечательную поэму-сказку. Она была напечатана в детском приложении к «Ниве», но не только до детей дошла эта сказка. Я-то помню всё это прекрасно, ибо наблюдал за ходом событий ясным детским взором из самой глубины России. Вековая тишина этой глубины российской была прямо-таки нарушена «Крокодилом» Чуковского. Провинциальные умники, адвокаты и педагоги, и даже чиновники многозначительно толковали, что Корней Чуковский под видом детской сказки написал едкую сатиру на петроградского градоначальника князя Васильчикова и вообще придавали этой истории чуть ли не революционный смысл. Это смешновато, но, тем не менее, это факт — какую силу приобретает живое слово, наливаясь смыслом, неожиданным даже и для самого автора.

У Чуковского всегда хватало читателей. Чем он брал? Кого чем конечно. Что же касается меня лично, гимназиста второклассника, не чуждого литературных интересов, то нетрудно представить, почему я предпочитал пустозвоннейшему Айхенвальду, или скучнейшему Овсянико-Куликовскому, или торжественному Венгерову ясного, понятного, живого, остроумного критика Корнея Чуковского. Он писал не для меня, двенадцатилетнего, но именно из его повествований я понял, что такое Сологуб, Андреев, Арцыбашев, Анатолий Каменский и много, много разных других хороших и плохих писателей того времени. То есть я понял, как он к каждому из них относится, что он одобряет и над чем он смеётся, потешается, хохочет до колик.

Правда, философ Асмус в первом томе своего двухтомника, вышедшем в прошлом году почти одновременно с последним томом шеститомника К.Чуковского, утверждает, что Чуковский был одним из тех символистов, которые одновременно с извращением всех оценок русской критики стремились извратить самую русскую литературу. Всё это Асмус писал о Чуковском 1906 года, в статье о символистах, напечатанной в 1937 году, хотя в предисловии к переизданию этого своего труда в 1969 году Асмус всё же счёл нужным оговориться, что-де за два-три десятка лет, протекших со дня опубликования работ, в них обнаружились — в том числе и для их автора — всякого рода ошибки, пробелы, недостатки. «Кое-что в них устарело, — пишет Асмус. — Меньше всего приходилось думать об устранении недостатков, обусловленных конъюнктурными соображениями», которыми-де он, Асмус, «вообще говоря, никогда не руководствовался».

Перечитывая сейчас эти высказывания Асмуса, я вспоминал о том, что впервые встретился с Корнеем Чуковским довольно вскоре, года через два после опубликования вышеупомянутой асмусовской статьи «Философия и эстетика русского символизма». Я не читал этого тома «Литературного наследства» и не знал, что встретился с человеком, стремившимся извратить литературу. Я думал, что встретился с самым моим любимым критиком, от которого я ещё в детстве узнал об очень многом, что произошло в этой литературе «от Чехова до наших дней». Я думал, что передо мной стоит замечательный критик и не просто критик, а критик-художник, разносторонне одаренный художник слова.

Кто-то сказал, что критик — это неудавшийся художник, но это ядовитое замечание относится только к плохим критикам. Настоящий, хороший критик — это удавшийся художник. Разве Белинский — неудавшийся художник? Разве неудавшийся художник Пушкин, в числе прочего и замечательный критик? Корней Чуковский, думал я, принадлежит к числу весьма удавшихся критиков-художников. Это художник слова в полном смысле данного понятия. Что

за прелесть его вступительная статья к марксовскому изданию сочинений Оскара Уайльда! О его стихах и говорить нечего, а его переводы!

Чуковский в тот день как раз читал что-то вроде лекции об искусстве перевода. И по окончании этой лекции я подошёл к нему и высказал вкратце то, что о нём думал. И теперь я догадываюсь, почему он как-то странно посмотрел на меня, как бы не понимая, серьёзно я всё это говорю или с издёвкой, с подвохом.

Ведь он не знал, что я не читал статью Асмуса.

— А почему вы не переведёте «Дон Жуана» Байрона? — спросил я. — Ведь хороших переводов «Дон Жуана» нет. Это можете сделать, я думаю, только вы!

Он ничего не ответил, только улыбнулся. Мы постояли друг против друга и разошлись. И мне кажется, что контактов между нами не наладилось потому, что ему тогда вроде как не поверилось, что посторонний, незнакомый, средних лет моложавый человек в костюме с чужого плеча может к нему в те дни, в те годы столь хорошо относиться. А может быть, я и не прав и, подозрительный, сужу о других по себе. Но как бы то ни было, знакомство наше, — и то заочное, — возникло гораздо позже, в начале, а может быть, и в середине пятидесятых годов через Николая Корнеевича и его жену Марину. С Николаем Корнеевичем меня сблизил Эдгар По, то есть перевод Николаем Корнеевичем «Улялюм», напечатанный однажды в «Звезде». И когда Агнесса с Гидашем взялись за переводы Ш.Петефи, я обратил их внимание на Николая Чуковского как на блестящего переводчика. Об этом мне напомнила недавно Марина. Так мы познакомились и затем сдружились — я и Ниночка с Николаем Корнеевичем и Мариной. Должно быть, оба они и начали толковать Корнею Ивановичу обо мне как переводчике, а потом и поэте. И я думаю, что именно в результате этого и появились в книге Корнея Ивановича «Высокое искусство» весьма доброжелательные, но похожие на ворчливо-назидательную беседу старца с младенцем страницы обо мне, грешном. Я говорил в стихотворении «Искусство перево-

да», что как бы точно я ни перевёл того или иного поэта, всё равно критики скажут, что я вношу отсебятину, модернизирую, «вливаю в чужую скорбь своё негодованье» и т.п., но переводимые поэты мне отвечали: не смущайся, и нас обвиняли в том же самом, от себя никуда не уйдёшь!

Корней же Иванович понял так, как будто бы я возвожу отсебятину в принцип, хотя декларирую всё это из каприза, так как на самом деле перевожу очень хорошо и точно. В общем же, мне кажется, что Чуковский и сам не верил, будто я так думаю, как он изобразил, но понимал, что я, друг и ровесник его Коли, не обижусь на его гиперболы для красного словца, и в этом он не ошибся — я ничуть не обиделся и, наоборот, был очень рад, что стал одним из персонажей его блестящих, талантливых, то трагических, то комических новелл из жизни писательской. Так я и сказал Николаю Корнеевичу и Марине, с которыми нас связывала уже довольно тесная дружба. Николай Корнеевич ничего не ответил, но улыбнулся той же самой улыбкой, какой, я помню, улыбнулся Корней Иванович, когда я сказал ему о «Дон Жуане». Николай Корнеевич улыбнулся как бы наследственной улыбкой. Вообще-то он как будто мало был чем похож на своего отца, но никак нельзя сказать, что был и ничем не похож на него, в чём меня вскоре убедил следующий случай, довольно-таки удивительный. Дело было в Коктебеле, час норд-оста изваял на Карадаге профиль Волошина и на соседней горе профиль лежащего Пушкина. Там, в Коктебеле, Николай Корнеевич, зная моё пристрастие к камням, однажды объявил мне, что он нашёл на мужском пляже камень — самого себя, камень-скульптуру, камень-портрет.

— Прямо вылитый я, — сказал Николай Корнеевич. — Но, знаете, я его потерял. Там же на пляже, у решётки, где купаюсь.

Я хорошо знал, где он купается, и, выругав его за невнимание к самому себе, за разгильдяйство, тотчас же пошёл искать камень. Я долго ничего не находил. Но вдруг я увидел, что из груды гальки выглядывает профиль не Николая Корнеевича, а Корнея Ивановича Чуковского. «Это другой

камень такой же породы, — сказал себе я. — Видно, Чёрное море не забывает и Чуковских!» — и, схватив камень, пошёл искать Николая Корнеевича. Молча протянул я ему находку.

— Да, это вроде как я, — нерешительно сказал он. — Но, извините, это совсем другой камень.

— Конечно! Это не вы, а Корней Иванович!

— Да, да! В самом деле, — ответил Николай Корнеевич, — это отцовский профиль!

Однако присмотревшись внимательней, я понял, что камень похож не только на отца, но и на сына. Может быть, так же бывает и в жизни, подумал я, то мы походим на себя, то на отцов и дедов, на которых как будто бы и вовсе не походим, то они походят на нас, несмотря на несходство.

Куда девали этот удивительный камень, я так и не знаю. Кажется, я всё-таки подарил его Николаю Корнеевичу, и он, может быть, вновь его потерял, как и свою находку.

Всё это было месяца за три до скоропостижной смерти Николая Чуковского. И это печальное событие в какой-то степени сблизило меня с Корнеем Ивановичем. То есть мы не виделись с ним, как и до той поры (вообще мы виделись лишь однажды в жизни, тогда, в 1939 году), но я написал небольшое предисловие к книжке переводов Николая Корнеевича, обрисовав его как поэта и человека, человека полёта, больше всего любившего летать и писавшего о лётчиках и переводившего чужие стихи, главным образом о полёте людей или демонов. Это предисловие, которое, кстати сказать, не увидело света,[7] понравилось Корнею Ивановичу, и он прислал мне письмо через Марину, от которой потом мы и узнали, как живёт старый Корней Иванович Чуковский, дед, прадед и прапрадед многочисленного потомства, как он, перенёсший столько утрат — сначала сына Бориса, затем жены, затем Николая, — убитый, но не сломленный этими утратами, продолжает жить, работать с необыкновенной энергией, заставляющей удивляться. Обо всём этом расскажут те, кто в это время был с ним. Но и нам было совершенно ясно,

---

[7] Певец полета // Вопр. литературы. 1979. № 6. С. 214—216.

что волнений больших и малых более чем хватало. И кого другого, а не Корнея Чуковского, эти волнения могли бы сто раз уложить в могилу. Бури житейские обрушивались на Корнея Ивановича не с меньшей, а, конечно, в тысячу раз большей яростью, чем волны морские на тот черноморский камень, похожий на Чуковского своим вулканически лепким лицом. Подумать только — тревоги, болезни, всё прогрессирующие, заставляющие его то и дело перемещаться с переделкинской дачи в кунцевскую лечебницу под наблюдение медицинских светил, а он работал и там, писал и писал, писал то, что мы ещё прочтём, а при этом находил силу интересоваться новыми книгами, как, например, книгой об открытии Америки викингами, либо, обложившись картами, прослеживать путь героя романа Алехо Карпентьера «Век просвещения» по Антильским островам. Эти книги, данные мной Марине, она читала ему вслух, потому-то я и знаю, что он знакомился с ними, а уж только Марина знает, что ещё он читал в последние два года своей жизни, она-то уж расскажет и об этом, да и о многом ещё. Вообще, насколько я понимаю, за последние годы, во всяком случае после смерти Николая Корнеевича, Марина старалась не упускать Корнея Ивановича из поля зрения, угадывая чутьём, когда надо появиться в Переделкине и с чем туда появиться, и как долго там оставаться, чтоб оставаться радостью для очень всё же старого, очень всё же удручённого и очень в то же время увлечённого своим магическим трудом человека, старающегося, чтоб ни одна минута из немногих уже остающихся дней его жизни не прошла зря. А ведь это так трудно, даже при наличии секретарей. Один телефон чего стоит: «Кто говорит? — Слон! — Что вам надо? — Шоколада!»

Я далёк от мысли, что одна только эта сноха опекала патриарха. Ясно, что в этом не менее горячо участвовали и многие другие члены семьи, и секретарь, и секретариат, и многочисленные друзья. Но мне кажется, что Корнея Ивановича и Марину не могло не объединять чувство самой недавней потери — им сына, ею мужа. Как бы то ни было, Марина первая забила тревогу. Мне это представля-

ется так: приехав в очередной раз в Переделкино, Марина ясней других заметила: дерево жизни внезапно и непоправимо пожелтело. Так желтеют листья накануне отлёта. «Мне не нравится цвет его лица!» — сказала нам Марина по телефону числа двадцатого.

Корней Иванович слёг. Но это было не старческое недомогание. Это была просто желтуха.

Двадцать седьмого вечером, заглянув в «Известия», я прочёл набранную нонпарелью заметку, что с Прибалтики на восток идёт ураган. Двадцать восьмого знаменитый русский писатель кавалер ордена Ленина и ордена Красного Знамени, почётный доктор литературы Оксфордского университета Корней Иванович Чуковский был мёртв. Тридцатого в «Комсомольской правде» рядом с прочувствованным некрологом Льва Кассиля я увидел информацию «Ураган на Кубани».

«Потух свет в окошке переделкинской дачи, белеющей рядом с детской библиотекой, которую на свои средства построил и основал в Переделкино К.И.Чуковский», — читал я в некрологе, а в глаза лезли другие строчки рядом. В сообщении из Краснодара говорилось, что от урагана в разных концах города вспыхнули пожары, ураган налетел неожиданно, циклон зародился западнее Англии, прошёл по Европе и затем со стороны Азовского моря буквально взорвался над Краснодарским краем. Невероятный шторм с моря вызвал прилив на прибрежную зону. Особое бедствие обрушилось на Темрюкский район. Ветер со скоростью свыше тридцати метров в секунду и наводнение внезапно ударили по посёлкам Чайкино, Вербина, Перекопка. Дома скрылись под водой.

Сообщение это было от 29 октября, то есть на другой день после бури, когда уж над затопленными селениями кружились вертолёты.

Прочтя об этом, да ещё и о землетрясении, потрясшем Югославию в те же дни, я не мог не подумать о некоей взаимосвязи всего этого. Я вспомнил пылевые вихри в медном от солнечного затмения небе в день смерти Максима

Горького. Вспомнил и ряд летописных известий о знамениях небесных и бурных явлениях природы в день, в час смерти могучих людей. Конечно, вернее всего то, что грозы, бури, и всяческие барометрические перепады и ускоряют гибель тяжело больных, чья жизнь и так уж висит на ниточке. Но факт остаётся фактом: под гром небесный, под рёв циклона, прилетевшего откуда-то из-за Англии, ушёл из жизни лауреат, кавалер орденов, почётный доктор Оксфордского университета Корней Иванович Чуковский.

И я подумал, что если бы он вдруг воскрес и увидел, что я пишу сию минуту, он бы тоже немедленно схватился за перо и начертал бы нечто вроде того, что Леонид Мартынов, в сущности, очень неплохой поэт, недурно написавший поэмы о Бальмонте и Кольцове, берётся не за своё дело, пытаясь писать прозу, и наворотил всякой мистики, совершенно не имеющей отношения к предмету своего повествования. А я бы, смеясь от радости, что Корней Иванович воскрес, твердил бы, что так, и так оно и бывает! Я бы повторил: конечно же ни Корней Иванович, ни Алексей Максимович не породили ни бурь, ни солнечных затмений, скорее наоборот — бури, и грозы, и землетрясения ускорили их путь к могиле. Факт остаётся фактом. И никакое благорастворенье воздухов не вернёт нам Корнея Ивановича, да и нет в природе никакого благорастворенья, атмосфера столь насыщенна, что кажется, сама телефонная трубка прыгает на аппарате.

— Кто говорит? — Слон! — Откуда? — От верблюда!

## «...ТАК МНОГО ЕЩЁ НЕИЗВЕСТНО МНЕ...»

«...Читаю Асмуса и думаю: на радость либо на беду мою так много ещё неизвестно мне, такие книги интересные, прочёл и о Толстом и Гёте я, и понял я, в чём их трагедия, как ошибались весь свой век они...

А главное, прочёл о Бэконе.

О, противоречивый лик его, антисхоласта превеликого...»

Четыре предыдущих страницы заполнены стихами, которые мешают мне писать прозу, стихами, которых фактически нет, то есть намечаются только их планы, и неизвестно, будут ли эти стихи написаны, но эти стихи не давали мне в течение недели написать никакой следующей главы воспоминаний. Это стихи о Бэконе, Фрэнсисе Бэконе, о жизни которого я знаю недостаточно, чтоб сделать скелетом задуманного стихотворения.

Я и думать никогда не думал о Бэконе, и он меня нисколько не интересовал до тех пор, пока на позапрошлой неделе я не купил книги умного старого философа Асмуса. Я прочёл её всю и о Лермонтове, и о Гёте, и статью о символистах, и о Толстом, и, наконец, прочёл увлёкшую меня статью о Фрэнсисе Бэконе...

Итак, я решил написать поэму о нём. Приступив, я, прежде всего, обнаружил, что я очень мало знаю и мне придётся прочесть массу книг, что я едва ли осуществлю, так как занят текущими делами, но всё-таки даже сегодня я заглянул в кое-какие источники.

Я хочу написать как можно кратче и выразительнее портрет этого англичанина, современника Шекспира и Ивана Грозного, человека, который периодически ходил в «Глобус», учёного, критиковавшего Аристотеля и склонившегося к учению Демокрита и вообще атомистов, столпа учёности и в то же время столпа законности, лорда-канцлера — антидогматика, антисхоласта, написавшего «Новый Органон», чтобы поколебать среди английских схоластов авторитет Аристотеля; атомиста — высоко чтившего Демокрита, Эпикура, Лукреция и в то же время — человека, предавшего своего покровителя лорда Эссекса, выступая в качестве обвинителя на его процессе, а затем, по собственному признанию, торговавшего правосудием. Правда, король Яков отменил решение палаты лордов заключить Бэкона в Тауэр, и Бэкон, написав «Новую Атлантиду», мирно умер в своём поместье...

Но всё-таки как это может быть, неужели гений и злодейство совместимы? А может быть, он был оболган и по-

ставлен в такие условия, что принял на себя несправедливые обвинения? Ведь бывало и так. Не повторилась ли тут трагедия других времён?

И как я пожалел, что так мало знаю, что не могу ответить на этот вопрос хотя бы себе. О, для этого надо перерыть горы книг! Но выяснить истину необходимо!..

...Меня утешило лишь одно: из прочтённых источников я узнал не больше, чем знал до этого. И этим обрадованный, я, как бы целиком доверившись интуиции, снова схватил перо, чтобы продолжить стихотворное повествование об этом многогрешном современнике Шекспира и Ивана Грозного.

Да и в самом деле, не так ли, очертя голову, что-то зная, чего-то не зная, о чём-то догадываясь, я писал и «Увенькая», и «Тобольского летописца», руководствуясь мудро-немудрым правилом: семь раз отрежь — один отмерь! Ведь я же не торговец мануфактурой, а свободный художник! Будь что будет! Навру — исправлю. В конце концов, гораздо труднее, чем нарисовать правильную, достоверную, как в Художественном театре, картину эпохи, — придумать, верней, неожиданно создать новую верную рифму к необходимому для повествования слову «зеркальце».

«Человеческий разум, — говорил Бэкон, — подобен плохо отшлифованному шершавому зеркалу, отражающему идолы и идолки (идола)».

Итак: «...а также идольчики рода есть, и все они дрожат, уродуясь, как будто бы шершавым зеркальцем, умом нехитрым человеческим, в чём и винить, конечно, некого. Философическим кольцом они и окружили Бэкона».

Вот в чём суть, в идолах. Ведь он, торгуя правосудием, стал этих идолов орудием? Хотя я как будто бы пришёл к пониманию его психологии, передо мной проясняется облик Бэкона, окружённого идолами, видимыми и невидимыми. И конечно же, важнее всего, руководствуясь писаниями самого Бэкона, установить свойство этих идолов.

Я не знаю, что выйдет из поэмы, но рождается она именно так. Маркс говорил, что Бэкон великий материалист, но всё-таки находится в плену теологии.

Но как бы то ни было, я всё-таки пытаюсь написать поэму о Бэконе, как он предавал, а может быть, и не предавал графа Эссекса, как признавался в торговле правосудием, а может быть, и не торговал им, и как он всё-таки написал великолепную утопию «Новая Атлантида». Тут уж никак не скажешь, что он её не написал. Он написал её. И то, что написано пером, как известно, не вырубишь топором, что и требуется доказать! В наши дни — не дни Шекспира и не дни Иоанна Грозного».

## ФРЭНСИС БЭКОН
*(элегия)*

**1**

Я снова думаю о Бэконе.
Перед рассветом затуманенным
Мне петухи прокукарекали, что сталось с этим
англичанином,
Который был столпом учёности, а также и столпо
законности,
Но в силу тёмной обречённости сам оказался
оболваненным.
И вовсе не для издевательства употребляю это слово я,
А так сложились обстоятельства, — увы, история
не новая.

**2**

Итак,
Что приключилось с Бэконом?
Был просвещённым человеком он, начитанным
и обстоятельным,
Противником мышленья косного и современником
блистательным

Шекспира и Ивана Грозного... о, времена известны эти нам!
И при дворе Елисаветином всё явственнее был заметен он,
А чуть попозже, при Иакове, был почестей осыпан знаками
И многие носил он титулы.
Но горе: не дремали идолы!

**3**

О, эти идолчики, идолы!
Конечно, не из камня выдолбил
Он эти видики, виденьица, чья мнимость плетью
не оденется,
Но всё же и не эфемерные!
И Фрэнсис Бэкон знал наверное: есть идолчики пещерные,
Платоновские, идеальные; есть идолчики театральные,
А также идолчики Форума, вернее — торжища, с которого
Расчётом веяло купеческим, а также идолчики рода есть —
И все они дрожат, уродуясь умом нехитрым человеческим,
Отображаясь исковерканно, как будто бы шершавым
зеркалом.
Они и окружили Бэкона философических химер кольцом.
И это не был бред мечтателя, а въявь мировоззренье целое.
И я для русского читателя такое поясненье сделаю,
Что греческое слово «идола», каких бы свойств ему
не придано
В софистике или пиитике, откуда бы оно ни вытеки, —
Звучать должно по-русски «видики», подобно
«образикам», «призрачкам»,
Виденьицам каким-то маленьким, поймай которые, зрачком,
Насколько можно не уродуя своею жалкою природою,
Всё искажающей отчаянно, в чём и винить, конечно, некого.

**4**

И вижу Фрэнсиса я Бэкона, премудрейшего англичанина:
На шляпе будто бы аршинное перо, как будто петушиное,
Одежда — что-то вроде панциря с регалиями
лорда-канцлера.

Всё это зримо, осязательно, смотреть нельзя,
не позавидовав,
И, можно думать, что про идолов он говорил
иносказательно.
Юрист, закона страж сурового, советник королевский,
правая
Рука монарха, венчан славою, он, автор «Органона Нового»,
Критиковавший Аристотеля, он чтил ученье демокритово,
Но злобы дня его заботили, он общество перевоспитывал.
И чтоб оно себе представило морали кой-какие правила,
Хоть как-нибудь себе составило, что нравственно
и что безнравственно.
Возможно, что и видел явственно он идолов,как Лютер
дьявола,
Но Лютер разгадал Лукавого, и, с чёртом долго не беседуя,
Он запустил в него чернильницей, — и дело кончилось
победою.
А Бэкон, сам того не ведая, во что и как всё это выльется,
Твердил, что сами эти идолы, пространство населив
эвклидово,
Порой достойны уважения, но их кривое отражение
В людском шершавом грубом разуме — не более
чем искажение.
И делу не помочь указами, приказами или наказами,
А надо воли напряжение...
Так Бэкон с простодушьем гения
Учил людей не быть безглазыми!
О человече, в явь впери зрачки, дабы увидеть не видения,
Не только видики и призрачки, но мир в эпоху Возрождения
И становления Империи, всё расширяемой британцами
За счёт Испании и Франции! — так звал мыслитель
в шляпе с перьями
И в одеянье вроде панциря с регалиями лорда-канцлера!

**5**

Но как же, став лордом-хранителем
Печати, будучи гонителем невежества средневекового,

Мыслитель, страж порядка нового, равняемый почти
с пророками,
Был обвинён он в том, что гадкими
Он осквернил себя пороками, не брезгуя простыми взятками!
Те времена уже далекими нам стали и полны загадками.
Как вдоволь поиронизировав над тьмой схоластики
и мистики,
Последователь атомистики, он, мудрый зритель драм
шекспировых,
Он мерзким стряпчим не завидовал, скользнул в пучину зла
бездонную?
Увы, о том не расспросить его,
Но коль связать с пристрастьем к идолам его деянья
беззаконные,
То он соприкоснулся, видимо, с ужасным идолом Мамоною.
Но только вот попробуй, выясни, как стал Мамоны он
орудием.
И лорды приговор свой вынесли: торгует Бэкон правосудием.
Иль въявь он соблазнился всякими
Пажами, гончими собаками, мехами севера морозного
Из царства Иоанна Грозного, иль потерялся он при виде лиц
Каких-нибудь роскошных идолиц и, деньги тратящая бешено,
Тут женщина была замешана... Не знаю. Всё это завешено
Темнейшим пологом незнания.
А может быть, ушёл в изгнание сэр Фрэнсис Бэкон
оклеветанным.
Но как проверить нынче это нам? Есть налицо его признание,
Хоть и известны сказки дней иных, что в преступленьях
не содеянных
Невинные публично каялись, коль правдой жизнь спасти
отчаялись.
Так диктовала явь суровая, когда виновны стали правые.

**6**

Но как бы ни было, а в Тауэр немедленно на всё готовое,
Вплоть до оков, что мерзко брякали, он не усажен был
при Иакове,

А вынести позор бесчестия и горько каясь перед гордыми
Высокомернейшими лордами, он сослан был в своё поместие,
Где кончил жизнь свою печальную под королевскою эгидою,
Как песнею своей прощальною даря нас
«Новой Атлантидою» —
Поэмою о царстве разума, в котором было не отказано
Ему Всевышним Провидением.

Я, разбирая всё, что связано с его
позорным осуждением,
Готов глядеть с предубеждением
на эту женщину угрюмую,
Фемиду, чьи глаза завязаны,
и что ни день, то пуще думаю:
Совместно ли злодейство с гением?

## ХРОНИКА ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА ЛЕОНИДА НИКОЛАЕВИЧА МАРТЫНОВА

**1905**

9 мая (22 по н.с.) родился в Омске. Родители отец Николай Иванович Мартынов — техник путей сообщения и гидротехник. Мать Мария Григорьевна (урождённая Збарская) — дочь военного инженера, учительница. Раннее детство провёл на Великом Сибирском железнодорожном пути в служебном вагоне отца.

**1915**

Осенью был определён в приготовительный класс Первой омской мужской классической гимназии, куда поступил разнообразно и широко начитанным мальчиком. Здесь же учился и его старший брат Николай.

**1921**

Весной Мартынов вышел из пятого класса, к этому времени уже советской школы, решив жить литературным трудом. Дебютировал в печати стихами «Мы — футуристы невольные...» и Эстрадное («Зацелованный футурист...»), напечатанными в сборнике «Футуристы», изданном в походной типографии агитпарохода «III Интернационал».

**1922**

Начинают появляться его стихи в ведомственных газетках «Сибирский водник», «Сибирский гудок», «Сигнал», омской газете «Рабочий путь», где он работал хроникёром, писал библиографические заметки и даже рецензии.

В Омске создано новое литобъединение — «Артель поэтов и писателей», активным и самым молодым членом которой был Мартынов. 18 июня Г. Вяткин в статье «Итоги работы Литартели» («Рабочий путь» № 135) писал: «Наиболее интересным из левой молодёжи является Леонид Мартынов, поэт ещё очень юный и

шаткий, находящийся под сильным влиянием Маяковского и имажинистов, но, несомненно, даровитый, с проблесками определённой самостоятельности».

В Омске выходит второй номер журнала «Искусство», в котором напечатан цикл стихотворений Л. Мартынова «Moulin Rouge»: «Это начало поэмы встало в душе колом...», «Мы — футуристы невольные...», «Пьеро, Пьеро, манерный плакса...».

**1923**

С 1923 г. в журнале «Сибирские огни» и газете «Советская Сибирь» (Новосибирск) печатаются стихи Леонида Мартынова.

**1924**

В № 5 «Сибирских огней» напечатана поэма «Адмиральский час».

**1926**

21 марта в Новосибирске открылся первый сибирский съезд писателей. В секретариат съезда вошёл Л. Мартынов, он также был в составе 27 делегатов с правом решающего голоса. На первом сибирском съезде писателей В. Итин говорил: «О Леониде Мартынове в противоположность Уткину ничего не написано, кроме трёх-четырёх ругательных заметок, но сибирские поэты, литераторы, все, стоящие близко к сибирской литературе, единогласно признают его сибирское первенство. Мартынов прежде всего интересен. Это самый читаемый из сибирских поэтов. Редкую книгу стихов можно выпить залпом. Мартынова глотаешь, как устрицу».

**1927**

3 апреля в газете «Рабочий путь (Омск) опубликована «Литературная страница», в ней напечатаны стихи Л. Мартынова «Нежность» и его же статья «Отставшие» о журнале «Искусство» № 2, 1922 (Омск) о стихах А. Оленича-Гнененко, Николая Калмыкова и Георгия Маслова. Там же помещён коллективный портрет: Омское отделение сибирского союза писателей. Слева направо: Драверт, Никитин, Мартынов, Чертова, Минин, Сорокин.

23 апреля в газете «Рабочий путь» напечатано стихотворение «Писатель» («Писатель слов и сочинитель фраз...»). Там же статья Вивиана Итина «Новый Джек» (О Леониде Мартынове).

Летом Мартынов вместе с другом Вивианом Итиным ездил в Ленинград. «Я вздумал поступать в университет и заявился к Богоразу-Тану, чтобы он принял меня без экзаменов на географический факультет. Я предъявил вместо справки об окончании средней школы свои стихи, но мудрый Богораз-Тан, прослушав их и одобрив, сказал мне, что, пожалуй, будет удобнее и для меня и для университета, если я буду пополнять свои знания путём самообразования». («Звезда». 1973, № 7 // Леонид Мартынов «Рисунок на берёсте»). Редактор вечерней «Красной газеты» Чагин напечатал несколько очерков Мартынова, а Николай Тихонов, бывший редактором «Звезды», напечатал стихотворение «Корреспондент».

Становится специальным корреспондентом «Сибирских огней» и газеты «Советская Сибирь» (Новосибирск), где печатаются его очерки, явившиеся результатом поездок по Казахстану и трассе строящегося Турксиба.

**1930**

В московском издательстве «Федерация» вышла книга очерков «Грубый корм», в неё вошли очерки о Прииртышье, Алтае и Казахстане, написанные в 1927—1929 годах.

**1932**

Знакомится с Ниной Анатольевной Поповой, ставшей его первой женой.

2 июля Леонид Мартынов был осуждён Особым Совещанием при Коллегии бывш. ОГПУ по ст. 58—10 УК по так называемому «Делу сибирской бригады» к высылке на три года; отбывал «эту меру соцзащиты в г. Вологде Северного края».

В 1932—1935 гг. Л. Мартынов работает в вологодской газете «Красный Север» хроникёром, подписывая свои заметки псевдонимами: Леонидов, М. Леонидов, Л., Л.М. и только некоторые стихотворения подписывал Леонид Мартынов. Появляются его статьи и в архангельской газете «Правда Севера».

**1935**

19 марта освобождён «по отбытии меры соцзащиты» от административной высылки в Вологду. (Реабилитирован Прокуратурой СССР 17 апреля 1989 г.)

В сентябре возвращается в Омск и начинает сотрудничать в газетах «Омская правда», «Молодой большевик», где печатает свои стихи и заметки.

**1936**

27 декабря зачислен в редакцию газеты «Омская правда» в качестве литконсультанта.

**1939**

В первой книге «Омского альманаха» напечатаны стихи «Баллада о русском инженере» и «Северная быль», в № 3 «Сибирских огней» поэма «Рассказ про Федьку-варнака и про Ильюшку-ямщика» (первая редакция «Тобольского летописца»).

В Омском областном книжном издательстве выходит первая поэтическая книга «Стихи и поэмы».

10 июля в «Литературной газете» напечатана рецензия К. Симонова «Три поэмы» на эту книгу.

3 сентября в газете «Вечерняя Москва» напечатана рецензия А. Ильичёва «Дебют поэта» на книгу «Стихи и поэмы» (Омск, 1939), где говорится: «Дебют Л. Мартынова — замечательное явление. Оно показывает, что в советскую литературу идут новые люди... Дебют Мартынова мог бы, впрочем, вогнать в краску стыда некоторых работников московских издательств. Известно, что одна из поэм Мартынова — «Повесть об Увенькае» — долго покоилась в канцелярском склепе сектора поэзии Гослитиздата. Некий «редактор на час» скучно бормотал что-то о «сырости» и «недоработанности» поэмы. Потом оказалось, что поэтически замечательными являются как раз те места, которые незадачливый ценитель зачёркивал... Известно также и то, что книга Мартынова больше года скиталась по издательству «Советский писатель» и редакторы издательства, терзаемые сомнениями, гадали: издавать или не издавать?.. Талантливость Мартынова несомненна... Он в совершенстве владеет сюжетом... Поэмы Л. Мартынова глубоко патриотичны... Мартынов талант не только эпический, но и лирический. И несомненно в этом ключ к объяснению того обаяния, которое отличает его произведения».

С 10 ноября по 10 декабря был участником курсов-конференции писателей РСФСР в Москве. В клубе писателей прохо-

дили поэтические вечера. Мартынов читал свою новую поэмы «Искатель рая».

**1940**

В Москве в издательстве «Советский писатель» и в Омском книжном издательстве почти одновременно вышли книги «Поэмы».

**1941**

В газете «Омская правда» регулярно печатает стихи и заметки на военную тему. Эти стихи составили книгу «За Родину» (1941 г.).

**1942**

В Омском книжном издательстве выходит книга стихов «Мы придём».

5 августа Л.Н. Мартынов принят в Союз советских писателей.

В Омском книжном издательстве вышла брошюра «Вперёд, за наше Лукоморье!» Она включает статью Л. Мартынова «Лукоморье», опубликованную в газете «Красная звезда» 16 сентября и отклики на неё сибиряков-фронтовиков.

Осенью в Омске появилась выездная редакция «Комсомольской правды», издававшая небольшой листок «Хлеб — фронту», в ней постоянно принимал участие Л. Мартынов, публикуя стихи на злободневные темы.

**1943**

В конце июня в Москве в клубе писателей состоялся творческий вечер Л. Мартынова, он читал стихи и поэмы из подготовленной книги «Лукоморье», написанные во время войны.

В июле Мартынов был в командировке в Осташевском районе Московской области с заездом в Волоколамск, Рузу, Можайск, в места, освобождённые от немцев.

В сентябре был призван в Омское пехотное училище. За время учёбы в училище несколько раз лежал в госпитале, по болезни был освобождён от военной службы. Написал очерки по истории училища, частично публиковавшиеся в «Красноармейской звезде».

**1945**

В издательстве «Советский писатель» вышла книга стихов «Лукоморье».

15 марта в Москве в Колонном зале Дома Союзов состоялся вечер лирики. Среди выступавших поэтов Леонид Мартынов.

В Омском книжном издательстве вышла прозаическая книга «Повесть о Тобольском воеводстве».

**1946**

В феврале Мартынов переезжает в Москву.

В Омском издательстве вышла книга стихов «Эрцинский лес». Книга подверглась несправедливой и разносной критике. Рецензии появились в Москве и Омске. Тираж пошёл под нож, сохранились лишь единичные экземпляры книги, однако стихи из этой книги впоследствии многократно перепечатывались в различных изданиях.

Последующие девять лет Мартынова не печатали. Он продолжал писать стихи «в стол», а на жизнь стал зарабатывать переводами поэтов разных стран и своей страны.

**1949**

За переводы классиков венгерской поэзии награждён венгерским орденом Серебряный крест, который позже был заменён на орден Труда с рубинами.

**1955**

50-летие Мартынова молодые поэты отметили вечером в клубе писателей.

В конце года вышла книга Леонида Мартынова «Стихи» («Молодая гвардия») тиражом 5 тыс. экземпляров, она моментально исчезла из продажи. Многие стихотворения были переведены на иностранные языки. В 1957 году книга была переиздана и с этого времени Мартынова регулярно печатали.

**1958**

Вышла книга стихов «Лирика» («Советский писатель»).

**1961**

Вышла книга «Стихотворения» («Художественная литература», сер. «Библиотека советской поэзии»).

**1962**

Вышла «Новая книга» («Московский рабочий»).

**1964**

Вышла книга «Поэты разных стран». Стихи зарубежных поэтов в переводе Леонида Мартынова («Прогресс»).

Вышла книга Имре Мадача «Трагедия человека». Перевод с венгерского Л. Мартынова (М.: «Искусство»).

Награждён венгерским орденом Серебряная звезда.

Вышла книга стихов «Первородство» (М.: «Молодая гвардия»).

Вышел двухтомник «Стихотворения и поэмы» (М.: «Художественная литература»).

Награждён орденом Трудового Красного Знамени.

Поездка в Италию на встречу с итальянскими поэтами в Риме. 19 ноября в Париже в зале «Матюалите» состоялась встреча русской поэзии с Парижем. Поводом встречи послужил выход в свет антологии русской поэзии от Ломоносова до наших дней. Присутствовала делегация советских поэтов, произведения которых включены в антологию, в том числе Мартынов.

**1966**

Удостоен Государственной премии РСФСР имени Горького за книгу стихов «Первородство».

Вышла книга стихов «Голос природы» («Советский писатель»).

Принимал участие в Днях поэзии в Венгрии.

**1967**

26 ноября в Москве в концертном зале им. Чайковского состоялся концерт чтеца Бориса Моргунова. Артист читал стихи Л. Мартынова.

Вышла книга стихов «Людские имена» («Молодая гвардия»).

Вышла книга А. Никулькова «Леонид Мартынов». Серия «Литературные портреты».// Новосибирск: Зап. Сиб. кн. изд-во.

Награждён венгерским орденом Золотая звезда.

**1971**

Вышла книга В. Дементьева «Леонид Мартынов. Поэт и время» (М.: «Советский писатель»).

Награждён вторым орденом Трудового Красного Знамени.

**1972**

Вышла книга стихов «Гиперболы» (М.: «Современник»).

Вышла книга стихов «Во-первых, во-вторых и в-третьих» (М.: «Молодая гвардия»).

**1974**

Удостоен Государственной премией СССР за сборник стихов «Гиперболы».

Вышла книга новелл «Воздушные фрегаты» («М.: «Современник»).

**1975**

Вышел сборник стихотворений Эндре Ади в переводе Л. Мартынова (М,: «Художественная литература»).

Вышла книга прозы «Пути поэзии» (М.: «Советская Россия»).

Награждён третьим орденом Трудового Красного Знамени.

**1976**

Вышла книга стихов «Земная ноша» (М.: «Современник»).

Награждён болгарским орденом Кирилла и Мефодия I степени.

**1976—77**

Вышло трёхтомное собрание сочинений (М.: «Художественная литература»).

**1979**

Вышла книга стихов «Узел бурь» (М.: «Современник»).

20 августа умерла первая жена Попова Нина Анатольевна.

В декабре женился на Галине Алексеевне Суховой.

**1980**

Сдана в издательство «Советский писатель» книга новых стихов «Золотой запас», вышедшая уже после смерти в 1981 году.

21 июня умер в Москве, похоронен на Востряковском кладбище.

**После смерти Леонида Мартынова вышли следующие книги его произведений:**

- «Золотой запас»: Книга стихов. М.: «Советский писатель», 1981.
- «Черты сходства»: Новеллы. М.: «Современник», 1982.
- «Река Тишина»: Стихотворения и поэмы. 1919—1936. М.: «Молодая гвардия», 1983 (сер. «В молодые годы»).
- «Стихотворения». М.: «Советская Россия», 1985 (сер. «Поэтическая Россия»)
- «Стихотворения и поэмы». М.: «Современник», 1985 (сер. Б-ка поэзии «Россия»).
- «Стихотворения и поэмы». Л.: «Советский писатель», 1986 (Б-ка поэта. Большая сер.).
- «Избранные произведения» в 2-х томах. М.: «Худож. лит-ра», 1990.
- «Дух творчества». М.: «Русская книга», 2000.
- «У дверей вечности». М.: «ЭКСМО-Пресс», 2000.
- «Буря календарь листала...». М.: «Молодая гвардия», 2005 (сер. Библиотека лирической поэзии «Золотой жираф»).
- В 1989 году вышла книга «Воспоминания о Леониде Мартынове». Сборник. М.: «Советский писатель».

## ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

В книгу вошли стихотворения и проза из архива русского поэта Леонида Николаевича Мартынова (1905—1980). Стихи эти, написанные в разные годы, не датированы автором. Бо́льшая их часть при жизни автора не печаталась, лишь немногие (85) были опубликованы в периодической печати. Основная часть стихотворений (235) на протяжении четверти века после смерти автора печаталась в различных периодических изданиях Москвы, Ленинграда, Новосибирска, Красноярска, Омска, часть из них в 2000 и 2005 годах была помещена в поэтические книги «Дух творчества» (М.: «Русская книга»), «У дверей вечности» (М.: «ЭКСМО-Пресс»), «Буря календарь листала...» (М.: «Молодая гвардия», серия Библиотека лирической поэзии «Золотой жираф»). Двенадцать стихотворений публикуются впервые, в оглавлении они обозначены звездочкой перед заглавием. Также впервые публикуется поэма «Художница», с авторской датой.

За рамками прижизненных и посмертных книг Мартынова осталось ещё довольно много стихотворений. Это и стихи, написанные в молодые годы, но не попавшие в книгу «Река Тишина», составленную из стихотворений, созданных до 30 лет. Это и часть стихотворений, прошедших первичную публикацию в периодической печати при жизни автора или после его смерти. В архиве также имеются стихотворения, ранее не публиковавшиеся; архив ещё до конца не разобран.

Книга мемуарной прозы была задумана Мартыновым как единое произведение и написана в конце 1960-1970 годах. Однако время не позволило напечатать все главы одновременно, многие по цензурным соображениям, поэтому последовательность глав нарушилась. Первая книга воспоминаний «Воздушные фрегаты» вышла в 1974 году (М.: «Современник») при жизни автора, вторая — «Черты сходства» (М.: «Современник», 1982) — после его смерти. В данную книгу вошли остальные новеллы-воспомина-

ния. Почти все они (кроме отмеченных в оглавлении звездочкой) печатались в периодике уже после смерти автора.

В книге публикуется подборка рисунков Мартынова. Они взяты из хранящегося в архиве поэта альбома, в который вклеены рисунки, сделанные в разные годы. В некоторых рисунках узнаются темы его стихотворений или новелл. Рисунки Мартынов делал на любых листочках, картонках, но никогда на рукописях стихов.

Композиция книги представляется составителям беседой с поэтом на разные темы. В книгу помещены стихотворения, наиболее созвучные данному моменту времени.

# Содержание



## *Приметы вечности*



* Здесь и далее звёздочкой указаны произведения, публикуемые впервые, остальные публиковались в периодической печати, некоторые — в книгах стихов в 2000 и 2005 гг.

## *«Исчезли все сомнения мои...»*

## *Загадка недр*

## *Бог поэзии*

## *«Мы всё обратно вечности вернём...»*

## *Стоглав*

*Литературно-художественное издание*

**Мартынов** Леонид Николаевич

# ДАР БУДУЩЕМУ

Стихи и воспоминания

Составители
*Г.А. Сухова-Мартынова, Л.В. Сухова*
Разработка оформления, верстка,
подготовка к печати — *Г.Н. Фадеев*
Корректор *С.И. Смирнова*

ООО «Издательство «Вече 2000»
ЗАО «Издательство «Вече»
ООО «Издательский дом «Вече»
129348, Москва, ул. Красной Сосны, 24.
E-mail: veche@veche.ru
http://www.veche.ru

Гигиенический сертификат
№ 77.99.02.953.Д.008287.1205. от 08.12.2005 г.

Подписано в печать 20.12.2007. Формат 84×108 1/32.
Гарнитура «SvetlanaC». Печать офсетная. Бумага офсетная.
Печ. л. 21. Тираж 1000 экз. Заказ 121.

Отпечатано с готовых пленок
в ООО «Чебоксарская типография № 1».
428019, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 15.

С прозреньем
Надо поторапливаться.

По капле капля, наконец,
До дробной тяжести накапливается
Парящий в воздухе свинец...

Чтоб он незримыми картечинами
Не оказался на лету
И мы не пали изувеченными
За собственную слепоту!

